СВЕТ ЗЕМНОЙ

Геннадий Доронин

Открытие

Я люблю ее. Она меня – нет. Ничего особенного, так чаще всего в жизни и бывает. Один из двух всегда только позволяет любить. Мое положение кажется мне предпочтительнее, чем ее. Какая, наверное, мука каждую секунду ожидать, что вот сейчас на тебя обрушится надоевшее, как овсянка по утрам, «Клава, ягодка моя! Цветочек мой! Маленькая моя!».

Мою жену звать не Клавой, это я для примера так сказал. Ее зовут – Петрова. Просто Петрова. Не потому, что имени ее я не помню, а потому, что всегда и везде ее называют – Петрова. Петрова там, Петрова здесь, Петрова не подведет, Петрова горы свернет… Когда я делал ей предложение, то тоже сказал: «Выходи за меня Петрова**?**» - и она, к удивлению, согласилась. А имя у нее обычное – Елена.

Мы родились с ней в одном дворе – квартиры были через стенку, нас водили в один детский садик, где она нещадно дралась с мальчишками, мы учились с ней в одном классе, сидели за одной партой, и я обречен был передавать ей записочки от Вадьки, Кольки, даже от лопоухого Пушкина. **(**На самом деле у него была фамилия Селиверстов, но он уродился кудрявым, а в нашей школе все кудрявые и кудреватые были Пушкиными, и чтобы хоть как-то отличать их друг от друга, бедняг называли лопоухим, курносым, толстым Пушкиными. Был даже доходяга-Пушкин, прозванный так за необыкновенную длину и костлявость**)**. Лопоухий Пушкин был короток, толст, но и он любил Петрову.

Никто не смог устоять перед ее красотой. Она еще училась в седьмом классе, а мужики при ней уже становились слюнявыми телятами. Не буду расписывать ее прелести, поверьте, что все оборачивались, когда она проходила. Даже первый секретарь обкома партии. Директор школы – Николай Иванович, когда произносил ее фамилию, то всегда глубоко вздыхал, чуть не всхлипывал. И тогда на него строго смотрела учительница астрономии – Инна Филипповна, которая учила нас, что Солнце вращается вокруг Земли, а галактика вокруг Солнца; чтобы выяснить столь непонятный феномен, некоторые ее ученики подались в астрономические институты, защитились, написали гору книжек, доказывая, что Инна Филипповна не права. Впрочем, это другая история – не про Петрову.

Астрономичка очень не любила Петрову, как только сутулая, морщинистая старуха может не любить пятнадцатилетнюю красавицу. «Она даже не знает массу Земли», - может быть, говорила она вздыхающему директору, но он, наверное, молчал, вроде как соглашался, но когда говорил «Петрова» все равно почти всхлипывал. Говорили, что до войны он любил Инну Филипповну, тогда еще молодую и без морщин, и она была самой красивой, такой как Петрова, даже красивее, но вскоре директора, который был тогда учителем черчения, забрали на войну, и он там воевал смело и побеждал, и дошел до самого Берлина, но Инна Филипповна его не дождалась, даже и не обещала ждать, а вышла замуж за историка. Директор вернулся с войны, а его красавица живет с другим, только улыбается издалека. Даже в другую школу перевелась, вот так вот! Тогда он запил, как многие фронтовики, у которых только после Победы все заболело – и души, и старые

раны, а лечить все это они умели только водкой. Пил он долго, основательно. Даже на пьяного, девушки на него гроздьями вешались, а он их видеть не хотел.

Так и остался один. Постепенно разочаровался в водке, нельзя ведь жить все время на анестезии. Пошел учиться – фронтовикам послабления были. Астрономичка тем временем лишилась своего историка, которого однажды ночью увели куда-то трое вежливых мужчин, и он больше не вернулся. Куда не обращалась потом Инна Филипповна, везде ей говорили: «Не знаем, не числится, не поступал…». Потом, правда, дали какую-то справку, но сам он исчез. Она не долго была одной, пригрелась около редактора городской газеты. Тот был счастлив, но женат, и имел двоих детей. Вскоре жена его откуда-то приехала, и пришлось астрономичке перебираться к фотографу, у которого даже угла своего не было, и стали они жить в фотолаборатории – и проявитель, и закрепитель зеленью плескались в бутылках, и она все опасалась – не выпить бы отраву вместо вина. Но зато какие фотографии любимой сделал фотограф!. Жанр этих фотографий он определял так: «Нюшки», но Инна Филипповна знала, что это называется «ню». И без лифчика, и без трусов смело фотографировалась она, пока не заметила, что фигура ее уже давно не та, что была на любительских карточках довоенного времени, хоть и облачена тогда была в сатиновую юбку, клетчатую трикотажную кофту.

Недолго длилась эта счастливая фотосессия, фотограф, а что возьмешь с людей искусства, стал охотнее наводить объектив на учительниц помоложе. Она терпела, понимала, что, может быть, именно так подогревается фотографическое вдохновение, но тут по линии профсоюзов была устроена его выставка. Как раз шумели шестидесятые годы, и он выставил свои «Нюшки», и художественная общественность, а самое главное – руководители народного образования узнали, как выглядит астрономичка без лифчика и даже без трусов. Скандалище мог разгореться небывалый, но не разгорелся, потому, что даже в народном образовании нашлись работницы, которые говорили: «Подумаешь, моя попка не хуже… Даже лучше…Васька меня своей «Сменой» снимал – так зубами от хотения скрипел, да не далась! Подумаешь!» Но Инна Филипповна все равно перевелась в другую школу, вообще в другой район – ей не привыкать было переводиться. И туда вскоре назначили нового директора – Николая Ивановича, и они встретились спустя долгие годы.

И так случилось, что астрономичка, увидев директора, постаревшего, поседевшего, влюбилась в него без памяти. И стала сохнуть по нему не по дням, а по часам. И так подкатывалась, и эдак. А он словно гранит замерзший. Как скала. Четырехкилометровый ледник Перито-Морено.

Инна Филипповна в активистки подалась – семейные вечера устраивать, вылазки на природу, доставать путевки в дом отдыха. А Николай Иванович с вечеров уходил раньше всех – сразу после торжественной части и доклада; на природу с коллективом выезжал, но не пил, собирать грибы не ходил, как астрономичка ни звала его, а дома отдыха терпеть не мог, - и ничего у Инны Филипповны не вышло. Так и состарились они, и он стал почему-то вздыхать, когда называли фамилию Петровой, а Инна Филипповна с укоризной смотрела при этом на него.

Петрову любили буквально все. Даже редко трезвый школьный дворник. Он говорил: «Ты – Петрова, я – Петрович – доченька ты моя!» - и одаривал куском сахара, обсыпанного крошками табака. Петрова сначала, когда вокруг была послевоенная бедность, отдавала эти куски мне, а потом, когда жизнь стала налаживаться, стала просто выбрасывать их. Я говорил ей:

- Лучше Шарику отдавай, ему сладкого не хватает…

Она отвечала:

- Собаки мясо должны есть, нечего приучать их к сахару. Привыкнут к сладкому и шпионов ловить перестанут.

- Каких шпионов? – спрашивал я.

- Всяких… Вражеских шпионов…

Нет, она не верила ни в каких шпионов, просто говорила первое, что придет в голову. Она давно узнала, что какую бы глупость не скажет, всех тут же это приводит в умиление. Никому в голову не приходило назвать ее дурой. Любых девчонок с удовольствием называли дурами, только ни ее.

В четвертом классе она сказала мне:

- Замуж я выйду за тебя, ты честный. И рост у тебя хороший, да еще подрастешь маленько…Но мама правильно говорит, что ты не приспособленный…

- Сама ты такая! - обиделся я.

Она объяснила:

- К жизненным трудностям не приспособленный. Тобою руководить надо, сам ты заплутаешься.

- Что, в лесу живем, плутать я стану?

Она рассмеялась, спросила:

- Ты хоть знаешь, как муж с женой спят?.. Ночью в кровати?..

Я знал, примерно знал, но объяснить не мог. Мне недавно это объяснил Дылда с заднего двора, но я ему не поверил. Дылда даже писать и читать не умел, так откуда же он мог знать про то, что делают ночью мужчина и женщина? Поэтому я сказал Петровой:

- Эти глупости всем известны…

Она так и закатилась:

- Если б не эти глупости, то и тебя на свете не было…Дундук ты…

Летом наши родители чуть не каждый день вытаскивали во двор оцинкованные корыта, тазы, а потом начинали наполнять их водой из колодца. Значит, намечалась грандиозная помывка – едучее «хозяйственное» мыло, кусачая мочалка, причитания «…почему у тебя чернила даже на голове?». Вода в этих емкостях была поначалу просто ледяной и всегда оживала надежда, что за день на солнце она не сумеет нагреться, и «банный день» будет отложен. Напрасно оживала, я помню день, когда с утра и до вечера моросил дождь, но меня все равно загнали в оцинкованную лохань – так, должно быть, черен я был.

В ненавистном этом купании была только одна положительная сторона – возможность увидеть девчонок нашего двора голыми. Тазы и корыта стояли все рядом, и мы – Вадька, Колька, я и лопоухий Пушкин - с интересом рассматривали необычное, по нашим

тогдашним понятиям, строение девчоночьих тел. В них, по мнению лопоухого Пушкина, явно чего-то не хватало. Класса до второго – третьего продолжались эти дворовые моционы, так что, Петрову и других девчонок я голыми видел много раз, и вполне можно было предположить, что в вопросах пола я был дока. Но она сказала «дундук»…

Первая любовь случилась у нее еще в первом классе. Она уступила домогательствам Кольки, его приставаниям и ухаживаниям, и пошла с ним в темные заросли акации и сирени на заднем дворе, и он типографской краской (ведь достал где-то!) нарисовал ей черный треугольник именно там, где такой треугольник должен был у девушки находиться, если верить Рубенсу, Тициану, Ренуару и другим великим художникам, рисовавшим на картонках для календарей. Когда обнаружился этот живописный шедевр, то Колька отведал отцовского ремня, а истошно орущую Петрову отмывали в лохани посреди двора, - так что ее несчастная первая любовь завершилась как бы у всех на виду.

Потом она долго не влюблялась, до самого третьего класса, когда втюрилась в графа Монте Кристо из пятого класса. Граф был троечник, хулиган и его в школе боялись, и ей очень нравилось, когда он после уроков провожал ее до дома. Эта любовь продолжалась до самых летних каникул, когда выяснилось, что граф Монте Кристо оставлен на второй год. Второгодник был тут же отставлен; троечника, которого все боялись, она еще могла полюбить, но второгодника, над которым смеялись, – никогда.

В седьмом классе я на восьмое марта подарил ей тюльпаны, она поблагодарила, вздохнула с некоторым сожалением, и я понял: лучше бы цветы подарил кто-нибудь другой - таинственный незнакомец или, в крайнем случае, мотоциклист в потертой кожаной куртке с площади имени Фоменко, который каждый вечер с ревом носился на своем «Иж-49» по асфальтовым просторам площади, и его не мог поймать даже самый злобный в городе усатый автоинспектор - дядя Наган, у которого – все в городе знали – револьверная кобура пуста. Ко мне она всегда относилась с легкой иронией, как к давнишней некрасивой подружке, про которую все известно, и самой этой известностью она не интересна, но и расстаться с ней не хочется, потому, что она привычна, как выключатель в квартире, который легко находишь рукой в кромешной темноте, и потому, что та смотрит на тебя с затаенным обожанием, и всегда готова выслушивать многочисленные тайны и секреты, и знает кому их потом поведать; иначе для чего секреты, если о них никто не узнает? И вообще невозможно избавиться от той, которая навек смирилась с тем, что она всегда вторая, что она всегда только фон.

Когда она перешла в десятый класс, мотоциклист с площади Фоменко все-таки заметил Петрову, и она прочно обосновалась на заднем сидении «Иж-49». Там, на сидении, была специальная ручка, но Петрова при езде всегда обнимала мотоциклиста за кожаные плечи. Этому моторизованному всаднику завидовала вся мужская половина города. Я сказал ей:

- Ты вся пропахла бензином, как карбюратор какой-то…

- Да ты ревнуешь? – спросила она.

Я ревновал. Я ревновал ее всегда. И она всегда знала об этом. Как-то, когда мы учились в девятом классе, вечером к ней пришел какой-то пижон в черном костюме, белой поплиновой рубашке, с галстуком-шнурком. Черные лакированные штиблеты его сверкали, и как только он сумел сохранить это сверкание, пробираясь к нашему двору по вечно грязным и засыпанным мусором тротуарам? Петрова перед этим два дня не ходила в школу, жаловалась на ангину, но к пижону вышла в коротеньком цветастом халатике,

(тогда была как раз очередная эпоха «мини»), и они вышли со двора, но далеко уходить не стали – все-таки ангина, и встали у покосившегося забора в тени вязов, которыми заросла наша улица. Пижон что-то рассказывал Петровой, и та хохотала, забыв про ангину. В нашем дворе стоял старый, весь проржавевший «Студебеккер», неизвестно как очутившийся и оставшийся здесь. Я любил забираться в кабину грузовика и читать в этом изолированном и душном, пропахшем солидолом пространстве. Однажды я, практически за сутки, прочитал в «студере» «Трех мушкетеров». Кузов машины был покрыт выцветшим брезентовым тентом, и здесь дворничиха Матвеевна хранила метлы, лопаты, грабли, корзины. Я забрался в кузов, откуда мне прекрасно было видно Петрову и пижона. Хотел написать, что очутился там помимо своей воли, сам не знаю как, затащила меня туда неизвестная сила, но это неправда. Я хотел их видеть, еще как хотел! Со мной она никогда не гуляла, иногда только ходила на танцы, а там пропадала для меня, заверченная в водоворот друзей, кавалеров. Со мной она никогда не стояла у забора, не хохотала над моими шутками, да у меня слова при ней застревали в глотке. Она только однажды целовалась со мной, когда мы все вместе затеяли игру в фантики – «тому фанту прочитать стихотворение, тому – правой рукой схватиться за левое ухо, этому – стоять на одной ноге и считать до ста…». Когда дошла очередь до Петровой, ей досталось поцеловать меня. Она поцеловала в щеку, но все закричали, что это нечестно, надо целовать в губы. Она фыркнула и поцеловала меня в губы. Несмотря на фырканье, поцелуй получился нежным, и я его не забыл. Мы учились тогда в шестом или седьмом классе.

В кузове грузовика под тентом было пыльно, сумрачно, да вдобавок ко всему я наступил на грабли, заработав приличную шишку, но зато я видел их, а они меня нет. Петрова перестала смеяться над рассказами пижона, и принялась отнимать у него сиреневую веточку, а он не отдавал, и у них затеялась шуточная потасовка. Петрова раскраснелась, глаза ее блестели, пижон во всю лапал ее, а она как будто и не замечала. А я сидел в кузове и потирал шишку на лбу.

Часа два, нет – два века – простояли они у забора. Стемнело. Я ничего бы больше не увидел, но спасла положение загоревшаяся на столбе лампочка. Пижон перешел на шепот и Петрова придвинулась к нему почти вплотную. Я подумал, вот была бы у меня любимая рогатка, замечательное оружие из тонкой черной резины и вязового обрезка, которую отнял у меня года три назад школьный физрук, то я бы точно влепил пижону по заднице!.. Нет, лучше Петровой по…по… Нет, лучше все-таки пижону…

Наверное, у Петровой с пижоном время летело незаметно, не то, что у меня среди лопат и корзин. Но я живо забыл обо всех неудобствах, когда, вдруг заметил, что у них началась новая игра: пижон обрывал со своей веточки крошечные сиреневые цветочки и кидал их в Петрову. Они попадали ей на шею и скатывались в широкий вырез халатика. Та шутливо отмахивалась, но видно было, что ей это приятно. Меня озноб пробил, когда я попытался представить, куда же попадают эти цветочки. Я готов был провалиться на месте; и надо было вылезти из кузова, громыхая лопатами, сказать что-нибудь презрительное, типа «голубки» или «воркуете, молодежь!», или даже «надо же, ангина не мешает!», сплюнуть и отправиться восвояси, гордо насвистывая «Чу-чу», но я сидел, боясь пошевелиться, придавленный стыдом и отчаяньем… Впрочем, стыда никакого не было – только боязнь, что меня могут застукать, и еще было нечто, придавившее меня к полу грязного кузова. Какое-то сладкое и болезненное чувство, которому и по сей день я не могу дать названия. Помню только, что я не мог пошевелиться, как замороженный, не мог даже моргнуть – смотрел во все глаза, и ненавидел пижона, ее, а больше всего себя, но если бы я тогда

умел спросить у себя и честно ответить на этот вопрос, то я, может быть, и не хотел бы чтобы тогда игра эта прекратилась… Я сидел на полу кузова и твердил про себя: «Так мне и надо, так и надо!..» Но объяснить себе, почему же мне «так и надо» я не мог.

Наконец, «больную» позвали домой:

- Петрова, уже поздно! Совесть имей, завтра мне в первую смену!

Даже мать называла ее по фамилии.

Она отлепилась от пижона, помахала ему рукой: «Завтра в Фурмачах эстрадный играет» - и легкой своей походочкой поплыла к дому. Потом, вдруг, резко повернула к «студеру», поскребла рукой по брезенту, сказала негромко:

- Ну что ты с лопатками обнялся, дундук!.. Лучше скажи домашнее задание.

Пришлось, полыхая ушами, как первомайскими стягами, вылезать из кузова, тащиться домой, переписывать для нее задание, а она все усмехалась, пофыркивала. Потом, спустя много лет, она спросила у меня:

- Ты ведь тогда не очень разозлился, в кузове?..

Я не нашелся, что ответить.

Первый раз она вышла замуж еще на втором курсе. Как-то она пришла ко мне за конспектами – вечно она пользовалась чужими записями, опаздывала на лекции, прогуливала семинары, но выходила с экзамена и показывала зачетку – «отл», и редко «хор». Она заметно нервничала. Попросила сигарету, закурила, помолчала с минуту, а потом сказала:

- Поздравь меня, замуж выхожу. Не отговаривай, все решено…Если тебе интересно, скажу – он летчик… Военный…

- Он что – образец честности и намного выше меня ростом? – спросил я.

- Ну, при чем тут это?! – закричала она.

- Просто однажды ты сказала, что замуж выйдешь за меня, потому, что я честный и высок ростом. И еще подрасту…

- Вечно ты все в шутку сводишь! – попыталась обидеться она, но я понял, что и она не забыла эти свои давнишние слова.

Этого летчика я никогда не видел, он то летал под облаками, то уезжал в командировки, то на рыбалку и охоту. А когда он был дома, то подвозил Петрову до института на своем морковном «Москвиче», но всегда не доезжал целый квартал, так что я видел только его силуэт, профиль так сказать. Не орлиный.

Я не знаю, как они жили – дружно, с любовью или дрались-царапались с утра до утра, но она не пропускала ни одной студенческой вечеринки, притягивая к себе восторженные взгляды. Приходила она и на все вечера, танцульки, концерты и никогда не уходила с них одна, всегда находился провожатый. Несколько раз это был я, мы шли по ночным улицам и говорить, почему-то, нам было не о чем. Я тогда увлекался археологией, даже попал в экспедицию на раскопки кургана, и готов был часами говорить о старинных находках,

удивительных открытиях, но рядом с ней все казалось мелким и неважным, и нужно говорить как-то особо, находить специальные слова, а они, слова эти, как раз и выходили неуклюжими, тяжелыми, неумными.

- Мы обнаружили парные захоронения, - сказал я. – Мужчин и женщин…Наши ученые ищут этому объяснения…То ли они умирали одновременно от каких-то неведомых болезней, то ли их умерщвляли вместе…

- Чего уж мудреного! – фыркнула она. – Если воин погибал, то вместе с ним в царство мертвых отправляли и какую-нибудь заложницу, чтобы ему там не очень одиноко было…

- А, может, все-таки жену?..

- Это вряд ли, - быстро откликнулась она, - жена должна воспитывать детей, продолжать дело мужа…

- А вдруг это добровольное решение?

- Ага, конечно! - засмеялась она. – В могилу по доброй воле…

- Это сейчас кажется невероятным, - сказал я, - а в прошлые времена, наверное, никто не удивлялся, если жена следовала за мужем…

- Это археологические понятия, - сказала она, помолчала с минуту и, вдруг, добавила:

- Впрочем, за любимым можно и в ад…Но где он – любимый? А вот ад - на каждом шагу.

После окончания института она уехала в Восточный Казахстан, мы переписывались – не регулярно. Она писала, что скучает по нашему городу, нашему дому, что в жизни у нее все хорошо, успехи на работе замечательные, купила цветной телевизор и даже машину подержанную взяла, ходит на водительские курсы. Про летчика не писала ничего, но кто-то из однокурсников написал мне, что он улетел в неизвестном направлении. История там была не очень понятная – то ли она его с кем-то застала, то ли он ее застукал, но они расстались.

Она тут же вышла за какого-то лесного инженера, и пропала в лесах. Несколько лет я о ней ничего не слышал. Потом я получил от нее письмо, в котором она сообщила, что опять одна, и в этом повинен какой-то Медведь. Я сначала подумал, что этот самый медведь задрал ее инженера, но выяснилось, что это фамилия другого лесного инженера, в которого она влюбилась и ради которого оставила первого инженера, но Медведь не решился оставить свою жену, - и у Петровой опять все в жизни сломалось.

Я купил билет на поезд и поехал к ней. Жила она в темной комнатушке похожего на барак дома. Она не ждала меня, но не удивилась. Спросила:

- Думаешь, теперь твой выход?..

- Выходи за меня, Петрова, - предложил я. И она согласилась. Мы вернулись с ней в родной город, и на вокзале все оглядывались нам вслед, и у меня душа замирала:

- Неужели эта красавица принадлежит мне?..

Нет, она не принадлежала мне.

Особенно отчетливо я понял это на каком-то торжестве, разыгравшемся вскоре после того, как мы поженились. Вполне допускаю, что это было как раз торжество, посвященное нашему бракосочетанию. Проходило оно в каком-то кафе. Гостей было приглашено много, почти все они были мне незнакомы. Я давно знал, что она любит бывать на людях, от них она как будто загорается, глаза ее начинают искриться больше, чем обычно, она вся тогда преображается, становится еще притягательнее, я сказал бы даже – обворожительнее.

На торжестве оказался один тип, которого она представила, как старого школьного товарища. Я не очень удивился этому – чего человек не говорит на пьянках, может, он на самом деле школьный товарищ, но мы одиннадцать лет просидели с ней за одной партой, и он мне как-то не припоминался. Петрова все время танцевала с этим типом, хотя он был с женой; в перерывах между танцами рассказывала жене обо всяких забавных школьных случаях, которые происходили с нею и этим типом. Я слушал и пытался припомнить эти случаи, но они тоже не вспоминались. Потом она затеяла игру – меряться носами: все по очереди должны прижиматься друг к другу щеками, так что сразу становилось ясно, чей нос длиннее. Обладатель самого длинного носа получает возможность поцеловать любую даму на торжестве. И затеялась веселая возня: дамы, обсыпая пудрой кавалеров, прижимались к ним с хохотом и визгом и в итоге, конечно же, самый большой нос оказался у того типа, и он, естественно, выбрал для поцелуя мою жену. А что, я бы тоже выбрал, но у меня не было такого примечательного носа, как у ее старого школьного товарища. Они вышли в центр зала и окруженные гостями, стали целоваться, а окружившие их зачем-то принялись считать: «один, два…четыре…семь», – как на свадьбе. Петрова, заметив мое недоумение, весело подмигнула мне, махнула рукой, дескать, все это игра, флирт, понимать надо – не напрягайся, дундук.

Я расслабился и отправился курить на улицу. Было темно, тихо и сыро после дождя. Музыка из кафе сюда почти не доносилась, только окна заведения ярко светились, и все происходившее внутри было как на ладони. Стояла поздняя осень, но деревья пока не расстались со своим пожелтевшим нарядом. Я сорвал один листок, и дерево окатило меня целым водопадом брызг. Я подошел ближе к окну, закурил. Был один из тех моментов жизни, которые запоминаются. Так иногда бывает, что понимаешь – вот это обязательно запомнится, и не знаешь, почему. Забываются долгожданные события – получение двухкомнатной квартиры с протекающими батареями отопления или покупка машины – какого-нибудь горбатого «Запора», но никак не идет из памяти, что, когда я учился во втором классе, мне купили настоящие маленькие кирзовые сапоги – черные, как ночь, остро пахнущие ваксой и скрипящие. Долго поносить их не пришлось. Чуть не на второй день после покупки, я забрался в лужу – проверить, насколько водонепроницаема моя новая обувка – и зацепился голенищем за кусок стальной и острой, как нож, проволоки – и разодрал голенище. Я ревел тогда в голос, так нравились мне мои сапоги, и откуда-то знал, что запомню это на всю жизнь. Сапоги потом починили, но я их разлюбил, старался почти не надевать, а вскоре и вырос из них.

Отлично запомнился мне день приема в пионеры, когда в пионерской комнате мне повязали красный галстук, и я очень гордился этим, даже дома не снимал его. Но запомнился день не столько галстуком – новеньким, шелковым, необычайно приятным на ощупь, - а огнем в печи, который развела к моему приходу из школы бабушка Саша. Я заледенел на ноябрьском ветру, пока шагал домой с распахнутыми полами пальто, чтобы все видели на мне этот замечательный алый кусочек ткани. Я ворвался домой как раз в тот момент, когда бабушка открыла чугунную дверцу печки и орудовала кочергой. Огонь трещал в печи среди сосновых и березовых поленьев, и казалось, что готов выпрыгнуть из

тесного своего обиталища, чтобы согреть меня. Я снял пальто и присел на крошечную табуретку у открытой дверцы – и мне стало тепло. Я сидел и смотрел на языки огня, и мне становилось все теплее.

- Скажи, галстук у меня зашибись? – спросил я у бабушки. И тогда она погладила меня по голове, вздохнула и сказала:

- Лишь бы войны не было…

Тогда я не знал, что революция, гражданская война подрубили под корень почти весь наш род, так что, бабушке не было причин радоваться моему красному галстуку.

Помню, как я плакал, стоя у красной старинной стены, в которую на века было вделано чугунное кольцо. Шел-шел вдоль старинной стены какого-то полуразрушенного дома в Уральске, и было весело, легко – день был чудесен, жизнь чудесна, но, вдруг, увидел это кольцо. Когда-то к нему привязывал коня лихой казак. В доме в тот день, должно быть, творили тесто, разогревали противни, резали осетрину, готовили вязигу, в комнатах наверху и подклете царила суета, приподнятое настроение. Сегодня праздник, пожаловали дорогие сваты, значит, скоро уралке в дорогу…

Просватали ее, или не успели – и казака убила беспощадная пули из большевистского маузера?.. Никто уже не ответит…

А, может, здесь оставлял двуколку молодой купец, отмечавший выгодную сделку в шикарном ресторане неподалеку?..

Обо всем этом я подумал только через много лет, вспоминая тот день. А тогда только увидел кольцо, и слезы брызнули из глаз. Я стоял и как ненормальный лил слезы, и плакалось сладко и хотелось плакать еще. Проходящая мимо женщина сказала тогда:

- Не плачь, мальчик. Кто обидел тебя?..

Я замотал головой.

- Взгрустнулось, да?..

Я не ответил. Да, взгрустнулось… И запомнилось.

Да, бывают такие дни…

Я взглянул через стекло в кафе. Вдоль окна там стояла длинная скамья, и на ней спинами ко мне сидели утомившиеся танцоры. Рядом с тем типом сидела его жена, а с другой стороны - Петрова. Они о чем-то весело разговаривали. Жена поправляла прическу, какие-то там заколки. Петрова ничего не поправляла, потому, что ее рука гладила того типа по спине, а его жене это совершенно не было видно, а мне через стекло видно наоборот очень хорошо. Тип просунул руку за спину, нашел ладонь Петровой, и так они сидели, не подозревая, что я смотрю на них с улицы – до тех самых пор, пока не грянула опять музыка, и все пошли танцевать… Больше в тот день я курить не выходил.

Прошло много лет, и много чего выпало на мою долю. Все менялось, но не проходила моя ревность, и поводов для нее было, хоть отбавляй!

Она приходила с работы навеселе, и тут же прибегала к уловке старых пьяниц: «Не выпить ли нам с устатку?»

Она без меня ходила на корпоративные вечеринки, и возвращалась заполночь, поддатая, с размазанной помадой на губах.

Она легко уезжала в командировки, звонила, озабоченная: «Варишь ли ты, дорогой, пельмени?.. Сначала давай воде закипеть, а пельмени засыпай потом…» На фотографиях, привезенных из командировки, рядом с ней присутствовали мужики без пиджаков: «Конечно же, после семинара мы ужинали в кафе! А что такое?..»

Однажды он уехала в другой город встречать новый год в компании коллег; веселье, по ее словам, удалось. Вообще, всякие дни рождения, юбилеи, пьянки с поводом всегда лучше проходили, когда меня на них не было. Что поделаешь, скучный и неинтересный я человек.

Как-то ее пригласил танцевать совсем мальчишка. Это тоже происходило на каком-то торжестве. Кажется, на чьей-то свадьбе. Как много в жизни, все-таки, всяких торжеств!..

Развязно, не вынимая жвачки изо рта, он подошел, тронул ее за голое плечо, не обращая на меня никакого внимания, и она пошла с ним в центр пьяного зала, он положил ей руки на талию, ниже талии, почти на бедра, и принялся что-то шептать ей на ухо, и она слушала, изредка отстраняясь от него, наверное, чтобы ему была лучше видна ее улыбка, готовность и дальше слушать его шепот. Мальчишка был красив – туманные глаза, черные брови вразлет, молодое нахальство на тонких губах, и она прижалась к нему, и меня поразило не это объятие, а скорость, с которой оно наступило. Как будто она ждала его, как будто истосковалась по этим танцам-обжиманцам, что не могла удержаться – жадно прижалась к этому мальчишке. Лицо ее зажглось – загорелись щеки, изнутри странным матово-зеленым цветом вспыхнули глаза, смягчились черты лица - мне почти не удавалось вызвать в ней этот огонь, но я знал его…

Перед этим она заказала у дорогой портнихи платье, с десяток раз ездила к ней – примеряла, уточняла, исправляла. Казалось, что в пошив этого наряда она вкладывала какой-то неведомый смысл, она словно брала какую-то высоту, преодолевала что-то в себе. Я не вполне разобрался в этом, даже когда она привезла платье домой, натянула его на себя: «Каково? Оцени!». Платье на самом деле было замечательное – из полупрозрачной ткани, с огромным вырезом, открывавшим прозрачный кружевной лифчик. Грудь у нее на самом деле красивая, крепкая, для ее возраста – просто идеальная, с небольшими выпуклыми соками, такая грудь должна нравиться мужчинам, мне так точно нравится, я без ума от нее. Но зачем выставлять ее на обозрение – этого я не понимал. Она обиделась.

- Неужели, дундук, ты не понимаешь, что каждой женщине хочется быть привлекательной? – сказала она. – Для тебя это одежда, тряпка, для меня – доступный способ самовыражения…

- Чего? – переспросил я.

- Того самого!.. Каждая золушка мечтает о хрустальных башмачках…Мое платье, оно словно новая кожа, новое сознание… Но разве тебе понять?..

- Это ты – золушка? – спросил я.

Она только махнула рукой.

В день свадьбы я убедился, что она еще углубила вырез…

Нигде, чаще, чем на свадьбах, не говорят о счастье. Бесконечно пьют за счастье, беспощадно бьют специально припасенные бокалы, как будто боятся, что если не накликать на себя счастье, то накличется совсем другое… Еще на свадьбах много и громко орут о любви, и все нетрезво понимают, что речь идет в основном о жаркой сегодняшней постели, которая мерещится за тостами, поздравлениями и пожеланиями, вручениями подарков. Свадьба и постель. Постель и свадьба. Постель!..

Свадьба – не только пьянка под приличную закуску. Жены вспоминают с тоской: «я тебе всю молодость отдала, а ты, сволочь…». На свадьбах все бабы становятся невестами, у них еще шире открываются глаза на старых, засыпанных перхотью козлов, которые изредка по ночам, сопя и причмокивая, лезут к ним между ног потными руками, и ничего, кроме омерзения, эти ласки разбудить не могут, но приходится заваливаться на затекшую за день спину, раскорячивать тяжелые вечерние ноги и терпеть эти постылые тыканья, и даже постанывать, дескать, правильно стараешься, муженек, постылый.

Вот главная отрава свадеб, которая сводит баб с ума – чужую молодость жалко, как свою.

И эта свадьба кружила головы.

Молодой красавец не отлипался от Петровой, или она не отлипалась от него. Музыка добавляла действию патоки. Я сидел за столом в окружении таких же, как я, стареющих мужиков, которые давно выпили свою цистерну, и мечтал напиться, как в молодости. Но у меня были почки, давление и еще что-то неприятное, и напиться я не мог.

Но все-таки напился. Каким-то красным противным вином без закуски. Пошел в туалет, и меня вырвало в раковину. Я умылся и вернулся в зал. Петрова сидела за столом рядом с мальчишкой, и они пили брудершафт. Какая-то из многочисленных тетушек закричала, увидев меня?

- Тут кое-кто целуется! Пока ты блюешь!..

Я и сам видел, что целуются.

Петрова вскочила и побежала навстречу мне, должно быть, я был страшен – всклокочен, бледен, пьян:

- Да вот, женщины надавали мне своих сумочек, сижу, охраняю их…

Я взял бутылку, налил в стакан.

- Может, пойдешь, приляжешь, здесь есть специальная комната для отдыха? – проявила она заботу.

Я понял: спроваживает меня. Я не сдержался тогда, жалею об этом. Что-то принялся кричать, махать руками – жалко и унизительно. Свадьба смотрела на меня широко открытыми глазами.

- Дундук, - сказала она, - ты мужик, ты меня и охраняй от других. Если хочешь – иди и дерись с ним, если кишка не тонка.

Она была спокойна, и она была права. Я был неправ.

- Что ты терзаешься, что? – сказала она несколько дней спустя. – Изводишь меня и себя подозрениями. Что, ты застал меня в постели с чужим мужиком? Застал? Невинный флирт в твоих глазах вырастает до страшной измены… А ведь доказательств никаких!..

Меня словно молнией ударило.

А тут как раз подвернулась эта дача. Можно просто сказать - удача. А на этой латифундии подвернулся Глеб – на самом деле, глыба – цельный, не сомневающийся, сильный. Стена.

Петрова давно хотела дачу – ей мнилось небываемое: гости на джипах, шашлыки, плетеные кресла, походы за грибами, тучные розы, малина в ведрах, закатные чаепития, дорогой коньяк и сигареты с золотым фильтром… Я говорил ей, что дача – добровольное рабство: ковыряние в грядках, где в итоге вырастет пяток кривых огурцов, да расплодится ползучий горох; бесконечная нервотрепка «нет воды - есть вода - мало воды»; злобные комары, чьи очертания подозрительно напоминают «Мессершмидт-109»; распутица, преодолевать которую лучше всего в сорокоградусный мороз в декабре и оставаться там до нового сезона, потому, что приехать туда весной можно будет только на танке; протекающая крыша, каждый очередной ремонт которой делает ее еще дырявее; электричество, которое выключается чаще, чем включается, так что кажется, что план «ГОЭРЛО» до сих пор не выполнен…

И так бы мы, наверное, долго препирались, если бы она однажды не открыла пудовую рекламную газету и не прочитала: «Недорого продается дачный участок с домиком и баней. Проезд автобусом до остановки «вторая дачная», очень удобно». Таких объявлений она видела уже миллион, но ее совершенно покорила приписка «очень удобно». Она тут же начала звонить, и так появился Глеб.

В самом деле, он просил за участок совсем недорого. Эта дача досталась ему в наследство не то от упокоившейся тети, не то сестры, в общем, он эту дачу, как палкой сшиб с дерева. А у него уже была дача, большая, заросшая, стоявшая впритык к полученной по наследству, - и чего ему, спрашивается, делать на двух участках?.. Даже такой, как он надорвется один на такой площади.

Конечно, поехали смотреть дачу, и она понравилась Петровой. Дача требовала еще плотников, кровельщиков, штукатуров, но была неподалеку от речки и березовой рощи. А Глеб обещал всяческую помощь в обустройстве, у него и знакомые строители были, и сам он был не то прораб, не то рыболов.

- Надо брать! Дешевле и лучше не найдешь! – загорячилась Петрова.

И я согласился. На всякий случай покочевряжился, дескать, теперь сам смысл жизни изменится, будем служить даче. Но в душе понимал: все складывается правильно, я сам бы так придумать не смог.

И закипели дачные работы. То завозят доски, то черепицу, то нужно ждать электриков, то готовить денежки для сантехников.

Однажды позвонили: продаются водопроводные трубы какого-то особенно замечательного качества, без них никак не обойтись при сооружении бани, а как на даче без бани?.. Нужно срочно быть на участке. А на дворе – ноябрь, снежок моросит, дороги раскисли. Я на своем диковинном «Запорожце», железном таракане семейной жизни, конечно же, туда не проеду.

Я позвонил Глебу:

- Выручай, дорогой! Трубы надо встретить, иначе без бани остаемся!.. Давай на своей «Тойоте» смотайся, да Петрову прихвати… До вечера обернетесь…Зато дело какое свалим!..

Глеб согласился, заехал за Петровой. Я подумал, что к вечеру непогода еще усилится, черные тучи наваливались на город, казалось, что готовы расплющить хлипкие дома. Если к ночи еще и подморозит, то «Тойота» ни за что не выберется с участка.

Так и получилось. Туда они проехали, встретили грузовик с трубами, закрыли трубы в сарае на участке Глеба. А потом Петрова позвонила:

- Такой гололед на дороге, ты не представляешь!.. Даже не знаю, что делать!.. Еще и темнота кромешная!..

- Милая! - сказал я. – Я же говорил, что человек постепенно попадает в зависимость к собственности, почти наркотическую…Но раз уж так вышло, то вам ничего не остается, как заночевать на даче. В домике у Глеба хорошая печка… Думаю, он не съест тебя…Можешь, конечно, растопить и нашу печку, если не хочешь быть в компании Глеба. А завтра утром распогодится, приедете…

- Ага, знаю я тебя! – сказала она. – Потом навоображаешь себе невесть что, ведь навоображаешь?..

- Не рисковать же, в самом деле, жизнью, - сказал я.

И она согласилась. Правда, сказала, что я веду себя необычно, даже подозрительно.

- Смотри, я могу внезапно приехать, - засмеялась она. – Посмотрю, не с девушкой ли ты…

В эту ночь я не сомкнул глаз.

Потом они рассказывали мне, как растапливали печку, как не хотели разгораться дрова, как пришел строгий дачный сторож и потребовал с них документы, и пришлось ему налить водки.

«Водка была, этот славный помощник всему на свете», - отметил я.

- Проговорили почти до рассвета, - сказала Петрова. – Оказывается, сестра Глеба училась в нашем институте, представляешь?.. А его жена собиралась поступить, но потом передумала и пошла в педагогический…

- А трубы взяли хорошие, - вспомнил Глеб, - хотя и темные…

- То есть, ворованные? – спросил я.

- Может и не ворованные, а какие-нибудь контрабандные…но хорошие…

- В общем, Петрова тебя не обижала? – спросил я у него с улыбкой…

- Нет, не обижала, - смутился глыба.

А весной я выпросил у начальства командировку, собирался уехать на две недели в самый разгар посевной компании. Петрова ползала по земле и сажала не то бегонии, не

то бижутерию. Глеб ходил по своему участку в одних трусах, с лопатой в руках, рельефные мышцы красиво перекатывались у него под успевшей загореть кожей – на него даже смотреть было приятно.

- Уезжаешь, а тут могут привезти кирпич, - сказала она. Но я почувствовал, что сожалений по этому поводу она не испытывает.

- Что, Глеб не поможет? – сказал я.

- Глеб, поможешь ей, если что, пока меня не будет? – крикнул я на соседний участок

- Конечно! – успокоил он меня.

Когда я вернулся, уже отцвела сирень. Отличная пора, когда нет еще изнуряющей жары, не донимают комары и мошки. В общем, время долгих вечерних чаепитий, разговоров. Глебова жена – крошечная, быстрая, миленькая, с блестящими глазами, короче, мышка-норушка, у нее и имя подходящее – Милица – и где только имя такое нашли? - все время норовила шутить. Она любила похохотать. Пила чай из крошечной чашечки, все время просила подливать ей, как будто нельзя было пить из большого бокала, и старалась развеселить нас. Но нам и так не было скучно. Мне так точно. Я сидел над блюдцем и думал: «Где он ее трахает – на нашей даче, или на своей?»

- Знаете ли вы, что такое мышь? – спросила, лучезарно улыбаясь, Милица. – Это животное, путь которого усеян упавшими в обморок женщинами… Ха-ха-ха…

«Про себя рассказывает», - подумал я, и в ответ рассказал самый бородатый из известных мне анекдотов:

- А любовь – это болезнь…

- …которая требует постельного режима, - хором подхватили мои дачники.

И все расхохотались.

- Завтра надо картошку полить обязательно, - сказал Глеб. – На неделе обещали приехать, обработать от колорадского жука…

- У меня лично отчет, - сказал я. И на самом деле, я был очень занят.

- Вечно все падает на мои хрупкие плечи, - засмеялась Петрова. – Но это мои саночки, буду их возить…

- Я только до обеда могу, - сказала мышка-норушка.

- Да без тебя управимся! – махнул рукой Глеб, глыба, прораб жизни.

«Вот оно! – подумал я. – Завтра…». И, вдруг, мне вспомнилось, как в средневековье испытывали жен – раскаленным железом. Попала под подозрение – бери в наманикюренные и надушенные ручки (хотя, какой там маникюр в восьмом или девятом веке) красную шипящую сталь, - и если не обожглась – значит, верна. А если задымились ладошки – в башню ее на хлеб и воду, на вечное сидение…

«Ни к чему нам мучить женщин, - мелькнуло у меня в голове, - я сам за нее это раскаленное железо в руки возьму…»

На утро я проснулся раньше обычного. Петрова что-то промычала с кровати, не раскрывая глаз, типа:

- Чайник включи, колбаса в холодильнике…

Я плотно позавтракал, сделал бутерброд с колбасой, завернул его в газету, положил в портфель – бутерброд не бывает лишним в такой ответственный день. Когда я подошел к остановке, там было почти пусто, так что, никаких знакомых не попалось, и я благополучно добрался до «второй дачной».

Предутренний туман висел над речкой, в ней плескалась рыбешка, соскучившаяся по солнцу. В березовой роще надрывались пичуги. Тепло, уютно было на рассветной земле.

Я обошел дачный домик, и там, где к нему примыкала баня, забрался на ее крышу. Подумал: «Только бы не провалилась!», но вспомнил, что Глеб со своими товарищами делали все на совесть, и успокоился. Потом осторожно прошел по карнизу и толкнул створки окна на втором этаже. Еще вчера открытый шпингалет не помешал мне проникнуть вовнутрь. Здесь была спальня, здесь стояла наша огромная кровать… Правда, я забыл, когда спал в последний раз на ней. Кажется, зимой, когда случайно надрался: встретил школьного друга, вспоминали, естественно, Петрову, как тут не надраться?

- Школьный друг спрашивал:

- Не знаешь, где сейчас Петрова?

- Знаю, но не скажу…

- Врешь ты все! Ты сам был по уши в нее влюблен, но тебе не досталось…

- Может, тебе досталось? – спросил я.

- Мне как раз и досталось, - сказал школьный друг.

- Врешь, собака!..

- Вру, - легко согласился он. – Но так хотелось… Жалко, что не знаешь, где она обретается…

- Жалко, - не стал спорить я. А дальше не помню, кажется, еще пили, пытались разыскать Петрову, названивая одноклассникам. Проснулся на даче, на этой широченной кровати.

Я присел на краешек кровати, взял со столика какой-то журнал, попалась интересная статья про женщин Берия – с этими женщинами приятнее будет коротать время.

Часа через полтора подъехала «Тойота», послышались веселые голоса Глеба, Петровой. Щелкнул замок на входной двери:

- Я сейчас переоденусь и выйду! – закричала она. Я на всякий случай нырнул в небольшую комнатку, примыкавшую к спальне – гардеробную, хотя в ней хранились и всякие инструменты – рубанки, лопаты, корзины (опять лопаты и корзины!)

Но Петрова наверх не стала подниматься. Я подкрался к лестнице, осторожно выглянул: она надевала трикотажные брючки, балансируя на одной ноге.

- Скоро ты? – спросил нетерпеливый Глеб снаружи, и тут же вошел в комнату. Петрова быстро прикрыла голые груди руками, но тут же опустила их. Глеб подошел к ней, наклонился и поцеловал ее соски – сначала один, потом другой.

Она прошептала:

- Погоди, не торопись…

Они вышли из домика, начали протягивать шланги, включили колодезный насос и долго поливали картофельные рядки, хохоча и брызгаясь водой. Извозились с головы до пят, настоящие дети!

- Рано поливаем все-таки! – кричала Петрова.

- Ничего, картошке влага не повредит. Весна-то какая ранняя была!..

Я подумал, что зимой не останемся без картошки, а картошка в наших краях отменная. Рассыпчатая. Вкусная.

Перед самым поливом Глеб растопил баню, запах горячего дерева, пара доходил даже до меня. Хорошая все-таки баня получилась, золотые у Глеба руки.

Они собрали шланги, выключили насос, немного постояли под деревьями – не то отдыхая, не то наслаждаясь близостью друг друга.

- Все, теперь в баню! – закричала Петрова. – Грязь смывать!..

Она взяла купальный халат и нырнула в баню. Глеб, не спеша, последовал за ней. Дверь за собой они закрыть не удосужились, да и зачем – посторонних не было. Высунувшись из окна и рискуя быть обнаруженным, мне удалось только увидеть, как они обнимались в предбаннике, как она гладила его спину. Потом они зашли в баню…

Я достал из портфеля бутерброд с колбасой. Времени уже прошло достаточно и я проголодался. Да так, что подобрал все крошки с бумаги, в которую был завернут бутерброд.

Мылись они долго, тщательно. В общем-то, и вывозились порядочно.

Наконец Петрова вышла, распаренная, розовая. Купальный халат был накинут на голое тело. Мне показалось, что розовым светится ее живот, грудь – вся она светится. Вслед за ней показался и Глеб – в одних плавках, с полотенцем на плечах.

Распаренные, они остановились у большой деревянной кадки. Она тихо засмеялась, зачерпнула пригоршню дождевой воды и плеснула ему в лицо. Он даже зарычал от удовольствия.

Много раз мне доводилось читать в книжках, что в сжатых кулаках от напряжения ногти пальцев могут впиваться в ладони до крови. Никогда не верил этой брехне, но вот кое-как разжал кулаки – крови нет, но болят ладони, как от порезов. А больше ничего не болит, все тело стало похожим на старый лохматый тулуп.

- Вот твой сейчас бы нас увидел! – засмеялся Глеб. Провидец.

- Не удивляюсь, если он сейчас смотрит откуда-нибудь, - ответила она. – Из какой-нибудь кладовки… Пусть смотрит…Пошли в дом, чего зазря светиться!..

Они зашли в дом и медленно стали подниматься по лестнице. Я успел нырнуть в гардеробную.

Жалобно застонали пружины матраца. Давно Петрова собиралась купить новую кровать, да руки вот не дошли…

- Как я утомилась, милый!..

- Иди ко мне, - сказал он.

В просвет между дверью и косяком мне было видно все.

Он целовал ее груди, живот, бедра… Она обнимала его, постанывая. Потом присосалась к его губам.

Я осознал, что меня трясет в такт этих поцелуев.

Он ласкал ее неистово…

Вдруг, я ощутил на своих щеках влагу. В бане не был, а мокрый. Неужели, слезы?..

Он норовил исследовать жадными руками каждую частичку ее тела…

Меня окружали, как в далеком детстве, лопаты, метлы, корзины, и казалось, что вот сейчас она встанет, поскребет по пыльному брезенту «Студебеккера» и скажет: «Выходи, дундук!..»

Она начала тихонько кричать. Он делал с нею… Это тоже… И это…

Ее крик перешел в тонкий животный вой…

Я думал, что сейчас упаду и стану кричать так же, как она – призывно, страстно…

Она начала биться, казалось, это агония…Внезапно она коротко вскрикнула и откинулась на подушки, закрыла глаза. Глеб также отвалился, тяжело дыша…

Свершилось!

Мне показалось, что я устал не меньше любовников. Я осторожно откинулся на стену комнатки, закрыл глаза. Так прошло минут десять – пятнадцать.

- Надо идти, - наконец, сказала она. – Небось, заждались…

- Ага, - без выражения сказал он, глыба.

И они собрались, и уехали… Перед отъездом она тщательно застелила постель, осмотрела комнату. Я заледенел, когда она обнаружила бумажку, в которую был завернут бутерброд. Но она что-то хмыкнула, наподобие «сколько ни убирай, а груды мусора повсюду!» - и на даче стало тихо. Очень тихо.

Я выбрался из своего укрытия и, не спеша, пошел к автобусной остановке. День выдался нелегким.

Но зато я теперь все знал. Все! Я шел и потихонечку говорил себе:

- Не бывает тайн, которые нельзя открыть… Это точно! Но больше об этом я никому не расскажу…

Приехал автобус, и со «второй дачной» привез меня в город. Я вышел и пошел домой. Казалось, что я никак не могу проснуться.

И вдруг я увидел ту самую старую стену, с вделанным в нее чугунным кольцом, возле которой давным-давно я стоял и плакал без всякой причины. Я остановился, прикоснулся к холодному чугуну – не из глубины ли заледеневших времен поднимается к нам этот холод?.. Даже яркое солнечное лето не в силах растопить его?..

Ноги понесли меня дальше по улице, а в голове кружился вопрос: а чего ради я проливал здесь тогда слезы? Ведь все на свете хорошо. Все на свете чудесно!..

31 октября 2007 года

Вторник

Февраль – последний месяц зимы, Урал впадает в Каспийское море, утром жить тяжелее, чем вечером, кнопку унитаза нужно нажимать плавно, как педаль газа в автомобиле, когда трогаешься. Антонида Петровна строго посмотрела на мужа и спросила:

- Помнишь старый анекдот про стаю журавлей?.. Из серии абстрактных? В студенчестве их травили почем зря…

И она заранее хохотнула.

Старик не помнил анекдота про стаю. Дундук.

- Ну, летит стая несколько дней без отдыха. Все журавли выбились из сил. И еще летят день, и еще два. Самый молодой журавль не выдержал, подлетел к вожаку стаи и спрашивает: «Долго еще лететь?». А вожак отвечает: «Тебе не все равно, ведь сегодня вторник…»

Она еще хохотнула, посмотрела с некоторым осуждением на его неулыбающееся лицо – не смешно ему с утра. Пива надо пить меньше, тогда и рассветы радостнее будут.

- Так вот, сегодня как раз вторник, - сообщила она ему на всякий случай.

- Ну и что? – не понял он.

- Абстрактный анекдот-то, - сказала она. – Воображение развитое нужно иметь… Парадоксалинку такую…чтобы дошло. Доперло. Доехало. Дозвонилось до мозгов, плавающих во вчерашнем прокисшем пиве…

- Да ладно! – махнул он рукой. – Не каждый день ведь… Витьку Иванова встретил, давно не виделись…

- Вообще-то мне все равно. По барабану. Типа фиолетово. Хоть упейся…

Старик подумал: может, обидеться? Но как ей это показать? Уходя на работу хлопнуть дверью? Обозвать стельной коровой? Отказаться от денег на обед? Или перестать разговаривать с ней, вздыхать и отводить глаза? Перестать по утрам нырять к ней под одеяло?.. А вообще, когда это было в последний раз? Кажется, осенью… В октябре. Почти пять месяцев назад. Тогда еще воду горячую отключили. И холодную тоже. Точно. Но сначала горячую. Она забралась под душ, полупрозрачные искривляющие стекла почему-то рисовали два силуэта, причем каждый в два раза тоньше ее нынешней фигуры. «Разделилась Антонида надвое, как инфузория», - прошептал он, и в это время послышался ее душераздирающий вопль – это как раз выключили горячую воду. «Ой, гаааадыыы, заморозили!» – кричала она, но тут пропала и холодная вода, и осталась Антонида с намыленной головой, вся в пене, Афродита Кооперативная. Она когда-то в кооперативе каких-то культурных работников состояла, ошибки вычитывала в рукописях знакомых классиков.

Она закричала ему из ванной, чтобы он согрел в чайнике воды и принес бы ей. Воды в чайнике почти не было, поэтому он сказал, что сбегает к колонке с ведром, а она пусть ждет. Он взял ведро и отправился по воду. Колонка была недалеко, но народу к ней уже набежало порядочно. Он попытался рассказать очереди, что у него жена в ванной намыленная сидит, но никто не вник в его положение и положение Антониды Петровны. А кто-то даже крикнул: «У меня теща сидит, засыхает, как герань не политая, так я же не лезу без очереди!»

В общем, простоял он за водой с полчаса, набрал полное ведро и бегом домой. Приходит, а жена в кухне на табуретке сидит, в голове у нее, как паутина, пена засохшая, а волосы на лобке как будто поседели – тоже от пены.

- Тебя только за смертью посылать! – сказала она, но беззлобно, и посмотрела на него почему-то с нежностью. А он ожидал ругани. Тогда он налил воду в чайник, поставил его на газ, а сам подошел к ней и положил руку на ее прохладную грудь. И сразу почувствовал, как сосок, напрягшись, отреагировал на эту ласку.

- Пойдем на диван, - сказала она хрипло. И они пошли на диван. Потом он в ванной поливал ее теплой водой из чайника, она жмурилась, пофыркивала и молчала. Ничего не сказала за весь тогдашний вечер. Но прошло уже почти пять месяцев.

Он так и не решил – обижаться ему или нет, взял деньги на обед, про себя обозвал ее коровой – не стельной, обычной – и вышел из дома. А там его ждал февраль, но не хотелось ни чернил доставать, ни плакать. Не нужны ни чернила, ни слезы. Он забросил свой роман, - а о чем он писал, о чем? - лет десять назад, рукопись его не попадалась на глаза уже года три, а слезы не приходили к нему еще дольше. Все было хорошо.

Два удивительно бодрых утренних дворника из соседних домов, облаченные в огромные брезентовые плащи и вязаные шапочки, объединили усилия и посыпали тротуары песком, чтобы поступь пешеходов была прямой и уверенной. Глядя на них, спокойно думалось, что никакая опасность вышедшим на улицу сегодня не угрожает, но, увы!

Рядом завизжали тормоза, раздался дребезжащий удар и вслед за этим над головой стал нарастать смертельный грохот. Он поднял глаза вверх: на него с высоты обрушивался огромный чугунный троллейбусный столб. Он закричал и бросился прочь, и вовремя, – именно в то место, где он стоял секунду назад, ударила многотонная конструкция. Он оцепенело смотрел на рухнувший столб, на врезавшуюся в него машину какого-то зелено-яблочного цвета и в голове крутилось: «Все равно сегодня вторник…»

Утренние дворники ни на миг не прекратили своей песочной деятельности.

Из машины выбралась дама в каракуле, а за ней такая же караракулевая собачонка. Дама закурила длиннющую черную сигаретину и принялась чертыхаться по поводу гололеда на дорогах, узких улиц, сволочных пешеходов, бродящих по проезжей части, где им вздумается. Собачонка подняла ногу над рухнувшим столбом, где хочу – там писаю.

- Мужчина – будете свидетелем, - подошла к нему каракулевая дама. – Что за сволочная жизнь, проезда нет никакого…

Он хотел спросить, а есть ли проход, в отличие от проезда, но не спросил.

Тогда она спросила его фамилию, и он ответил.

- А имя есть? – она вытащила из каракулевого кармана записную книжицу и тонюсенькую, как спичку, ручку.

- Есть, - сказал он. – Старик.

- Очень приятно, - протянула она руку. – Старуха…Мы тезки…

- Меня так в университете называли, и вот приклеилось на всю жизнь, - стал он объяснять, но она его перебила:

- Можно считать, что ты сегодня заново родился, - она показала на рухнувший столб. - Так что не Старик, а Младенец… Ничего что на «ты»?

- Я даже заметил, что если бы не твоя машина, - согласился он общаться на «ты», - то и поводов заново появляться на свет у меня было бы значительно меньше… Или вовсе не было…

- Ну, прости, Старик. Гололед свинский… Песком улицы совершенно не посыпают… Только вон тротуары похожи на пляжи, а ведь пешеходы, за редким исключением, не имеют веса автомобиля, а значит у них нет такой буйной инерции – чего о них так заботиться? И потом – машины много дороже большинства пешеходов, не находишь? Так что, извини…

- Ничего, извиняю с чистым сердцем, по-младенчески…

И тут подала голос пара дворников, энтузиастов метлы.

- Человек – это звучит!.. – сказали они. – Муниципалитет поставил нас служить людям, а не машинам… Поэтому, песок – тротуарам…

«А мир, конечно, хижинам, а дворцам - война», - подумал Старик

Дворники с еще большим усердием взялись за лопаты.

- Просто гуманисты! – сказала Старуха. – Взглянув на эту парочку, понимаешь, что судьба многострадального человечества наконец-то в надежных руках. Что-то знакомое в двойном чудном облике, только не припомню…

Она присмотрелась к удивительным дворникам, покачала головой и убрала свою книжку, тем более, что к поверженному столбу и разбитой машине полицейские не спешили.

- Рванем отсюда? – предложила Старуха. – Пока не нагрянули блюстители?..

Он хотел сказать, что ему нужно спешить в редакцию, что горит статья о тенденциях добычи углеводородов, но ничего не сказал, только кивнул головой.

Старуха забралась в автомобиль, что-то там понажимала, и мотор зарычал, но не очень уверенно.

- Садись! – пригласила Старуха.

Он протиснулся в машину, за ним каракулевая собачонка – тявкнула, лизнула руку. Сначала чуть не угробили со своей хозяйкой, теперь подлизываются.

Он попытался захлопнуть дверцу, но она, покореженная, не закрывалась.

- Оставь, Старик! – сказала она. – Пусть сегодня будет день открытых дверей. Все равно далеко не уедем на этой калеке.

Машина дернулась раз, другой, третий и тронулась с места – сначала отползла назад от столба, а потом медленно двинулась по дороге, но как бы прихрамывая.

- Ты кто? – спросила Старуха. – Впрочем, не говори, - я и так угадаю… Писатель – неудачник?.. Точно?

- Ну почему же неудачник? – не ожидал он прямого вопроса. – У меня три книжки вышло, в союз писателей меня приняли, критик Бакаушин назвал мое творчество «явлением в новой литературе»…

- Ладно – ладно, не спорь! – закричала Старуха. – Сам знаешь, что неудачник… Книги твои, должно быть, скучны, их не раскупают, а издаешь ты их на деньги, выклянченные у спонсоров… Если ты мужик неглупый, то скоро бросишь писать, или уже бросил… Как все неудачники, бесконечно женишься, поди уже раз пять женат, и все твои дети тебя по отчеству вряд ли помнят – называют дядей…

- Как ты можешь! Это неправда! Откуда ты взяла! – попытался он отбиться от нее, но она не обращала на это никакого внимания.

- Время от времени бегаешь в залы, где отдаешься во власть одноруких бандитов, - продолжала она. – Впрочем, какая там власть, играешь мелко, ставки делаешь копеечные… Раньше ты любил преферанс в компании друзей, но постепенно стал стесняться своих ничтожных ставок, стал бегать к автоматам…где находишь самые яркие

свои ощущения… Небось, на прошлой неделе полтыщи выиграл, купил цветастый китайский галстук…

- Не покупал я никакого галстука! – закричал он. – И вообще, останови машину, нам не по пути!

- По пути! Конечно, по пути! – захохотала она. - С кем же тебе по пути, если не со мной? Попробуй сейчас вернуться домой, отправляйся на свою постылую работу – и потом всю жизнь будешь жалеть…

Он присмотрелся к ней: ну, конечно же, городская, битая, тертая ведьма… Только такие ему и попадаются…

Выжженная, как пустыня, перекисью водорода, не ведающая ни страха, ни любви, Старуха была не стара, на вздернутом носу сидели огромные очки, губы светились яркой помадой; она была даже хороша собой – дорогая косметика, стойкие красители, достаток терпения и времени, – даже каракулевая шуба ее не портила, тем более, что распахнутые полы показывали стройные ноги, обтянутые чулками с кружевными резинками, и не было бы в ней ничего особенного, если бы не зеленоглазая тоска, которую не закрывали даже темные очки. И он сказал:

- Только не гони, столбов еще много…

Она загадочно улыбнулась.

Покалеченная машина проползала мимо темных домов по темным улицам. Он думал: «Когда же, наконец, рассветет? Когда проснутся жильцы этих домов и улиц? Может быть, вчера наступил какой-нибудь, еще неведомый, Новый Очень Старый Новый Год? Или Очень Новый Старый Новый Год?.. Или… И люди радовались всю ночь, и улеглись по своим и чужим постелям только поутру? А он проспал праздник, а мог бы вместе со всеми ликовать на площадях и улицах?..»

Что-то проворчало в моторных глубинах, и машина остановилась.

- Один мой друг где-то здесь живет, - сказала Старуха. – Фиолетовый…

- Это фамилия такая или прозвище? – спросил он. – Или он цвета такого, может от бормотухи?

- Кто же знает?.. А тебе это важно? – ответила она вопросом на вопрос.

Ему было совершенно безразлично.

- Может быть, он здесь живет? – показала она на кривившийся рядом с ними какой-то поношенный, как старая горжетка, дом. – В полуподвальном этаже?.. Где же ему и жить, как не в подполье?..

Старик пожал плечами.

Старуха взяла его за руку и потащила за собой. Он не пытался сопротивляться. Чувствовалось, что рука у нее уверенная, твердая, но может быть и ласковой, если захочет. За ними, конечно, увязалась и собачонка.

Они вошли в подъезд, и внезапно дорогу им перегородил какой-то мужик, с заскорузлым, как пятка, лицом.

- Вы по делу какому, или в гости? – проявил он любознательность. И добавил, подумав тяжело:

- Консьержем я состою здесь.

- Здесь должен мой друг жить, - сказала Старуха. – Фиолетовый… Человек искусства… Мы к нему.

- И белые есть, и черные, а недавно поселился один красный, собака! Голубых чуть не полдома, - сказал заскорузлый. – Появились и зеленые, в рост пошли, как вьюны. А фиолетовых пока не видел…

- А давно ли сторожишь тут? – спросила Старуха. – Три года, год?.. Всех поименно знаешь?..

- Сторожат, девушка, на бахчах, а я – человек при службе. Сказал же – консьерж. А служу беспорочно третий день… Второго дня шпиена взял, живьем дался, болезный. Свел его в отделение, там ему ребра посчитали.

- Да, шпионов все больше и больше, - сказала Старуха. – В нашем обществе на сто человек приходится тридцать восемь с половиной шпионов. Это официальная статистика. Разнюхивают, разведывают, вычисляют, берут анализы и анализируют неустанно… Проходу от них нет. А еще диверсанты, парашютисты, сексоты, поэты…

- А поэты причем? – спросил Старик.

- Молчи! – сказала она. – Эти всегда виноваты…

- Вот-вот! – одобрил заскорузлый. – И этот выведывал, не подешевела ли в киоске водка с утра. Примета такая заграничная есть, если у нас водка дешевеет – дело к войне идет или к выборам. Но выборы, кажись, недавно были… А водка дорожает – не угонишься! У нас даже дворник пить бросил, второй день, как стеклышко, бедный…

- Да-а-а-а, - протянула Старуха. – Ни с утра, ни с вечера у нас не поймешь о чем люди говорят… И что у них на уме. Стоит спросить про старого друга, как сразу попадаешь на заседание по шпионажу… Спросишь, нет ли дешевой водки, как тебя в кандалах ведут в участок и подвергают пыткам… Какой-то странный у нас мир, не находите?..

- Нахожу, - сказал Старик. – Мне в этом странном мире давно пора на работе быть, строкаж гнать, а я участвую в поимке какого-то Фиолетового. Человека искусства…

- Не, - прервала его Старуха. – У него искусство не такое, как ты думаешь. Он – киллер… Понимаешь – заказной убийца. Тебе никого убить не надо?..

- Не надо, - сказал он, а потом подумал, и уверенности в этом у него не стало.

- Врешь! – опять раскусила его Старуха. – Уж у тебя-то есть, кого заказать… Дюжину бы заказал. А что, говорят услуги эти дешевеют, не то, что квартирная плата… Каждый избавился бы от соседа с дрелью за стенкой, от удачливого друга, сумевшего не жениться на той, которую вы оба любили, даже от насмешливой официантки, которая мерзко ухмыляется, когда вы пересчитываете сдачу, но, может быть, горячее желание это

сдерживает опасение, что и от тебя захотели бы многие избавиться?.. Не опасайся мы этого, обезлюдели бы улицы…охота бы пошла нешуточная…

- Это преувеличение, - сказал консьерж. – Мы умеем сдерживать свои животные инстинкты…

- Да? – задумчиво посмотрела на него Старуха. – Впрочем, твоя ответственная служба этого требует. Иначе где были бы все жильцы, задолжавшие за уборку мусора или забывшие выключить воду?.. Но что-то мы заболтались…

В это время раздвинулись дребезжащие дверцы дребезжащего лифта, из железной скорлупы которого, как из яйца, вылупился мужик. Странный, совершенно без примет. Ну, хоть бы левый глаз косил или брюки драные на коленках, или, в крайнем случае, с похмелюги бы. Ничего подобного! Даже бланша под глазом нет. Впрочем, кажется все-таки после запоя.

Старуха окинула его внимательным взглядом, сказала:

- Несмотря на полное отсутствие примет, и в этом чудится что-то знакомое, если не родное…

Мужик смешался, закашлялся, но справился с приступом.

- Вот случай был, - повел он рассказ, - что девочка одна – Лизавета – из дому ушла… уехала… Как будто ничего особенного – взяла, да уехала, но дело в том, что… А с утра у ней кенар в клетке помер, сдохла птичка… Жалко, конечно, но из-за кенаров дом родной не бросают. А она бросила, отправилась на поиски волшебной страны. Беловодского царства-государства. Так вот, дело-то в том, что девочка прикована к инвалидной коляске … Особенно не разгонишься.

- Известен мне этот сюжет, - сказала Старуха. – Один писатель его придумал, роман пишет… двадцатый год, как пишет… А ты откуда знаешь?

- Нет на свете новых сюжетов, все они в атмосфере, как электричество воздушное, эфир пропитан ими, - ответил мужик без примет. – Оттуда и черпаю…

- Нашла девочка страну ту? – спросил Старик. Сюжет показался ему тоже знакомым.

- Ищет, - ответила Старуха. – В этом весь смысл – искать…

- Найдет?

- В конце романа. Но писатель только-только предисловие осилил… десять страниц написал.

- Не густо, - Старик вспомнил собственные писания. – За двадцать лет мог бы хоть страниц пятнадцать огоревать…

- Постойте, постойте, - продолжил он, - а нет ли в этом романе телеги старьевщика, которая сама по себе, без лошадей, по круглой Земле катается?..

- Кажется, есть, - равнодушно сказала Старуха. – Смотрю, уже все об этом романе знают, даже читать потом неинтересно будет. В лучшем случае, в самый конец загляну – и все…

- Так это мой роман, это я его пишу! - вспомнил потрясенный Старик. – Роман странствий… Пишу, писал…

- Буду писать…, - перебила его Старуха. – Из тысячи писателей девятьсот девяносто девять о странствиях пишут… Вышел из дома за вазелином в аптеку – вот тебе и путешествие… Да что там говорить, вся жизнь – странствие странное. С чего ты взял, что о твоем творении речь?..

- Так ведь у меня о Лизавете говорится, а еще о кенаре, желтом, как пустыня, кактусе, колючем, как динозавр…

- Ну пусть, пусть - твой роман, - легко согласилась Старуха, - так ведь его еще написать надо… О странствиях, а ты сам в странствие пустился…

- Какое-такое странствие?.. Вернусь вечером домой, найду рукопись и засяду за роман. Вернусь и засяду! Напишу так, что мороз по шкуре драть будет!

- Не вернешься, - обреченно сказала Старуха. – И сам знаешь, что не вернешься… А причину тебе сказать, или сам знаешь?

Он помолчал, вздохнул и произнес твердо:

- Знаю.

Но она все-таки сказала:

- Потому, что нет у тебя никакого дома… Не создан ты для этого тепла, я тебя за секунду утром раскусила, даже по походке заметно… Хозяин не так неуверенно ходит, не так – на краешек – садится. А ты – квартирант… Обитатель каравана… Раб чемодана… И потом, сколько раз ты бросал дома, становившиеся тебе родными, сколько? Но будет, будет, вытри слезы – любой бездомный – счастливчик, каждый день он проживает новую жизнь…

- Вы меня еще не знаете, - сказал он. – Я вернусь…

- Как знаешь, - отвернулась от него Старуха, - но если что, то рукопись твоя у меня – про Елизавету…

- Откуда? Почему? Похищение?..

- Да какое похищение, с неделю назад один старый друг – Кулема - он в бомжах теперь - притащил, нашел в мусорном баке, а человек он ученый, грамотный – нам бы всем так, ну и подумал что-то полезное, в бутылку синьки ее оценил… Не пожалела я поллитру синьки, и теперь уверена – хорошо, что не пожалела. Он иногда притаскивает мне кое-что полезное, вот недавно на свалке ему попался почти новенький телевизор, да такой странный, говорит с каким-то акцентом дивным. Даже бомж не сразу раскусил этот телевизор. А он, оказывается, из будущего вещает, короче говоря, показывает всю правду завтрашнего дня…

- Такие случаи бывают, - вмешался мужик без примет. – Вот в шестьдесят восьмом годе, помню, как сегодня было, в городе Кзыл-Орде девочка жила, звали ее Света… Умница… Мечтательница…

Мужик погрустнел, замолчал, задумался.

- Ладно, потом доскажешь про девочку, когда вспомнишь, - сказала Старуха. Повернулась к Старику:

– Так вот, из этого телевизора я и узнала про тебя… Искала давно… А ты сам чуть под колеса не бросился… Чудик!..

- Из телевизора? – изумился он.

- Не бывает никакой правды в телевизоре, - подал голос заскорузлый консьерж. – Может, только в передачах про огороды и дачи, где вся правда и сконцентрирована?.. На прошлой неделе показывали, как бедолагу одного схватили, он на даче спиртовый завод воздвиг. Очень рентабельное производство, но не дали расцвести инициативе…

- Так что в телевизоре про меня сказали? – спросил Старик.

- Типа того, что ты – знаменитость, и твоим романом зачитывается весь народ светлого будущего, даже всякие премии твоего имени есть… В телевизоре том артисты всякие, с выражением, с чувством, с расстановкой главы из твоей книжки про Елизавету читают… Я сравнила с рукописью найденной – твоей то есть, так все совпадает – все десять страниц…

Старик подумал, что вся эта байка про телевизор из будущего похожа на розыгрыш, но с другой стороны от бурно развивающейся науки можно ожидать чего угодно. Ведь изобрели же стоэтажные жилые дома, электрические книги, клонированных людей…

- Посмотреть бы самому, - с легким сомнением в голосе сказал он.

- Об этом и речь идет, - сказала она. – Вот найдем фиолетового и отправимся…

- Экран у него цветной? – спросил Старик.

- У фиолетового? – переспросила она.

- У телевизора.

- Не, не разберешь какой цвет – лазоревый что ли… Но четкость очень большая…

- Может, без этого, фиолетового обойдемся? – выказал он нетерпение. – Без него телевизор, что ли, не включается?

- Включается, почему не включается, - почти обиделась она. – Просто общения не хватает. Хороших людей мало осталось. Коммуникабельных…

- Скажи, Дамка? – обратилась она к каракулевой собачке, и та зашлась в мелком визгливом тявканьи.

- Не положено здесь лаять, - сказал заскорузлый, - а хороших людей все-таки много, не шпиенов…

- Точно! – поддержал его мужик без примет. – В семьдесят первом годе, когда один мой друг первый раз женился, теща его, пусть не тем будет помянута, взяла и сожгла в унитазе все его документы, а пепел, естественно, спустила в канализацию. И остался он гражданином мира – ни паспорта, ни членского билета добровольного спортивного общества «Буревестник», ни студенческой зачетной книжки. И оказалось, что никто его не знает, не помнит, даже родня на порог едва пускает. Ни на квартиру встать не мог, ни в

гостинице поселиться, ни в кассе взаимопомощи попросить сотню–другую на поправку моих нерадостных обстоятельств. Так и пропал бы он, утоп бы, растворился в океане безвестности, да пришли на выручку те, о ком мы думаем меньше всех: помогли выправить всякие нужные справки нетерпеливые людишки, коим друг денежки всякие должен был; хорошо-то как, что он много в те годы занимал. Сейчас другие времена, взаймы не допросишься… Так что, добро часто вырастает прямо из семечка зла…

- Что за день такой? – подумал Старик. – И день этот не первый, и даже не второй, и не третий. В пятницу Антонида ночевать не приходила, а пришла – набросилась чуть не с кулаками, все кричала, что стоит ей задержаться у подруги, как он начинает предположения всякие дурацкие строить, сволочь! А он никаких предположений не строил, тем более, спросонья. Он и так знает – она ночевала у Левки Косолапого, да и кто этого не знает. А на той неделе вдруг звонят из космического комитета, спрашивают, не приходилось ли сталкиваться с чем-то необычным, таинственным? Он вспомнил, что сталкивался, и много раз, и начал рассказ с того, что как-то ночью видел дворничиху голой, но на другом конце телефонного провода отчетливо произнесли «дурак» и бросили трубку, и он не успел сказать, что она летела на метле. А в позапрошлый вторник подошел к нему человек, в приличном пальто, шапке дорогой, предложил купить у него замок. Старик отказался, потому, что в дверях их с Антонидой квартиры был врезан благородный английский замок. Тогда человек в пальто и шапке сказал, что он не запоры продает, а старинные замки. Он понизил голос и предложил купить у него просторный остров в Эгейском море. Старик отказался и от острова… Нет, не разберешься в хитросплетеньях этой жизни, да и разбираться боишься, вдруг, там такое, такое, такое!.. Что-нибудь кисло-сладкое или черно-зеленое?.. В общем, все шиворот-навыворот, и удивиться уже нечему… Но, вдруг, логика абсурда – самая логическая логика?..

Пока он размышлял, лифт привозил и увозил каких-то людей, и не было среди них ни одного знакомого человека.

- Нет, фиолетовый должен обитать именно здесь, - твердо сказала Старуха, - ему нравятся густонаселенные места, в обилии людей ему легче не выделяться из массы. Мы должны обследовать помещения. Есть здесь кочегарка, подвалы, каморки для сантехников и электриков?..

- Здесь есть все, что должно быть в приличных домах! – с достоинством ответил заскорузлый консьерж.

- Тогда в путь! – приказала Старуха, и добавила:

- Дамка, ищи!..

Дамка тявкнула и направилась к узкой железной лестничке, которая вела куда-то в подполье, как в трюм. Ступеньки лестницы грянули под ногами, как медные оркестровые тарелки. В подвале пробудились все крысы, пауки и еще кто-то, кто не мешал ни паукам, ни крысам, вел свою тайную, полную приключений жизнь.

- Наверняка, ко мне, - понял он. – Нужно встретить достойно.

Фиолетовой рукой он пригладил растрепавшиеся фиолетовые кудри, посмотрел в угол, где за трубой с вентилем хранилась в полной готовности славная винтовка Сергея Ивановича Мосина, высочайше одобренная Государем еще 28 апреля 1891 года. Винтовкой сподручно было уничтожать живую силу противника огнем, штыком и

прикладом. Но сегодня, должно быть, выдался славный день, уничтожать никого было не нужно, потому, что послышались товарищеские голоса Старухи, ее каракулевой Дамки и дружеские восклицания сопровождающих ее лиц. А ее всегда сопровождали надежные лица.

Фиолетовый жил в западном углу давно погашенной по причине центрального отопления кочегарки. Он вообще с детства любил все западное – хотдоги, гамбургеры, колу, только винтовки предпочитал отечественные, проверенные в славных сражениях. В восточном углу кочегарки до самой зимы ютилась молодая пара, но влюбленные очень боялись крыс, и были вынуждены переселиться на чердак. И он остался один, он умел ценить одиночество: воспоминания молодости вставали перед ним во мгле кочегарки – яркие и никогда не повторяющиеся; в глубине души он считал, что они рождены не памятью, а воображением, но умел подавлять в себе эти разрушительные сомнения. Сегодня утром он вспомнил, как в непредставимой дали детства ходил с одной девочкой купаться на речку со странным названием Чаган. В эту речку упиралась улица, на которой он тогда жил с мамой и бабушкой. Другой конец этой улицы раньше упирался в церковь, а когда ее большевики взорвали, стала упираться в другую речку. А всего в городе было четыре реки.

Девчонка была красивая и знала, что она красивая, и еще за квартал до речки сначала расстегнула все пуговички на цветастом своем ситцевом сарафанчике, а потом сняла его и вовсе, осталась в таких же цветастых трусиках и тесном тоненьком лифчике, и мальчишки на берегу забыли о своих поплавках и закидушках. Плавать он тогда только научился, да и то едва-едва. Потому, что постигал эту науку сам, почти тайком. Все его друзья умели плавать с младенчества, их учили отцы, старшие братья, а его отец жил в другом доме и купаться с ним не ходил. И он всегда боялся признаться мальчишкам, что держится на воде еле-еле, и бегал на Чаган один, и немало выпил мутной воды, пока не стал плавать чуть получше утюга.

А девчонка эта жила в соседнем дворе, в старинном доме с колоннами, говорили, что когда-то давным-давно здесь жил какой-то полковник Мизинов, а у него была родственница – Лика Мизинова, а она какая-то знаменитость, а какая – не помнили. Входить в этот дом нужно было по крутой каменной лестнице, а потом долго тыкаться в темном коридоре в высокие деревянные двери, задевать подвешенные на стены велосипеды, жестяные оцинкованные ванны, пока не откроется одна из дверей и не выглянет эта девчонка и не скажет: «Чего ты как трактор грохочешь?». Он только раз или два, или три, был у нее дома, когда ходил скатать сочинение «Как я провела лето». Конечно, он исправил название на «Как я провел лето», но кроме названия пришлось исправлять и кое-что другое. Девчонка описывала, как она с матерью и отцом ездила на каникулы в Москву. Он, конечно же, не был в Москве, но дело не в этом – он никак не мог поехать туда с отцом, и учительница по литературе прекрасно знала. Знала лучше других, потому, что его отец как раз и жил у нее. Он вычеркнул отца на всех страницах и получил за сочинение четверку. А девчонка жила в богатой семье – у них в квартире был тяжелый черный телефон, оранжевый шелковый абажур и черное пианино, расположенное у окна. А окно это выходило во двор, где жил фиолетовый, хотя, кажется, тогда он был еще не фиолетовым, не очень фиолетовым. А в их дворе было много акаций, сирени и в начале лета их ветви наперегонки лезли в окно к девчонке, он бы и сам полез к ней, но она уже ходила на танцы с взрослыми парнями, а ему при встрече говорила: «Это ты вчера под окном на акации висел, как обезьяна? Когда я играла?». Он никогда не признавался, но именно он и висел на акации всегда, когда она играла на пианино. И она знала об этом, и

играла. Он до сих пор не знает, как называлась эта музыка, но от нее хотелось плакать, не висеть на акации, а плакать лежа в траве, или дома под одеялом – и не знать о чем плачешь, может быть, о чем-то очень хорошем, что никогда не может сбыться?.. Но он в то лето не плакал, а слушал, забравшись на акацию, и смотрел в окно, и видел абажур.

И вот как-то днем, кажется, в июле, когда было жарко и безветренно, и пыль, поднятая прошедшими машинами, висела над городом серой дымкой, девчонка позвала его на Чаган. Он понимал, что должен был отказаться, придумать что сегодня должен закончить выпиливание лобзиком полочки для мыла или накликать на свою голову родственников, которые будто бы должны вот-вот нагрянуть – любую глупость, лишь бы она не увидела, как неумело он барахтается в воде, лишь бы она не узнала, что у него нет плавок и он облачен в необъятные черные сатиновые трусы… Но он не отказался, поплелся за ней, загребая мягкую пыль сбитыми сандалиями.

Конечно же, она не забыла взять с собой полотенце, и легла на него, постелив его на горячий песок. Закрыла глаза, выдохнула:

- Хорошо как…

Он стащил с себя брюки, рубашку и, чувствуя, что его уши пылают ярче солнца, плюхнулся в метре от нее. Она открыла глаза, повернулась в его сторону:

- Что ж ты, кавалер, отодвинулся за километр?.. Я днем не кусаюсь…

Он хотел остроумно спросить: «А ночью?», но не спросил, а стал придвигаться к ней, как солдат под артобстрелом. Она звонко расхохоталась, легко поднялась с полотенца, сказала:

- Поплывем?

И побежала к воде, потом несколько шагов по воде и нырнула, нисколько не боясь, как все девчонки, за свои волосы. Вынырнула, тряхнула головой, закричала ему:

- Ну что же ты? Вода, как парное молоко! Давай скорее!

И он помчался к ней в пузырящихся, как паруса, трусах и бросился головой в воду изо всех сил. Хорошо, что в этом месте было глубоко, иначе свернул бы себе шею. Саженками, красиво и стремительно, как ему показалось, он поплыл в ее сторону, и мимо нее. Вот как замечательно он плавает! Он плохо помнит, как это случилось, но он оказался на середине реки, даже дальше. Оглянулся и понял, что сейчас утонет, потому, что никогда прежде так далеко не заплывал. Голова девчонки была где-то среди других голов купающихся, не различить на таком расстоянии. Но голос ее долетел до него:

- Не заплывай далеко, там родники, ноги сведет!

И тут же он почувствовал, как ледяные струи подземных родников стали обволакивать плохо слушающиеся ноги. Ему показалось, что ноги стали похожи на две огромные тяжелые сосульки, и они тянут его на дно. Ужас заполнил все его сознание, кроме крошечного уголочка, где билось: «Утону, но при ней звать на помощь не стану!».

И вот уже и раз, и другой глотнул он чаганной воды, прощай девочка! Какая короткая жизнь!.. Неужели это происходит с ним? С ним, таким замечательным?

Но тут холодеющие ноги коснулись дна; противоположный берег был отлогим, и была здесь река неглубока – по пояс, чуть больше. Страх еще колотился в нем, а все его существо уже переполнила дикая радость – он не утонет! Не утонет! Будет жить, и слушать по вечерам музыку под окном девчонки.

- Плыви назад! – закричала она ему. – На том берегу колючек много…

Нет, ничего на свете не могло тогда заставить его плыть назад. Он выбрался на берег, и тут же в ногу впилась колючка, за ней другая…

- Давай назад! – кричала ему девчонка. – Мне некогда…

Но речка в этом месте была широкая, и он вполне мог не расслышать, что она кричала. Он вспомнил, что прежде неподалеку была паромная переправа, и пожалел, что ее убрали. Городской мост через Чаган был в полутора километрах от пляжа. Выбора у него не было. Он услышал еще, как кричала девчонка «Ты что там, грибы собираешь?», продрался сквозь заросли колючек, тальника, и, укрывшись в кустах, выжал трусы, и отправился к мосту по тропинке, петляющей в пыльном летнем леске. Встречающиеся ему здесь люди не удивлялись его почти спортивному виду, сами купались и загорали, но когда он перебрался по мосту на другую сторону и оказался чуть не в самом центре города, то прохожие стали оглядываться на полуголого паренька, некоторые красноречиво крутили пальцем у виска.

Почти час добирался он до того места, и девчонка из дома Лики Мизиновой уже ушла.

- Обиделась твоя чувиха, - сказал один из рыбачащих на берегу мальчишек. – Ждала пока ты накувыркаешься в воде, да ждалка у нее кончилась…

Не нашел он на берегу ни своих брюк, ни рубашки, ни сандалий… Неудачный день, кажется тринадцатое число было…

О том, как он добирался домой, фиолетовый не любил вспоминать – ничего интересного в этих воспоминаниях не было, эка невидаль – человек в одних трусах идет по каменным тротуарам раскаленного города, жарко ведь! От матери с бабушкой, конечно, получил он на орехи, потому, что когда девчонка принесла его одежду, они первым делом подумали, что он утонул. Девчонка кое-как успокоила их, сказала, что он не утопленник, а просто дурак, бросил ее среди незнакомых пацанов на берегу, а сам куда-то ушел в одних трусах.

После этого купания он долго ее не видел; по вечерам окно ее было закрыто, молчало пианино. Девчонки с ее двора, сказали, что она заболела, но, наверное, врали, как это водится у девчонок. Потом она появилась, весело, как ни в чем не бывало, помахала ему рукой, сказала «Давно что-то тебя не видать», прошла мимо. В школе они виделись каждый день, но сидели за разными партами – она, как повелось у отличников, на первой, он – троечник – на последней. Он не сводил с нее глаз, но она никогда не оборачивалась, и он не мог понять – почему. Как-то еще раз он приходил к ней под шелковый абажур – у него хромал русский язык, да и геометрия тоже, и химия, а она была отличница, помогала отстающим. Она дала списать задачку по физике, спросила:

- Хочешь поцеловать меня?..

Он не знал, что нужно говорить и сказал:

- Да…

- Тогда целуй! – сказала она и подошла к нему. Он прижался вмиг высохшими губами к ее щеке и замер. Она погладила его по голове и вдруг чуть слышно всхлипнула, оттолкнула:

- Вот, поцеловались… Теперь иди…

Через несколько дней он узнал, что она уехала жить в другой город. Не попрощавшись, не сказав ни слова. Обычная история… Через год он получил от нее письмо, в котором была ее фотография и подпись на обороте: «Последние каникулы я провела в Сочи, но сочинение об этом не писала. Так что, скатать нечего. Не грусти и не забывай». И он не забывал…

- Так и знала, что ты где-то здесь, старый дружище! – закричала Старуха. – А этот заскорузлый говорил, что у них такие не водятся. Такие везде водятся…

- Не встречал прежде, не приходилось, - принялся оправдываться консьерж, но Старуха его перебила, принялась представлять своих спутников:

- Это будущий знаменитый писатель, - показала на Старика. – Но пока в его великом произведении написано десять страниц.

Старик поклонился.

- А это борец со шпионами, диверсантами и расхитителями государственных секретов, - махнула рукой в сторону заскорузлого. Тот небрежно отдал честь двумя пальцами.

- Спешу рекомендовать и неприметного на первый взгляд рассказчика историй на все случаи жизни, - показала она на мужика без примет, и тот сразу завелся: «В городе Бобруйске жила девушка, этакая кабета провинциального разлива, милая и уютная цвела среди лесов на берегу речки Брожка, загорала среди грядок с редиской и горохом; «кабета тая незвычайна прыгожая» и из вековых дубрав к ней набегали вечерами осанистые лешие, нашептывали в юные ушки дубовые скабрезности, она отмахивалась от них, хохотала, но белорусское болотное солнце уже перегрело ее и без того жаркое тело, и она полюбила – не фигуристого, крепкого лешего, а мальчишку, загоравшего на дачных грядках по соседству. Как-то вместе из одного шланга они поливали горох, да так весело, что брызги летели во все стороны, а в каждой капле переливалась крошечная радуга. С ног до головы промокли поливальщики и кабета принесла из дачного домика полотенце – этакое жарко-красное, расписное – и провела этим красным жаром по плечам мальчишки, и он загорелся, и она вспыхнула… Хорошо, что ни мамы, ни папы не было тем временем на даче, и кабета с мальчиком оказались в комнатке под крышей, и он оказывается уже умел целовать девичьи соски; она стонала под его ласками, исступленно целовала все его тело, им было в тот июльский день очень хорошо. И она вышла замуж за мальчика, сыграли веселую свадьбу, на которой было все – и белое платье, и белые туфельки-лодочки, и почти настоящее шампанское, и крики «горько, горько, еще горше!»… И она была счастлива, и ночью чуть не задушила мальчика в объятьях. И зажили они в отдельной квартирке, которую помогли купить им родители; и кровать широченную в квартирку купили (огонь, не кровать), диван раскладной завели (гости нагрянут или кто хмельной завалится), разжились буковым комодом с трельяжем, поставили, как положено, слоников, копилку, кабета вышила курочками и цыплятами занавески, в углу поставили неподъемный лакированный ящик с голубым огоньком и ненасытными поджигателями войны. Все как у людей. Так жили и живут и в болотах, и за болотами, и в лесах, и на опушках.

У кабеты, конечно, была подружка. Нет, нет, не разлучница, не завистница, а девка надежная – и пошептаться, и фасон подсказать, и деньгами помочь – всегда пожалуйста. У нее самой мальчишек вагон – и целоваться было с кем, и горох поливать, если что. А жила она тем, что в бобруйские шири привозила из столиц всякие товары – и шубы, и сапоги, и славную китайскую пиротехнику, которая время от времени расцвечивала небеса над темными новогодними лесами. В подарок на свадьбу она привезла кабете чайный сервиз на двадцать четыре персоны – ни у кого такого в округе не было.

И после свадьбы не забывала она кабету, прибегала после работы, радовалась уюту и согласию. А согласия-то как раз становилось все меньше и меньше. Мальчишка носился на старом, рычащем и чадящем мотоцикле, облаченный в тяжелую, скрипящую как хромовые сапоги, куртку, перешитую из дедовского комиссарского пальто, домой возвращался поздно, и от него пахло бензином высокой очистки. Время от времени к этому головокружительному запаху стали примешиваться ароматы цветочных духов, очень распространенных среди красавиц недалекого села Василевка. Кабета и сама любила «Белую сирень», но от мальчишки все чаще пахло «Нежной акацией». Семейный покой оказался под угрозой.

Подружка как могла ее успокаивала, подарила ей еще один сервиз, поскромнее – на шесть персон, но очень красивый. Говорила кабете «Брось ты его, юбошника, на твою-то красоту мужики, как на мед слетятся!» Но она не бросала, года четыре терпела, заплакала все подушки, пока однажды мальчишка сам не собрал в один узел кожаную куртку, шлем, похожий на тыкву, электрические патроны, которые вкручивались в уши для получения музыки, любимую книжку про мотоциклетные запчасти, и сказал: «Ухожу. Буду теперь жениться на Кате». Катя была даже не из Василевки, а из самих Мачулищ, и ее никто не знал. Кабета в слезы, но он все равно женился на Кате, хоть про нее в Бобруйске никто доброго слова сказать не мог.

Захандрила кабета, с лица спала. Как же так, Катя из Мачулищ оказалась желаннее, чем она, так художественно вышивавшая курочками и цыплятами занавески?

И решила кабета уехать куда глаза глядят – в Минск, в столицу, где асфальта на душу населения в пятнадцать раз больше, чем в Мачулищах. Там театры, концерты, ресторан с волшебным названием «Раковский бровар», там у подножья памятника Якубу Коласу гуляют юноши с поэтическими взорами. Пусть покусает тогда локти мальчишка-мотоциклист!.. Подружка поддержала ее: счастье нужно искать, оно само на голову не свалится.

Продала кабета квартирку с занавесочками, комодом буковым, не пожалела и дивана раскладного. Выручила пачку американских денег – долларами называются – целое богатство. Стала приценяться к квартиркам в столице, недешевые квартирки. Подружка как раз собралась в поездку за шубами, сапогами и китайской пиротехникой. Забежала перед отъездом, выпили по рюмочке горькой, закусили солеными маслятами, обнялись на дорожку. Подружка расчувствовалась и говорит:

- А давай мне свою пачку гринов, - доллары она так называла. – Я пущу их в оборот, и по приезду верну тебе уже не пачку, а полторы пачки – ты и решишь все свои жилищные проблемки…

Задумалась кабета: дело-то какое выгодное, верное, не каждый день такое предлагают! И согласилась.

Уехала подружка, увезла пачку, и больше кабета ее не видела. Ни подружку, ни пачку, и уж тем более полторы пачки. И осталась она без квартирки с занавесочками, без мужа и без денег… Поплакала, погоревала, побежала по кабинетам, где гнездятся блюстители законов, но блюстители заставили ее написать свой печальный рассказ с мельчайшими подробностями, потом чего-то своего дописали в него, поставили печати, росписи, включили компьютеры, постучали по клавишам и развели руками: с раскрываемостью мошенников пока дело обстоит туго, тут заграничные специалисты нужны, а они все как раз за границей и находятся!

Отчаялась кабета и уехала в далекий степной город Темиртау, в места неприютные, колючие – зарабатывать на новую квартирку. Где-то там она и живет, может быть по сей день, мечтает о Минске… А, может и переехала куда, пути кабетам не заповеданы…»

Старуха всхлипнула, отвернулась к прокопченной стене, проговорила сквозь слезы:

- Водки хочу… водки…

- Может, не стоит так расстраиваться над вымыслом? – спросил Старик. – Чего уж там… А от водки и я не откажусь…

Старуха повернула к нему залитое слезами лицо, сказала:

- Никакой это не вымысел, а чистая правда… Вот же носит меня земля!..

- Так ты та самая подружка? – догадался фиолетовый.

- Она самая…

- Как же так, почему?..

«Как я тогда была молода, какие страсти меня терзали, - начала она свой рассказ. – Хотелось любви, богатства, счастья…»

- Ага, вот с этого все истории и начинаются, - вставил слово заскорузлый. – Хоть бы кто-нибудь сказал, что хотел другого…

- А все-таки водка есть? – спросила Старуха, кутаясь в каракулевое пальто.

- Только портвейн, напиток успокоения, чистый, как совесть новорожденного, изготовлен в соседней кочегарке в соответствии с передовыми технологиями портвейно и брагомейкером Василием, - отозвался фиолетовый.

- Давай сюда это пойло, - сказала старуха.

Фиолетовый открыл заслонку давно погашенной топки, извлек оттуда тускло сверкнувший, как гаубичный снаряд, молочный бидон, оттуда же вытащил кружки, наполнил их темной жидкостью. Благородный эфир кочегарки наполнился запахом жженого сахара. Одну из кружек он протянул Старухе:

- Пей, и заполыхает в груди неистовое пламя, все-таки напиток из самой топки…

- Златоуст! – сказала она. – За это и люблю. И выпила крупными решительными глотками, как полководец на привале с солдатами. Сказала:

- Вот это зелье! Чистый антрацит! Как я люблю эти попойки в заброшенных кочегарках, покинутых полуразрушенных жилищах, черных полуподвалах!.. Разве почувствуешь прелесть портвейна, если он попадает в плен крахмальных скатертей, хрустальных бокалов и мясной закуски!.. Кстати, заметили, что портвейн ныне подвержен гонениям, и постепенно исчезает с прилавков; это потому, что не высоколобые философы, не запрещенная литература, не обнищание масс провоцируют революции, а именно портвейн, который развязывает языки в кочегарках, притонах, ночлежках…И власть это поняла, и власть этого боится… Сколько всего переговорено под незабываемый портвейн номер двенадцать, сколько зажжено умов о портвейн с говорящим номером тринадцать, сколько впитано крамолы вместе с портвейном двадцать шестым!.. А были еще «Солнцедар», «Агдам», «Талас»… Да здравствует вино, да здравствуют кочегарки, виват бездомным, слава бродягам!..

- Так что все-таки произошло с этими деньгами? – напомнил ей заскорузлый.

Она погрустнела, начала рассказ: «Всегда и во всем замешана любовь… Я встретила его… Нет, я угадала его… Был как раз год дракона… В общем, вы знаете, у нас случаются годы всякие – то собаки, то петуха, а тогда случилось быть году дракона… Зимою все сковала стужа, и люди старались жечь все, что горело. Полыхали печи, кромешный ад изрыгали трубы, дышали огнем камины, пламя выло и в топках любимых мною кочегарок… Летом солнце было жарче огня и поджигало леса, степи и жилища, черные раскаленные ветры носились над землей… Я не знала тогда, что это дыхание дракона, который выбрался из своей пещеры на охоту за нами всеми, на охоту за мной… Он не знал, что мы драконам больше не по зубам…

Драконы мне снились с детства, они летали над крышами, вперемешку с воронами, мальчишки метко били из рогаток и драконов, и ворон; подбитые вороны падали на землю и мне их было жалко, раненые драконы всегда улетали, тяжело маша крыльями, и за ними тянулась кроваво-черная дымная полоса, как от погибающих бомбардировщиков. Драконов было еще жальче, ведь время их давно прошло и они вынуждены жить в обществе ворон и погибать от рогаток. Вообще, я почему-то всегда сочувствовала тем, чье время прошло. Однажды я забралась на крышу и удивилась – так была раскалена черепица, наверняка от присутствия драконов. Один из них тут же подлетел ко мне; он был совсем небольшим, с радужными стрекозиными крыльями. Не помню уж, сколько голов он носил на плечах, но не могу забыть грусти в его многочисленных глазах. Я уселась на какой-то доске, он опустился рядом. У меня в кармашке сарафана был огурец, я отломила половину и дала ему; он аппетитно захрустел. Тогда я протянула ему и вторую половинку огурца, но он отказался, сказал:

- Спасибо… Последнее не берут даже драконы.

Я откусила от огурца и спросила:

- Как дела, настроение, и вообще?

Он подумал, ответил не очень уверенно:

- Вообще ничего, терпимо…

- Тебе сколько лет? – поинтересовалась я, почему-то мне подумалось, что именно об этом я и должна спросить. – Говорят, у вас долго живут?

- Долго, - сказал он. – Но не так долго, чтобы надоедало… А я – молодой совсем, школьного возраста.

- А чего такой печальный? – не отставала я.

- Часто приходится улетать с насиженных мест… Я странствующий дракон, обет на мне – должен найти я девочку одну… Поэтому только обвыкнешь, друзей заведешь, а уже и пора в дорогу… Тяжело…

- Так оставайтесь, чего летать с места на место? Не ищи никого и ничего… Моя мама говорит: везде хорошо, где нас нет.

- Это сложный вопрос… И потом мы можем жить только там, где нужны… где в нас верят. Говорят, что прежде мы не кочевали, как цыгане.

Я тогда подумала, что, наверное, только человек может жить там, где не нужен, но проснулась.

В другой раз дракон сел на подоконник открытого окна. Спросил:

- Ты стихи пишешь?

Я соврала, что не пишу, тогда он признался:

- Я тоже не пишу, не умею, но очень хочется научиться. Одну строчку уже придумал: «Крылатый день, крылатый год, бескрылый век…». Ничего?

Мне понравилось, и я сказала: «Хорошо!» Тогда он сказал, что посвящает эту строчку мне. Я поблагодарила - «Спасибо» - и поцеловала его в щеку. Он вздохнул печально-печально, и улетел.

Потом драконы снились мне часто, но как бы издалека, будто сообщали мне, что есть еще места, где в них верят, где они нужны. А в тот драконий год они как раз не снились мне – ни разу… А я тогда была так одинока!.. Вообще-то, одиночество – это талант, но я тогда этого не знала, и душа моя разрывалась, потому, что как раз в то время я рассталась с одним красивым мужчиной, а один не очень красивый сам меня бросил.

Когда кабета отдала мне деньги и я села в поезд, то на меня накатила такая волна тоски, что казалось – вот-вот и слезы из меня хлынут рекой. Но не хлынули. Наверное, их тогда у меня уже не было. Я запаслась в дорогу романом, бутылкой белого вермута, я так любила тогда вермут, и поезд тронулся. Обычно по нашим железным дорогам таскаются целые орды путешественников – с грудами чемоданов и баулов, обремененные детьми и женами, но на этот раз вагон был почти пуст; в своем купе я оказалась одна. Я сбросила с себя одежду, облачилась в китайский халат – да, да – с драконами, выпила вина и открыла книгу. В ней, конечно же, было полно любви и страданий, разлук, осенних дождей, пара постельных сцен – скука, которую чуть-чуть скрашивал вермут. К тоске примешалось какое-то предчувствие - у меня так бывает перед крутыми поворотами в жизни… Не умею это объяснить, не знаю, как передать, хотя бы приблизительно, чувство, которое терзало меня… Как будто я понимала, а я совсем не понимала, что до предела натянута пелена, которой задернуто мое тогдашнее существование, и сквозь нее прорывается другая, совсем новая жизнь – и это будет отчаянно больно, но неизбежно и необходимо. Но, может быть, вермут усугублял неясные предчувствия? Я бросила книжку, взяла сигарету и вышла в коридор. Там уже дымили папиросами два –

непонятного пола, невнятного возраста – создания, облаченные в огромные брезентовые плащи, резиновые сапоги, вязаные шапки. Их пол выдавал густой перегар, какой бывает после недельного запоя и когда в ход уже пошли одеколон и жидкость для мытья стекол, а на очереди чудесный клей БФ с разными номерами и даже сапожный крем. Развеяла все сомнения лексика созданий, используя которую они поносили некоего Сашку Ботаника, который обвел их вокруг пальца, бросил посреди лесов и болот, оставил без копейки, в общем, обездолил.

- Попадется, сука! – кричал один.

- Сойдутся тропиночки! – не отставал другой.

- Я его сам скормлю этой сатане! – горячился первый.

- Живьем отдам крокодилу! – подхватывал второй.

И столько неподдельного горя было в этих горячих восклицаниях, столько отчаянья, что я не выдержала, поинтересовалась:

- Что случилось, друзья, чем вы так разочарованы?

Наверное, в моем голосе им померещилось живое участие, и они наперебой принялись рассказывать мне свою удивительную историю, и она, в самом деле, была удивительной, может быть, достойной пера самого Куэльи, но ее чуть-чуть портил перегар. Оказалось, что некоторое время назад в их бобруйских краях появился странный человек, которого сразу прозвали Ботаником, потому, что он все время приглядывался к лесу, кустам, траве – все искал что-то. Ученый человек, он почти ничего не пил, окромя недельной браги, заглядывал, чаще, чем это принято на Бобруйщине, в книжки, чего-то записывал, чего-то выведывал у местных жителей. Поселился он у деревни Домановo, в лесном домике у одной старушки, натащил в жилище всяких лесных тараканов, козявок, наводил на них увеличительное стекло и опять чего-то записывал. Пользы от него в доме не было никакой – ни дров нарубить, ни баню протопить, ни колодец отремонтировать он не умел. Приходили к нему из Казаково, может телевизор сумеет починить? – отказался, не сручен. Домановские тоже обращались – насчет ремонта сепаратора, он тоже не заинтересовался. Подозрительный человек. И вопросы задавал подозрительные. Например, не пропадают ли в деревнях куры или овечки, все ли поросята живы и здоровы? И как на зло и куры, и поросята стали пропадать, беда, да и только! Казаковские всполошились первыми, за ними и домановские: откуда Ботаник заранее знал о возможной пропаже ценного домашнего скота? Не он ли и замешан в этом деле?..

Когда приперли его мужики, он и признался, дескать, в научном мире прошел слух, что в этих местах объявилась тварь земноводная – не то ящерица гигантских размеров, не то крокодил. И будто бы обладает тварь невиданным аппетитом, жрет кур, свиней, не брезгует и одинокими путниками. Ученые из главной Академии голову ломают над загадкой; хотели бы они не верить слухам, но стоны народа идут из многих деревень: вот так, вкладываешь душу в поросеночка, растишь его и холишь, а тут из болота ящер, зеленый, как болото, хрямпс стозубой челюстью – и нет поросеночка. Караул! Тому, кто поймает и притащит хищника в Академию для изучения и опытов, посулена большая сумма денег, а также пятьдесят цыплят морозоустойчивой голландской породы. Ботаник и вознамерился сорвать этот приз. Раньше он в этой Академии на побегушках числился, а если бы добыл бобруйского крокодила, наверняка, вышел бы в лауреаты. Ботаник убеждал домановских и казаковских:

- Помогите, мужики, поймать тварь, сообща-то легче, а я в случае чего ящик белой ставлю!..

Ящик белой, конечно, аргумент тяжеленный в пользу массовых поисков неизвестной науке рептилии, тщательного прочесывания лесов и болот, но пора стояла неподходящая – и сенокос, и полив, и домашнюю норму в двести банок помидоров и огурцов никто не отменял. А еще нагрянул колорадский жук, прожорливый заокеанский гость – и с ним нужно вести неравную борьбу… Так что, с ящиком водки пришлось погодить. И тогда вызвались двое – Вова и Лева, мужики в брезентовых плащах, сапогах, с неистребимым перегаром. Картошка на их участках давно была пожрана жуком, цыплята еще по весне пали от голода во время апрельского запоя, - оба были свободны и всегда нацелены на приключения. Но Вова и Лева поставили условие: кроме водки потребовали и денег, огромную сумму – по двадцать пять долларов на брата. Даже по пятьдесят. Ботаник легко согласился.

Втроем дело закипело скорее. По утрам собирали информацию о пропавших курах и поросятах, днем готовили силки, капканы и хитроумные ловушки, вечерами сидели в схронах, ожидая, что вот-вот захлопнутся ловушки, затянутся силки, щелкнут капканы. И все это каждый день захлопывалось, затягивалось, щелкало. И попадались вороны, крысы, а большей частью – отбившиеся от жилья куры… Так тянулось долгое болотное лето. Сначала Ботаник горел азартом, как мальчишка на первой рыбалке, его нетерпение передавалось и помощникам; втроем они неустанно продирались сквозь заросли, мерили сапогами болота, настораживались после каждого шороха – шли по следам чудовища, и если оно существовало, то рано или поздно попало бы к ним в руки.

Следы таинственного существа время от времени попадались им; когтистые лапы четко отпечатывались на влажной лесной земле, на березовой коре, разодранном мхе. Иногда они находили останки растерзанных собак. Хозяева собак рассказывали о страшном зеленом монстре, поселившемся в лесу, но одни говорили, что роста в монстре не меньше, чем у доброго быка, другие, что он – с двухэтажный дом, третьи утверждали, что крокодил совсем небольшой, но отчаянный.

- Откуда он мог здесь взяться? – спрашивали иногда Вова и Лева у Ботаника. – До Нила отсюда далеко…

- А если местного происхождения? – задумывался Ботаник. – Может, жили себе подо мхами, в глубине трясин эти рептилии с доисторических времен, не попадались человеку на глаза, но повернулось не той стороной солнце или набежало на светило лишнее пятно - и стало в болоте суше или наоборот мокрее, и вылезли крокодилы на сушу, озлобились, и понять их можно: все меньше и меньше приютных местечек остается на земле.

Во время одной из ночевок в лесу, когда костер уже прогорал, и браги оставалось в молочном бидончике на самом донышке, они услышали далекий рев, который усилило эхо и заставило их содрогнуться. Сомнений не могло быть – в этих лесах не водилось живых существ, способных издавать такой жуткий крик.

- Оно! – сказал, для чего-то понизив голос, Ботаник.

- Дааа!!! – сдрейфили Вова и Лева.

Спустя минуту рев раздался снова, на этот раз ближе.

- У нас даже ружья нет, - сказал Вова.

- Только ржавый топор, - согласился Лева, но топор этот в руку брать не поспешил, оглянулся на Ботаника, может, все-таки ноги сделаем?

- К нам идет, точно, - отозвался тот. – Готовьте веревки…

Рев раздался еще ближе, в двух шагах. Послышался треск веток, в лесной темноте зажглись изумрудные глаза. Трое друзей замерли.

Чудовище еще рыкнуло, но совсем негромко, как будто даже примирительно, потом тяжело вздохнуло. Совсем, как человек.

- Чего уж там, - сказал Ботаник. – Вот сидим, бражкой балуемся…

Чудовище глухо проворчало.

- Видать намаялось по лесам блукать, - сказал Вова. – Решило на огонек выйти, тощища в лесу одному… Не с кем словом перемолвиться…

- Ага, не с кем, - поддержал Лева. – Вот поболтает чуток, да и поужинает нами…

- Не трясись, если и так, то пострадаешь для науки, - успокоил его Ботаник. – А вообще, мы на пороге открытия… Возможно, величайшего за всю историю науки. Сдается мне, что крокодил этот совсем не крокодил, хотя его не видно. Но само поведение нашего ночного гостя подсказывает мне, что это не простая рептилия…

Чудовище издало негромкий рокочущий звук, как будто соглашалось.

- Предложите ему банку тушенки, только открытую, - сказал Ботаник.

Лева открыл банку и осторожно подвинул ее палкой по направлению к мерцающим в ночи изумрудам. Изумруды помигали, но тут же разгорелись ярче, послышалось чавканье, а вслед за ним и удовлетворенное урчание.

- Чудеса! – сказал Вова.

- Думаю, что оно ищет с нами контакта, - предположил Ботаник. – Сомнений нет, это разумное существо…

- Контакт так контакт, - правильно понял Лева, и плеснул в кружку остатки браги, той же палкой подвинул ее в темноту. Тотчас из мрака показалась когтистая зеленая лапа, осторожно взяла кружку, опять растворилась во мраке. Послышались глотки, потом шумный вздох.

- Точно разумный! – согласился Вова. – Так брагу пить только разумные могут…

Чудовище что-то пробасило, а потом внезапно принялось не то свистеть, не то скулить.

- Поет, собака! – восхитился Лева. – После первой запел!.. Видать, давно не пил, развезло…Одно слово, Пришелец!

Пение внезапно прервалось, чудовище опять вздохнуло и вдруг шумно повалилось на землю.

- Развезло! – сказал негромко Ботаник. – Слабо им нашу брагу жрать, вяжи его ребята!

Ребята навалились и связали бесчувственное чудовище. Вова и Лева радовались, что заработали и ящик водки, и немалые деньги. На другой день соорудили, с помощью ребят из домановской лесопилки, здоровенный ящик с прорезями для дыхания, затолкали туда пришельца, изумились его крокодильей пупырчатой коже, огромным зеленым глазищам, устрашающим когтям на перепончатых лапах. «Чисто Змей-Горыныч, - сказал Вова, - а пить не научился!» В изумрудных глазах пришельца стояли слезы.

- Теперь пора бы и рассчитаться! – сказали Вова и Лева Ботанику. – И хватит уже брагу глушить, одна изжога от нее, пора и на водочку налечь…с грибочками, с бобруйскими гурками?.. Ну, хотя бы с драниками?

Но оказалось, что денег у Ботаника нет. Может быть, они появятся, когда боевой отряд доберется до главной Академии. Кое-как наскребли мелочи на билеты, а довезти чудовище до вокзала вызвались домановские мужики - на радостях, за обретенную курами безопасность. Поезд уходил утром, а накануне вечером, когда солнце утонуло в Березине, сели пить самогон. Горилку… Ботаник не пил и время от времени повторял:

- Эх, мужики, кажись, не того крокодила поймали. Его не в Академию тащить надо, а, может, в союз писателей… Ну, а если все-таки к ученым мужам, то в Институт общественного алкоголизма или Лабораторию гуманитарно-стратегических и парадоксально-эмпирических проблем…

- Нам все равно, - отвечали мужики, - лишь бы деньги дали.

Наутро проснулись Вова с Левой, а Ботаника и след простыл. Мужики даже протрезвели, бросились в погоню. Но не видать бы им ни чудовища, ни своей удачи, если бы с Ботаником не приключилась неприятность. Ночью, уходя через лес, он попал в свою собственную ловушку, поставленную на чудовище, запутался в силках, и как не бился, не старался – не смог выпутаться. В таком положении и нашли его Вова с Левой. Бить не стали, но и выпутаться не помогли, оставили лежать в лесу под дубом, с которого ему на голову падали желуди, как пули на излете. Забрали у Ботаника деньги, которых и хватило только на два билета до главной Академии.

- Нас в эту Академию и на выстрел не подпустят! – справедливо говорил Вова.

- Еще и в ментовку загребут, - не сомневался Лева.

Они еще долго рассказывали свою историю, дополняли ее подробностями, а я уже понимала, что не случайно попались мне эти попутчики.

- Девушка, - сказали мужики хором, - помогите во имя науки…

- Что вы хотите?..

- Нужно кормить-поить этого крокодила, довезти его до Академии, найти там людей, с которых деньги получить можно за зеленого, а для этого нужны пенензы, и не малые… А за пришельца должны много дать. А иначе подохнет рептилия, прямой урон науке… Не сомневайтесь, получим за него деньгу – сразу все вам вернем.

- Ну, сначала надо посмотреть, во что деньги вкладывать, - сказала я. – Может у вас ящерица с мизинец?

- Не сомневайтесь! – закричали они, и потащили в свое купе. Я зашла, и еще не рассмотрев пришельца, поняла – он. Это он. Те же радужные стрекозьи крылья, чуточку поблекшие, те же грустные глаза.

- Выйдите на минуту, - попросила я Вову и Леву. Те недоуменно переглянулись, но вышли.

- Привет, давно не виделись, - еле выговорил дракон.

- Здравствуй, - сказала я. – Почему-то очень рада тебя увидеть… Никогда не верила, что вы только в снах появляетесь, наяву тоже… Значит, все-таки есть места, где в вас верят?..

- Нет, почти нет, - признался он. – Может быть, я самый последний?..

- Ты так глупо попался…

- Одиночество заело… Лет десять ни с кем не разговаривал, сто дорого прошел, сто путей, все искал, искал, а тут что-то померещилось.

- Стихи за эти годы не проклюнулись, я запомнила ту строчку про бескрылый век?

- Проклюнулись, но в основном без слов… Но еще одна строчка есть… Прочитать?

- Конечно.

- Вот, а говорят, что в неволе не поется, - попытался пошутить он. Я улыбнулась ему. Он откашлялся и прочитал:

- …понедельник, вторник, год; все придет, но все пройдет…

- Ничего? – спросил он, волнуясь.

- Да, но это две строчки, - сказала я.

- Вот, даже две! – обрадовался он нежданной находке, и погрустнел.

- Теперь убьют меня, - сказал он. – Выпотрошат в этой академии, резать там горазды. Ради науки они никого не жалеют. Обзовут каким-нибудь латинским словечком, а потом в стеклянную банку закатают, маринадом ихним зальют, стану наподобие консервированного огурца…

- Пропадет поэт в самом начале творческого пути!.. - он попытался даже улыбнуться, но в глазах стояли слезы.

И так мне стало невыносимо жалко его, ведь, можно сказать, на глазах погибал последний дракон на земле. Такой обаятельный, такой доверчивый!.. Нельзя допустить, чтобы его замариновали толстокожие профессора! Потом будешь всю жизнь каяться, что не встала на защиту бедолаги, рассказывать встречным и поперечным о встретившемся мировом чуде, но никогда не договаривать, что равнодушно проводила глазами грубый деревянный ящик, в котором, согнувшись в три погибели, двигалась навстречу своей страшной кончине живая земная тайна, последняя ниточка, связывающая нас с тем, о чем в детстве перед сном негромко рассказывали нам бабушки – о просыпающихся от жарких поцелуев спящих красавицах, хитроватых Иванах, до поры прикидывающихся дураками, говорящих волках, выходящих из темных лесов на помощь царевичам, жар-птицах, роняющих драгоценные перья в руки тех, кто может знать им цену, ужасных огнедышащих драконах,

страшных издалека, но легко, по-ящериному теряющих головы, - в общем, обо всем, что когда-то было-было-было, завораживало своей красотой мужчин, кружило головы женщинам, снилось детям, но теперь проходит, почти прошло, и если не помочь ему сейчас, если отдать эти радужные крылья в безжалостные лапы доцентов и кандидатов, то все это исчезнет, забудется, пропадет без возврата…

Я пошла к Вове и Леве, сказала, что даю им за чудище сто долларов. Сто полновесных американских денежек. Они облизнулись, но решительно отказались.

- Нам в Академии столько дадут, что еще и внукам нашим останется! – сказал Вова.

- Еще и правнукам на опохмел души перепадет! – подтвердил Лева.

- Даю пятьсот! – решила я взять их нахрапом.

Они одервенели, было понятно, что они даже не предполагали, что где-то в мире могут водиться такие деньги. Но видимо звериным своим чутьем они поняли, что у меня есть больше и я могу расстаться с этим большим.

- Нет!!! – прохрипели они.

- Две тысячи! – сказала я и только в эту секунду поняла, что буду биться за дракона до последней копейки. Мужики в этом уже не сомневались.

- Нет! – жарко прошептали они

- Неужели вы хотите пять тысяч?..

Деревянными губами они кое-как сумели вымолвить:

- Все, что у тебя есть давай!.. Иначе в Академию тащим эту крылатую жабу…»

- Что ты так смотришь на меня, Старик? – сказала Старуха. – Да, я отдала им все свои деньги и деньги кабеты… Отпустила дракона… Дала ему джинсы, правда, они оказались чуть-чуть маловатыми, свой свитерок из тонкой шерсти, и он предстал молодцем, хоть куда, проводница даже принялась строить ему глазки – слабы все-таки наши бабы на передок… Доехали мы до какого-то города, он стал прощаться.

- Куда ты? – спросила я его. – Пожил бы первое время у меня, огляделся, встал на ноги?

Он отказался, заговорила в нем средневековая драконья гордость. Правда, записал мой телефон, обещал звонить. Клялся, что как только разживется – вернет мне сторицей все деньги – мои и кабетины, затраченные на его выкуп.

- Вернул? – быстро спросил заскорузлый.

- Пока нет… Впрочем, давно от него известий нет… Одно время он звонил мне регулярно, как будто все у него налаживалось. Они же долго живут – столетия… Лет пять назад у него в Москве первый сборник стихов вышел, он прислал мне с автографом, неплохая книжка… Тираж небольшой – 100 экземпляров, но расходится неплохо. Значит, у людей еще не пропал интерес к драконьей поэзии…

- Ну а как же ты? Что с кабетой? – спросил фиолетовый.

- А что я?.. Осталась в этом городе, обжилась помаленьку… Сначала совесть терзала, я все вела нескончаемые воображаемые разговоры с кабетой, объясняла, что истратила ее денежки на спасение последнего дракона, а потом свыклась с этим, как свыкаются с неизбежной утратой – скорбят, но понимают – ничего не вернуть… Это перестало со временем болеть, только ноет иногда. И вот еще что… Не знаю почему, но все чаще и чаще я думаю, что дракон был лучшим другом, который когда-то был у меня, хотя мы и виделись с ним всего ничего…

В кочегарке висела тишина. Старик шепнул на ухо фиолетовому, но услышали все:

- А почему вы стали киллером?.. Дело-то нерядовое…

- Да-да! – интересно знать! – закричал заскорузлый. – Сколько душ на вашем, так сказать, личном счету?

- Работа как работа, - ответил фиолетовый. – Конечно, в любом деле есть свои передовики, свои отстающие…

И он замолчал.

- Да чего уж там, говори, - поощрила его Старуха, - раз пришел такой день, когда ответов больше, чем вопросов… День открытых дверей. Ведь нечасто он приходит, да?..

- Нечасто, - ответил наемный убийца. И продолжил: «Когда внезапно уехала насмешливая девочка, которую я любил, мне показалось, что большей потери в жизни не может приключиться. Девочка снилась мне, я постоянно думал о ней, вспоминал, как под открытым окном, забравшись на акацию, слушал ее игру на пианино. Спустя год, она прислала одно письмо, и болеть стало сильнее. Чтобы хоть как-то отвлечься, я стал заниматься спортом – сначала волейболом, мне казалось, что удар по мячу равен удару по моей тоске, но волейбол быстро наскучил: командная игра была не по мне, выходило, что я делюсь сокровенным и с игроками, и с тренером – с целой толпой…Воспоминания о девочке принадлежали мне. И вот однажды совершенно случайно я попал на соревнования лучников и понял: это мое! Посмотрите, как они стреляют, как исполнены достоинства! Они посылают в мишень не стрелу – частицу себя. Этот спорт трудно назвать простым противоборством – это высокое единоборство. Есть только человек, его воля, твердость мускулов – и цель. В каждый выстрел ты можешь вложить свою ненависть, тоску, любовь!..

Я пришел к стрелкам из лука, и они учили меня своему непростому искусству, и я тоже участвовал в соревнованиях, вполне успешно. И, может быть, из меня получился бы чемпион по этому луковому виду спорта, мастер по поражению мишеней, но, сколько бы ярости я не отправлял вместе со стрелой к цели, девочка не уходила из моих снов. Она, наверное, давным-давно забыла о нескладном мальчишке, а я вот забыть ее не мог. Как-то на соревнованиях я стрелял особенно исступленно, тренер подошел ко мне, сказал:

- Страстный ты парень, как я посмотрю, тебе бы не в мишени стрелять, а по дичи, по животинке какой-нибудь… Не пробовал из боевого лука на охоте?..

- Я вообще на охоте ни разу не был, - ответил я, - ни из ружья, ни из лука не приходилось убивать…

- Добывать, - поправил он. – Не убивать, а добывать… В мужчине чрезвычайно силен охотничий инстинкт, инстинкт добытчика… Это не против нашего естества, наоборот. И

потом, это соревнование кровей, когда одна кровь стремится пролить другую, а та, другая, во что бы то ни стало, старается этого не допустить. А как вкусна свежатинка! К вкусу свежей крови примешивается удовлетворение охотника, ни с чем не сравнимое, разве только с радостью голодного волка, наконец, догнавшего добычу… Мы – волки…

Меня как током ударило: мы – волки! Может быть, именно январского волчьего отчаянья, волчьей обреченности и привкуса крови на зубах не хватало мне, чтобы изгнать девочку из снов?

Тренер пригласил меня на охоту.

- Попробуешь из арбалета? – спросил он.

- Попробую, - согласился я.

Через несколько дней мы отправились. Ехать нужно было куда-то очень далеко. Полдюжины мужчин всю дорогу рассказывали о своих былых охотничьих подвигах, кровь лилась рекой, падали, как подкошенные лоси, кабаны, косули, зайцы десятками, гуси и утки бессчетно. Мужчины были увешаны патронташами, фляжками, устрашающими ножами, какой-то хитрой амуницией из кожи и металла – перед этой вооруженной до зубов команды никакой зверь устоять не мог. Мне вручили диковинный арбалет, который на расстоянии ста метров пробивал короткой стрелой стальной лист.

- Это еще та машинка! – засмеялся тренер. – Будешь доволен. Стрела, когда летит – поет!

Мы остановились в какой-то странной местности. Островки леса были разбросаны в желтой унылой степи и поэтому казались тоже унылыми, рядом возвышались не то холмы, не то горушки с обсыпающимися глиняными обрывами, и тоже поражали своей неприветностью. «Лучшего места для убийства не найдешь», - подумал я. И вдруг я почувствовал, что на самом деле хочу выпустить стрелу – отточенную, поющую, разящую – в трепещущее от страха и надежды сердце. Я поднял арбалет и в прицеле его оказался тренер.

- Ты что, с ума сошел?! – страшно закричал он. – Нельзя в человека целиться!.. Будь осторожен!..

Я опустил арбалет, но желание выстрелить не проходило… Я не знал, что это желание теперь поселится во мне навсегда, и всю жизнь мне предстоит бороться с ним…

Охотники разбрелись. Мне выпало стоять у самого обрыва, будто бы здесь и проходила звериная тропа, по которой животные направлялись на водопой, и вот-вот они появятся, мучимые жаждой. Я почему-то вспомнил сцену из кинофильма, где осужденному перед казнью дают вина, накрывают роскошный завтрак – с каплуном, сыром, ветчиной. Мы ничего этого предлагать зверям не будем.

Сверху посыпалось глиняное крошево, я поднял глаза – прямо напротив меня, в каких-нибудь пятнадцати метрах, стояла косуля – глубокие влажные глаза, тонкие быстрые ноги, осанка четырнадцатилетней девочки, вдруг осознавшей, что может нравиться.

Я медленно, плавно, почти нежно поднял арбалет. Внимательный взгляд косули возник в прицеле. Она смотрела прямо на меня. Я почувствовал под указательным пальцем спусковой крючок, еще мгновение и… Но я не выстрелил, не могу даже объяснить, что удержало меня. Может быть, мне хотелось, чтобы она напилась перед расстрелом?

Косуля словно поняла мои размышления и почти невесомо, беззвучно двинулась по тропинке – к ручью. Я остался на месте с поднятым арбалетом. Мне хотелось выстрелить, но я этого не сделал. Но мне очень хотелось!

На обрыве, где только что стояла косуля, затеяли возню воробьи, наскакивали друг на друга, дрались, кричали во все свои воробьиные голоса. Я навел оружие на одного из них, и он тут же примолк, сжался в комочек и мгновенно взвился в воздух и пропал. «Они понимают, зачем я здесь!» - дошло до меня, но я не опустил арбалет. Я ждал. Летели секунды, шли минуты, ползло время. Я знал, что она вернется. Но откуда я это знал?

Сверху опять прошелестел тонюсенький ручеек желтой глиняной пыли, и мне пришлось поднять глаза совсем чуть-чуть. Она стояла на том же самом месте, и снова смотрела на меня. Что проносилось в эту секунду в ее быстром мозгу? Может, ей тоже нужно было избавиться от какого-то наваждения? Или проверить, верно ли говорят о человеке, что кровожаднее его нет? Не знаю… Но не могла ведь она на самом деле желать смерти? Тогда зачем вернулась?..

Я выстрелил и вслед за поющей стрелой моя душа помчалась и ворвалась в горячее нежное тело, и отведала еще живой крови.

Ошеломленный, я вернулся к машине, охотники поздравляли меня, жали руки, хлопали по плечу. Потом мы ели сочные куски мяса, запивали охотничьей настойкой, хохотали, еще и еще раз я рассказывал, как косуля сама вернулась на расстрел, и мы, не замечая сами, становились соучастниками, а это узы надежнее дружбы, крепче любви.

С этого дня девочка почти перестала мне сниться, а вместе с ней и речка, на которую мы ходили купаться, ее окно, распахнутое над цветущими акациями… Но теперь днем и ночью меня преследовали глаза косули, и я не скажу, что это было неприятно. Глаза просили, умоляли, но я опять и опять нажимал на спусковой крючок арбалета. А чаще всего вспоминалось, как вместе со стрелой не то душа моя, не то я сам разорвал податливую плоть, завладел чужой жизнью, прервал ее. Наверное, власть над жизнью, самая страшная, самая сладкая?

Как-то утром раздался телефонный звонок. Спокойный, проникающий, как радиация, голос сказал:

- Предлагаю вам занятие по душе. Знаю ваши наклонности, поэтому думаю, что вы не откажетесь… Давайте встретимся?..

Мы встретились в старом парке, у двухсотлетнего дуба, под которым, утверждали, пел юный Шаляпин. Обладателя проникающего голоса я узнал сразу; он как будто только что спрыгнул со страниц детективов, и имел все, что положено классическому злодею – седину на висках, черные непроницаемые очки, шляпу, надвинутую на глаза, в руках он сжимал тонкую гибкую трость. Я оглянулся: не крадется ли за ним Шерлок Холмс?

Он подошел, кивнул головой, как старому знакомому, сказал негромко:

- Полагаю, что вам известно, что на рынке сейчас весьма востребованы услуги людей, умеющих точно и хладнокровно, без лишнего шума устранять ненужные субъекты. Эта работа хорошо оплачивается…

- Убивать что ли? – спросил я, и почему-то не удивился предложению, но перед глазами все-таки мелькнули глаза косули в прицеле.

- Ну, это грубо!.. Но смысл предложения вы уловили совершенно верно. Если вы согласитесь, вам предстоит некоторая подготовка, очень специфическая, но не обременительная, так сказать, курс молодого бойца, и только потом последуют задания, сначала довольно простые… Уверен, что с вашей страстью, вашим природным даром, вы скоро станете ведущим специалистом в отрасли… А это значит вы будете иметь много денег, и все, что приносят они в жизнь человека…

- Я слышал, что люди этой профессии долго не живут? – почти согласился я, и он понял это.

- Те, кто съезжает с катушек, а бывают и такие, кто перестает соблюдать цеховые – уверяю вас, очень несложные, правила – да, долго не протягивают. Но вы ведь не такой?..

- Мне кажется, что я давно съехал с этих самых катушек, - сказал я. Он вежливо засмеялся.

- По рукам? – на полную мощность он включил проникающую радиацию своего голоса.

- А на пенсию у вас выходят…по старости? – неуклюже пошутил я. – Нет, серьезно, могу ли я уволиться через некоторое время по собственному желанию?..

- Только через некоторое время…

И я согласился. Мне кажется, я давно ждал этого предложения. Боялся его, но чувствовал – соглашусь. Вот говорят, существует нечто прозываемое призванием. Слышишь: «У него призвание футболиста». Когда оно успело развиться и закрепиться в человеческой натуре, если футбол придумали чуть больше века назад? А призвание летчика, талант аквалангиста?.. А не кажется ли вам, что самый древний, ну почти самый древний, это талант убивать? Наши предки с легкостью хватались за меч, жены подсыпали мужьям в вино отраву, и с ангельскими улыбками подавали им смертельные кубки, мужья по пустяковым подозрениям рубили головы своим дражайшим половинам, брат подбрасывал брату гадюку в постель…

Так я старался оправдать себя, но все доводы казались мне жалкими, нелепыми, и понимая это, я не находил себе места, не мог есть, пить, спать, даже руки стали дрожать, как у неврастеника. Но стоило вспомнить о прицеле, о влажном глазе косули в нем, и руки дрожать переставали. Бред ли это был, наваждение, сон наяву – не знаю…

Через несколько дней мне предложили отправиться в учебный центр. За мной пришла машина, окна салона которой были непроницаемыми, а от водителя салон был отгорожен металлической стенкой, так что я не имел возможности увидеть, куда же меня везут. Ехали долго…Час, другой…Но, наконец, приехали… Не стану описывать эту организацию, сами понимаете почему. Не буду говорить о правилах, которые я узнал там, – это не моя тайна. Начну с того, что обучение я прошел благополучно. Удивил своих педагогов тем, что выбрал себе оружие – винтовку Мосина. Она и до сих пор со мной. Не знаю, почему мне пришлась по душе эта «старушка», может тем, что давным-давно из нее никого не убивали? Застоялась, истосковалась по работе?..

И потянулись дни. Казалось, что меня забыли. Может субъектов для устранения не стало?.. Каждый день с утра я ждал звонка, но мне не звонили. Я в подробностях представлял себе тот день, этот час «В» - выстрела: поступает задание, и я достаю из шкафа винтовку, завернутую в зеленый воинский брезент. Разбираю ее, тщательно проверяю, вытираю лишнее масло, подбираю патроны. Продумываю до мелочей

позицию; из такого оружия огонь желательно вести с относительно небольшого расстояния. Еще и еще раз освежаю в памяти пути отхода. Но вот все готово и я жду, когда появится цель. Сердце выпрыгивает из груди. Но волноваться нельзя, может дрогнуть рука. Успокаиваю дыхание, сосредотачиваюсь на оружии – оно в идеальном порядке… Значит, и все остальное будет в порядке. И вот цель, надменный мужик, окруженный охранниками, неторопливо шагает к своему бронированному авто. Но он не дойдет…

Два месяца я ждал звонка, и дождался. Проникающий голос назвал дату, время.

- Задача перед вами на первый раз очень легкая, - сказал он. – Цель будет за рулем открытой спортивной машины без всякой охраны или сопровождения. Остановится у кинотеатра КРАМ, и только здесь у табачного киоска в машину подсядет охранник. Так что, в твоем распоряжении больше минуты. Идеальные условия – и для успешной работы, для эвакуации. Удачи!.. Это как раз тот случай, когда я желаю, чтобы и пух поднялся, и перья полетели…

И время, оставшееся до часа «В», понеслось, завертелось, смешались ночи и дни, сон и бодрствование, я впал в какое-то лихорадочное возбуждение. Я не верил, что сумею нажать на спусковой крючок, но одновременно я знал, что выстрелю… Тысячу раз в воображении я стрелял, тысячу раз промахивался и тысячу раз попадал точно.

В назначенное время я был на месте, на крыше кинотеатра, столетнего здания с милыми сердцу стрелка архитектурными излишествами – башенками, забытыми трубами недействующего печного отопления, широкими карнизами, слуховыми окнами; мест, чтобы скрытно разместиться с инструментом было больше, чем достаточно. С крыши КРАМАа легко можно было уйти на крыши соседних зданий, а крыши в этом городе тянулись неизученными лабиринтами на многие километры.

Я укрылся за старой кирпичной трубой, табачный киоск отсюда был как на ладони. Включил наушник связи с проникающим голосом.

- Внимание! – сказал он. - Все идет по плану, приготовься. Субъект прибудет через две минуты.

Минуты тут же каким-то непостижимым образом растянулись в часы. У киоска появился амбал в кожаном пиджаке – охранник, понял я. Неторопливо он принялся курить, и, кажется, за две минуты успел высадить две пачки сигарет. Неподалеку от него бросились обниматься сто лет не видевшиеся старые друзья, и каждый поведал другому историю своей жизни, сравнимую со всемирной. Из динамика, установленного на стене кинотеатра, вырвались песни и взялись рифмовать «бровь», «кровь», «любовь» - «скука, разлука, наука» - и нащелкали этих сладких орешков на годы вперед.

В наушнике голос сказал:

- Внимание! Осталась примерно минута…

Что же это за минуты такие?

Амбал распечатал третью пачку сигарет, и тут подъехала спортивная машина, сверкающая, как умытая. Я прицелился!.. Нужно ли вам говорить, что за рулем сидела она?..

Розовенький шарфик трепетал на шее, тонкие пальцы сжимали руль, на губах играла улыбка – никому особо не предназначенная, возникающая от полноты жизни, от молодости, от бесконечности жизни. Она посмотрела по сторонам – где этот нерасторопный охранник, да и нужен ли он ей, разве могут у нее завестись враги?..

- Ну что же ты? – прошептал в наушнике голос. – Стреляй!..

Я опустил винтовку и, пригнувшись, как под обстрелом, побежал по громыхающей жести – с крыши на крышу, с черепицы на рубероид, с дерева на замшелый камень. В наушнике неслось:

- Что случилось? Почему покинул позицию? Остановись!..

Домой я не вернулся, чего тут объяснять?.. Стал жить на крышах, в подвалах, кочегарках. Однажды целый месяц обитал в кабине сломавшегося лифта. Кстати, народ, живущий на крышах, понравился мне своим умением выживать в обстановке, казалось бы, невыносимой. Кое-что, я перенял у этого народа, всю жизнь ходящего над пропастью…

Время от времени оживал наушник и проникающий голос предлагал обсудить ситуацию, встретиться, покалякать. Я не отвечал…

И каждую минуту я помнил, что над девочкой моей нависла смертельная опасность. Не сразу, но мне удалось выяснить, что она замужем за каким-то купцом, который что-то покупает, или наоборот – что-то продает, но деньги у него водятся большущие. И этими деньгами ему предложили поделиться. Купцу стало жалко нажитого неустанными трудами, тогда пообещали расправиться с его семьей, в общем, обычное дело, когда денежки водятся пудами.

Ночью, крадучись по крышам, я выследил ее, узнал, где ее дом. По вечерам за плотно занавешенными шторами было много света, а иногда кто-то играл на пианино – ту самую мелодию, которая давным-давно сводила меня с ума. Я не сомневался – играла она.

Я узнал ее телефон, но она не поднимала трубку.

Тогда, используя приемы, полученные от народа крыш, я пробрался на крышу особняка, где она жила со своим купцом. Спустился на просторную террасу, двинулся вдоль освещенных окон и замер у приоткрытой двери. Ни звука не доносилось оттуда. Я распахнул дверь и шагнул вовнутрь, готовый ко всему. Она сидела у пианино, рядом стоял охранник - амбал и целовал ее в шею. К этому я не был готов и отступил на балкон. Услышал, как она прошептала.

- Не сейчас, Серж!.. Позднее… Он должен уехать к полуночи, тогда приходи…

- Ладно, - разочарованно протянул охранник. – Пойду, посмотрю что там…

- Не злись,- проводила она его. – У нас все хорошо…

Она открыла крышку пианино, прикоснулась к клавишам. Я позвал ее. Она резко обернулась, вскрикнула, зажала рот рукой – узнала.

- Ты?.. Как? Откуда?..

- Тебя хотят убить, - сказал я. – Будь осторожна!..

- Десять лет не виделись, и ты сразу с таким веселым сообщением? – сказала она, и недоумение уступило место улыбке.

Торопясь, сбиваясь, путаясь в причастиях, я рассказал ей все, что со мной приключилось, и что может приключиться с ней. В ответ она опять улыбнулась:

- Игорь, ну, муж мой, уже развел ситуацию…все решил, обо всем с этими людьми договорился… Бояться нечего…

- Тем более, что у тебя такой бравый охранник, - не удержался я. Действительно, ей бояться больше не нужно, бояться должен я…

Она пристально посмотрела на меня, пожала плечами, и тоже не удержалась:

- Во всяком случае, переплыть речку может в обе стороны…

- Ну да, за себя, и за товарища…

Она нахмурилась, но тут же лицо ее разъяснилось, должно быть, она решила не омрачать встречу ссорой. Не было для этого серьезных причин.

- Я часто вспоминаю нашу странную полудетскую дружбу, - сказала она. - Мне кажется, я была тогда влюблена в тебя, даже не знаю почему. Ты не вписывался ни в какие мои представления о молодом человеке, которого я могла бы полюбить. В моих грезах представлялся сильный, уверенный в себе, вместе с тем нежный и предупредительный, и, конечно, красивый мужчина, а ты был просто мальчишкой – неуклюжим, стеснительным… и таким милым… И вот удивительно, прошло, в общем, не так много времени, а мы так разительно изменились: ты попал в киллеры, я стала той, за которой охотятся люди твоей профессии. Из мальчишки в пузырящихся трусах ты превратился в мужчину с винтовкой в руках… Этакий человек с ружьем… Даже цвет твоей кожи изменился, стал не то красным, не то фиолетовым…Это от выпавших на твою долю испытаний?..

- Нет, - сказал я. – Оттого, что мне теперь все фиолетово…

И я направился к балконной двери, она за мной.

- Слушай, может, встретимся? – спросила она. – Не уходи просто так…

- А как же охранник? – спросил я.

Она как будто не услышала:

- Хочешь, я завтра приеду к тебе?..

- Ты забыла, что меня теперь разыскивают люди, с которыми твой муж сумел договориться полюбовно. Мне договориться вряд ли удастся…

- В любом случае, постарайся не пропасть.

- Постараюсь, - пообещал я…

Больше я не видел ее никогда… Ее как будто не стало…»

Фиолетовый умолк, достал любимую винтовку, стал протирать ее ветошью, щелкать затвором, как будто оружие передавало ему свою уверенность, а он ему – свою тоску.

- Вы так никого и не убили? – спросил Старик.

- Нет, - ответил фиолетовый. – Кроме той косули.

- Так почему же вас называют киллером?

- Можно ответить по-разному. Вот вы, к примеру, вчера окончили факультет журналистики, и еще ничего не успели написать, но в дипломе у вас уже написано «журналист» - и никто этому не удивляется. Но разве киллеру непременно нужно лишить кого-то жизни, чтобы его признали таковым? Вы напрочь отметаете призвание, состояние души, профессиональные знания! Справедливо ли это?.. Тем более, что наши профессии имеют немало общего…

- Дааа, - протянула Старуха и собачонка Дамка, примолкшая во время рассказа, согласилась с ней: «Вау, вау, вау…»

- Почему вы больше никогда не виделись со своей девочкой? – спросил мужик без примет.- Так и прячетесь по кочегаркам от своих, с позволения сказать, коллег?

Фиолетовый не успел ответить, потому, что внезапно свой рассказ начал заскорузлый: «Да, в прежние годы звался я Ботаником, потому, что с самого счастливого своего детства тянуло меня разобраться в секретах природы. Скольких я замучил кузнечиков, выпрашивая у них смолы, сколько ящериц оставляли в моих руках хвосты, скольких ужей я пытался приучить пить молоко из блюдечка!.. Но все они предпочитали умереть, но своих секретов не открывать. А их было множество. Дуб живет триста лет, и больше. Ворон не отстает от него по долголетию. Щука в омуте – в четырех стенах, по сути, - легко дотягивает до двухсот. А человек?.. Зато он может взять удочку и вытащить щуку на обед. Прицелиться из рогатки и прервать жизненный путь ворона. Не полениться и срубить дуб, оставив только несокрушимый пенек. Но ведь в природе дуб не убивает ворона, ворон не ловит щуку, и все вместе они редко охотятся на человека… Но и человек, язык не поворачивается, – творение природы. Какие связи он нарушил, какие корни перерубил, в какую цель попал из рогатки, какие секреты, доверенные ему природой, выболтал, чтобы стали ему чужими лес, ручка, луг?.. И есть ли еще создания, растения, живые души, реки, еще не замутненные человеком?

Такие вопросы задавал я себе, но ответов не находил. Я думал, что они есть в Ботанической Академии и стал помогать ее научной деятельности, сначала мытьем мензурок в лаборатории, потом как младший научный сотрудник по резанию лягушек. Но очень скоро я понял, что никаких ответов в Ботанической Академии нет. Искромсав на части миллионы лягушек, разрезав несметные стаи собак, легко пришивая голову волка собаке, а собачью какой-нибудь овце, они ни на шаг не приблизились, скажем, к загадке Жар-Птицы. По-прежнему за семью печатями для них тайна другой птицы – Самрук. Сколько пользы могли принести народному хозяйству эти пернатые, пойди наука по правильному пути, отбросив скальпели, микроскопы, синхрофазатоны. Знание издревле идет к нам навстречу, буквально вопиет «вот я, вот я – совсем рядом!», а мы отворачиваемся, отмахиваемся, закрываем глаза… Кто-нибудь из видных ботаников занимался проблемой волшебной лампы, которую видели и держали в руках многие выдающиеся деятели арабского Востока, например, небезизвестный Алладин? Слышали ли вы об изысканиях в области конько-горбуньковедения, а ведь поняв принципы

движения этого уникального создания, возможности его разведения, мы смогли бы навсегда решить проблему транспорта? Согласитесь, кто бы согласился сутками изнывать от скуки на железной дороге, трястись от страха в самолетах, когда бы у каждого имелся безотказный, верный своему призванию Конек-Горбунок!.. Не в микроскопы надо пялиться, не следить за стрелками-циферблатами-манометрами, а открытым, дружеским взглядом посмотреть вокруг себя, а невредно - и внутрь себя… Меня заинтересовали драконология, змей-горынычизм. Скажу вам, это интереснейшие дисциплины! Каждый из нас, ну или почти каждый, в свое время сделал изумительно открытие: не найти народа, в сказках, преданиях, былинах которого не присутствовал бы дракон, Змей-Горыныч, чудище семиголовое. Что, в глубине народной, где сказки и родились, не хватало фантазии, что все сказочники, сказители в драконов вцепились? Сдается мне, что в сказках вообще ничего придуманного нет, из века в век они передают нам опыт поколений, код прошедшей жизни, только мы понять его не стремимся. Думаю, что давным-давно драконы были неотъемлемой частью быта. Скажем, они могли широко использоваться на отжиге участков для земледелия, когда быстро и эффективно отвоевывались у непроходимых лесов тысячи гектаров плодороднейших земель. Случалось, конечно, что кое-какие огнедышащие особи выходили из-под контроля человека, тогда возникали коллизии, часто описываемые в сказках. Но в основном драконы честно служили людям, стояли на страже сокровищниц, может быть, несли пограничную службу, а нередко использовались (какой соблазн!) как ударная воздушная сила в многочисленных войнах древности. До нас даже дошли некоторые сведения об использовании Змеев Горынычей для высадки в тылу противника небольших десантных групп. Большую пользу приносили человеку в те времена скатерти- самобранки, особенно в неурожайные годы. Сдается мне, что секрет их до сих пор окончательно не утрачен, вы только посмотрите на нынешние обжираловки по поводу всяких торжеств. А как послужила разведчикам шапка-невидимка! Сколько вражеских секретов было раскрыто, сколько разоблачено резидентов и лазутчиков! Совершенно особую роль в истории нужно отвести молодильным яблокам. Ими пользовались цари и императоры, потом женились на царевнах, годящихся им во внучки; они и до сей поры царствовали бы, да яблоки эти не помогают против топора и яда. С помощью этих чудесных плодов наши прославленные артисты до сих пор держатся на сцене. Нельзя не вспомнить сапоги-скороходы, гусли-самогуды… А вспомните живительную силу поцелуя, которым пробуждали спящих красавиц. Ныне пытаются возродить его креативную мощь, но при помощи химии, виагры, корешков всяких можно на время вернуть мужскую силу в добрых молодцев, но любовь, увы, корешкам не подвластна!.. Вы меня не поймете, если я не упомяну о мече-кладенце, Сивке-бурке вещем каурке, при помощи которых добыты многие бранные победы. На коврах-самолетах наши предки раздвигали границы мира, соловьи-разбойники помогали выковывать в молодежи силу характера, даже Кащей-Бессмертный играл некую положительную роль, задолго до наших дней олицетворявший идеи долголетия… Все это, уверен, существовало реально, выдумать ничего невозможно, посмотрите насколько бледны и безжизненны придуманные нынешними писателями космические монстры, да и приглядитесь повнимательнее к ним – это все те же, только наскоро перелицованные, сказочные персонажи. Нет фантазии, которая бы не росла из бабушкиных сказок. Все эти драконы, Кащеи, Бабы-Яги и сейчас не исчезли насовсем, только позабыты-позаброшены, измельчали, потеряли веру в себя, ютятся по медвежьим углам…

Я поверил, что мне удастся найти дракона в тот день, когда услышал, что наступающий год будет именоваться годом дракона. Казалось бы, что такого – год и год, каких только названий им теперь не дают? Но я задумался. Оказалось, что дракон в названии годов стоит в одном ряду с петухом, собакой, бараном и даже свиньей, то есть как обычное

домашнее животное. Народная традиция ставит их всех рядом; это не может быть простой случайностью! И я решил – найду его и доставлю прямиком в Ботаническую Академию. Это будет не просто сенсация – переворот в самом образе мышления. Посрамленными окажутся все теории и аксиомы, все теоремы и даже закон падающего бутерброда, да что там – весь фундамент современной науки может тогда показаться не очень остроумным розыгрышем…

Как я искал? Да очень просто. Ценные для себя сведения я научился получать даже из обычных разговоров – в магазине, трамвае, пивной… Люди оказались носителями непостижимых секретов, к которым сами относились скептически, с иронией; нас всех давно приучают, что историю создают броневики и броненосцы, герои и вожди, - и зараза эта продолжает разъедать народную душу. А мы истории не знаем, умудрились вычеркнуть из нее самые интересные страницы, самые важные события, и называем историей жалкие, куцые остатки того, что было и что теперь утрачено. Одна женщина в старой казачьей станице над берегом Урала (кажется, станица прежде называлась Генварцевской) рассказала мне, что возвращалась однажды зимней порой с фермы, где работала дояркой. Было студено, ветрено, и она порядком озябла, а идти было далеко, и она мечтала о том, как присядет сейчас дома у дверцы топящейся печки, протянет к огню замерзшие ладони, и как будто вернется в ее тело домашний уют, тепло чуть растраченные на морозе… Кстати, она была уверена, да и кто скажет, что она не права, что домашнее тепло – лучший для человека щит от несчастий, болезней и сглазу. Чем больше у человека запас этого домашнего уютного духа, тем он крепче, тем дольше может продержаться среди напастей и бед; родной дом хранит человека, это не просто обиталище – это оберег, как жалко, что люди все чаще теперь живут по чужим углам, гостиницам, общежитиям; а бывает и так, что человек дом путает с жилищем, и принимает чужой кров за свой родной… Несчастен такой скиталец…

Так думала доярка, торопясь по ночной улице станицы, ясно представляла себе, как потрескивают в печи поленья, и почти не удивилась, когда рядом с ней вспыхнул и загорелся, обдав ее теплом, один из заснеженных кустов. Она сначала оробела, но соблазн был велик, и она протянула руки к пламени, и вот удивительно – огонь потянулся к ней, лизнул закоченевшие пальцы, но не обжег – в пальцах как будто зажглась мягкая, уютная энергия. Она засмеялась, и смело протянула руки навстречу неожиданному январскому огню. Он укутал их как будто оранжевой муфтой. И, наверное, надо было испугаться, закричать на всю улицу, осенить себя крестным знамением, но она не испугалась, вернее, испугалась уже потом, когда пришла домой, к своей жаркой печке, а на улице она даже порадовалась теплу. Куст внезапно перестал пылать, причем, так и остался заснеженным, и она почти догадалась, что последует дальше: загорелся следующий куст, она перебежала к нему, погрелась, побежала к следующему – загорелся и он. И так до самых ворот дома. Она остановилась, огляделась, сказала негромко: «Не знаю, кто ты, но спасибо тебе…» И еще оставалась надежда, что это чья-то шалость и сейчас выбегут из-за деревьев хохочущие казаки, но огонь шелковым шарфом пролился с последнего куста на заснеженную землю; огненный шарф принялся кружиться, как юла, и было это так красиво, что глаз не оторвать. «Спасибо тебе!» - крикнула она, и юла превратилась в пылающее колесо, и укатилось прочь – за околицу, а там рассыпалось на угольки, и угольки эти долго тлели на снегу (она смотрела на них через окно).

Для меня в этом рассказе было все предельно ясно – это зимние проказы скучающего дракона.

Подобных рассказов я собрал десятки и сотни, люди охотно делились ими, наивно полагая, что в них не заключается ничего ценного. Чудаки, они даже и предположить не могли, что прикоснулись с одной из величайших загадок мира…и к одной из самых величайших несправедливостей, изменивших лицо мира…

Выуживал я сведения даже из наших газет. В одной из них я прочитал: «Известный в городе Уральске фотокорреспондент Виктор Иванов, находясь в командировке в Зеленовском районе, занимался подготовкой фоторепортажа о знаменитом комбайнере Ириклинциве, который в уборочную спал по четыре часа в сутки, а оставшиеся двадцать часов проводил в кабине комбайна, даже обедал, не покидая рычащей машины; научился не проливать борщ на ходу, разгрызать аппетитные мозговые косточки, ловко справляться с пирожками и шанежками. Фаддей, а именно так звали комбайнера, не рекорды хлеборобские ставил, а беспокоился о сохранности выращенного урожая, чтобы успеть до наступления дождей и ветров убрать зерно. Он все время справлялся у агронома о погоде – не накликали случаем синоптики дождя? Агроном врал: завтра, дескать, обещают ливень, и тогда Ириклинцев переходил на трехчасовой сон, что, однако, влияло на богатырское здоровье знатного хлебороба. В конце концов, он приспособил в кабине комбайна точный барометр, другие метеорологические приборы, установил даже электронный компас. Товарищи по труду изумлялись – для чего компас? Фаддей отвечал невозмутимо, что всегда полезно быть в курсе курса сложной машины, да и вообще не мешает знать свои координаты на Земле. И теперь Ириклинцев без ученых прогнозистов с большой вероятностью определял погоду, и если намечался дождь – прибавлял комбайну скорости, тем самым, избегая ненужных потерь народного богатства. В тот день, когда маститый фотограф снимал прославленного механизатора, над полем с самого утра кружились небольшие облачка – то разбегались, то собирались вместе. Фаддей посматривал на приборы – быть дождю, может быть, даже ливню. А надо сказать, что поле, на котором он в тот день работал, было совершенно особое. Это был семенной участок, где встала стеной пшеница – новый, высокоурожайный сорт, выведенный местным селекционером-любителем – Федором Федоровым, который сорок лет жизни посвятил баяну – играл на этом замечательном инструменте на свадьбах, семейных вечерах, в художественной самодеятельности, а все свободное от игры на баяне время отдавал своему увлечению – выведению удивительных сортов зерновых культур. Он долгие годы бился над выведением гибрида овса и гороха. При этом он стимулировал рост растений исполнением музыкальных произведений на том же баяне. Иногда он привлекал и жену, которая виртуозно играла на балалайке. Новая культура могла бы соединить в себе аристократические качества овса и крепкую, гарантированную урожайность гороха. При этом предполагалось, что говес не только сохранит стручки, но даже увеличит их размеры. Так и получилось. Средний стручок был размером с добрую саблю в ножнах и весил от трех до пяти килограммов. Стебель говса превосходил по прочности бамбук, что затрудняло его механизированную уборку; это, в конце-концов, и предопределило судьбу замечательного растения. Решено было отложить районирование его семян до того времени, когда ученые найдут надежный способ уборки – пробовали для этой цели переоборудовать тяжелые танки, но у них от напряжения глохли моторы и рвались гусеницы. Но, несмотря на эти мелкие организационные недочеты, селекционный успех был налицо. И вот теперь выросло новое рукотворное чудо – банановая пшеница – бананница. Впервые в мире удалось скрестить латиноамериканские бананы с саратовскими твердыми сортами пшениц. По сути дела на стеблях колосились небольшие, но очень вкусные и питательные рогалики. Причем, при помощи специальных удобрений можно было добиться, чтобы рогалики имели вкус бородинского хлеба, батонов с изюмом, городских булочек. Сбывалась вековая мечта

человечества: ни тебе молотилок, ни тебе мельниц и жерновов – срывай и сразу отправляй в рот это чудо. Ирикилинцев специально переоборудовал жатку своего комбайна, чтобы собранные рогалики, минуя молотильные барабаны машины, сразу засыпались в мешки, которые тут же отправлялись бы потребителю. Перед началом уборки Федор Федоров и его жена Аркадия Аркадьевна предполагали дать у кромки поля небольшой концерт, что способствовало бы созданию благоприятного фона и настроя. Но тут закрутились над полем злополучные облачка… Знаменитый комбайнер знал, что очень часто небесное мельтешение заканчивается стихией, которая с особым и непонятным остервенением набрасывается на плоды человеческого труда. И если на обычном поле можно дождаться солнышка, которое просушит землю, колосья – и продолжить уборку, пусть и с потерями зерна, то на участке бананницы дождь – катастрофа. Рогалики просто-напросто размокнут, насмарку пойдут долгие годы напряженной селекционной работы.

Облачка еще раз разбежались по краям опытного участка, поплавали там, словно накапливая сил, и внезапно понеслись навстречу друг другу, вмиг ощетинившись колючими и трескучими молниями. Они целились своими блистающими трезубцами друг в друга, но больше всего доставалось деревьям недалекого леска. В этом леске прятался ветер; напуганный, разодравшим небо электрическим разрядом, он рванул на поле, и под его бешеным напором рогаличная пшеница стала ложиться на землю целыми улицами и переулками.

И пропала бы чудо-пшеница, исчезла бы без следа, разметанная ветром и залитая дождем… И уже упали первые капли дождя из облачков, объединившихся в центре поля в черную страшную тучу, и схватился за голову комбайнер Фаддей Ириклинцев, и полез в карман за валидолом селекционер-любитель Федор Федоров, и молила силы небесные и земные о ниспослании волшебного спасения рогаличной пшенице Аркадия Аркадьевна, жена и балалаечница… И когда уже не осталось надежды, когда до катастрофы оставался один только миг, над участком внезапно протянулся светлый, будто раскаленный, шлейф и попав в него немедленно испарялись капли дождя. Ливень нарастал, но ярче становился шлейф; он как бы заслонял от стихии диковинную пшеницу… Ученые пока не смогли объяснить природу непонятного явления.

В итоге была спасена значительная часть экспериментального поля, и это чудо сумел запечатлеть на своих снимках фотомастер Иванов. Эти снимки газета напечатает в ближайших номерах…А что касается бананницы, то будущей весной предполагается засеять этой феноменальной культурой все заброшенные в последние годы хлебные поля, и учитывая, что одичавшие площади огромны, можно ожидать, что вскоре народное питание в значительной степени будет состоять из вкусных и питательных рогаликов».

Снимки Иванова, конечно же, не были напечатаны, думаю, они пропали в недрах спецслужб, но мне было понятно: чудесное спасение бананницы - еще один след дракона. И не только дракона. Приоткрываются ворота в иной, забытый, поистине затерянный мир, и я должен найти эти ворота. И я начал поиски. Сколько пар ботинок пришлось мне износить, сколько надежд и разочарований пережить, чувств ярких, как любовь, горьких, как предательство!.. Но в главном я не разочаровался… Я верил в то, во что верил – это было очень важно для меня; вообще, верить - это важно для всех… В разное время пытались разделить со мной мою ношу разные люди. Кто загорался идеей, но быстро отступал, не получив быстрого результата, кого манили деньги, а у меня их как раз и не было… Я выкручивался, врал, говорил, что занимаюсь поисками сбежавшего из зоопарка крокодила или придумывал другую ерунду – и на время обретал помощников, попутчиков,

сообщников – назовите как угодно. Потом помощники пропадали… Последними были Вова и Лева…вы знаете уже, что получилось с ними, со мной… Да, я пытался обмануть их, но только для того, чтобы они не впали в искушение, и своей глупостью, алчностью, грубостью не погубили дракона…

Оставили они меня в мрачном лесу, на злую погибель… Конечно, я виноват был перед этими ребятами, но мотивы моих поступков понять можно… Сколько времени пробыл я в ловушке – не помню, часы растянулись в дни, дни казались неделями. Я прощался уже с жизнью, и больше всего сожалел, что не удалось мне доказать свою правоту, да что там моя правота? – не получилось исправить величайшую несправедливость всех времен и народов. И однажды, в минуту самых мрачных моих размышлений передо мной возник старик, заросший неопрятной седой бородой… Опирался он на клюку, но было заметно, что в ней он совершенно не нуждается; руки его были налиты силищей, выправка, как у гвардейского офицера. Глаза светились легкой насмешинкой, исток которой не в веселом и легком характере, а в том, что много всего хорошего и очень хорошего повидал седобородый. А также и не очень хорошего.

- Дедушка, помоги! – взмолился я.

Он освободил меня из пут, сказал непонятно:

- Не заслужили вы все прощения, но ты пока и смерти не нажил…

- А что? – удивился я. – Смерть, как богатство, надо наживать?..

- А как ты думал? - сказал он. – И добавил:

- А дракон твой цел и невредим…

И рассказал мне, что тот устроился неплохо, живет в городе, в год дракона выхлопотал себе льготы на проезд в общественном транспорте, совершенно бросил пить (чего скрывать, одно время злоупотреблял), хотя тоскует, конечно, по родным просторам. В последнее время он все чаще и чаще говорит о том, что хотел бы стать человеком, получить паспорт, зарегистрироваться по месту жительства – стать полноправным гражданином, частью активного электората.

- Не беспокойся о нем, - сказал седобородый. – А вот Вове с Левой твое участие может потребоваться…

Оказывается, деньги не очень пошли на пользу мужикам, такое часто случается. Кто привык перебиваться с вермута на воду, тот вряд ли почувствует себя комфортно за столом с ананасами, осетриной и водкой, приготовленной из спирта, полученного из отборных сортов пшеницы (может, бананницы?). Не рождены были Вова с Левой к халявному благополучию. Само собой, о матушке-халяве на наших просторах мечтает каждый, ищет ее во сне и наяву, готов голову сложить за нее, но в глубине души в нее никто не верит уже потому, что она никогда не дается в руки – халявы нет и не бывает, это каждому известно с малолетства, но до конца смириться с этим не может никто, и исступленно желает ее; не правда ли, похоже на вечную национальную идею?.. Искать то, во что не веришь?

Но вот халява падает к ногам, как червивое яблочко, и никто не знает, что с ней делать. Пропить? Взорвешься от самогона, как ненадежная газовая скважина. И потом пить-то хорошо на чужие… Купить новый комод? Набить его китайскими кальсонами с начесом –

на сто зим, вышитыми крестиком рушниками, а под самый низ засунуть сберегательную книжку? Но разве для этого бредил халявой с самого рождения, тридцать лет покупал лотерейные билеты, не пил вволю пива, закусывал не благородной белорыбицей, а костлявыми лещами?..

А, может, завести телевизор во всю стену, смотреть мировые новости, радоваться нестабильности американской империалистической валюты, обсуждать с соседями несуразности политики?.. Но, боги мои, как скучна и предсказуема политика, как антинародна, лжива она, заморочена условностями, что, вряд ли надолго заинтересует достойных людей.

Может, ударить по бабам, говорят, они охочи до денег? Но уж больно бабы похожи друг на друга по утрам, говорят одним голосом и вместо слез проливают тушь…

Вова с Левой и пили до глубокого посинения, и с бабами кутили до головокружений и слабости в коленках, и покупали комоды и трельяжи, но все казалось недостойным величия халявы. Однажды по случаю им достался граммофон с одной неразборчивой пластинкой, на которой далекий и какой-то бестелесный голос хрипел:

«…И не забыть мне лип старинных

В саду приветливом твоем,

Твоих ресниц, и взоров длинных,

И глаз, играющих огнем».

Жалостный романс был, слезу вышибал. Но кроме одного куплета ничего разобрать на пластинке было нельзя, поэтому, послушав про ресницы и про взоры целую неделю, они выбросили граммофон к мусорным бакам, где за него тут же разгорелась нешуточная драка между помойными людьми. И как будто молния сверкнула – пришло прозрение. «Даже бомжи заражены здесь бациллой культуры», - подумали Вова с Левой, и ударились в политику. Деньги помогли, и они быстро пошли в гору – Вова стал депутатом, отстаивающим в парламенте интересы культуры, Лева, правда, не добрал голосов, должно быть, имя подвело, но его деловые качества пришлись по душе профсоюзным лидерам, и он тоже принялся бороться за права трудящихся, - и очень успешно – построил дачу на Рублевке, купил Мицубиши, женился на дочери креветочного магната. Вова не слезал с экрана телевизора, Лева обжирался тигровыми креветками, но морального удовлетворения не было. Души их просили чего-то сообразного им самим - распахнутого, забубенного, небываемого. А в чем оно, это забубенное и распахнутое?.. Вова с Левой отправились в кругосветное путешествие, страны посмотрели всякие и города, выступали там с докладами и лекциями, отвечали на сокровенные вопросы тамошних народных масс. Много денег заплатили им за эти выступления в самых больших залах и на стадионах – такой интерес у заграничных людей к нашим политикам, которые не на словах а на деле вышли из самой гущи народной и стоят за народ, но и там, за морями и океанами не нашли они небываемого и распахнутого. И тогда вцепилась в их сердца жестокая депрессия, близкие опасались даже суицидальных настроений. Но до этого, конечно, не дошло – столько жизнелюбия в наших людях, столько природности, что так просто, из-за какой-то депрессии в петлю они не полезут. Но думать о ней могут, и будут.

- Что-то в жизни нашей не так, Лева! – говорил Вова.

- Точно, Вова! – говорил Лева. – Как будто карьерным грузовиком песочек на детскую площадку возим. Что делать?

- Что делать? – часто повторяли они оба.

И не придумали Вова с Левой ничего лучшего, чем устроить грандиозный пир, куда пригласили не только закадычных друзей из Доманово, но также собутыльников из Бобруйска, и даже корешей из других городов Европы и Азии. А также Африки, Австралии и Антарктиды. И Гренландии. Всесветный загул! Они заказали в местной типографии семьсот пятьдесят тысяч пригласительных билетов с виньетками, с текстом, набранным бронзовыми буквами, и разбрасывали их с самолета, который весело и сытно назывался «кукурузник». В билетах было указано, что крепко выпивать и в меру закусывать гости будут на берегу широченной – метра в полтора, не меньше,- славной речки Брожки, где для гостей будут расстелены огромные брезенты, на которых и водка, и портвейн, и редиска; а захмелел – тут же тебе и кровать. Конечно, денег, вырученных за дракона, на такой выпивон не хватило бы, но Вова с Левой рассчитывали на народную помощь, и они не ошиблись. Добрые люди помогли – кто банку с огурцами принес, кто грибочков – желтеньких, каких-то даже хитроватых лисичек, кто выволок из подпола у тещи четверть первача – еще с войны, от партизанских запасов осталось. Даже из надменной Америки приехал на побывку дядя Хаим и передал в фонд гулянки пять зеленых американских долларов. Да что там говорить про Америку, если из самого Уральска нагрянул бородатый, лохматый человечище, утверждал, что он есть Яицкий казак, звенел шпорами, скрипел портупеей, бряцал тусклыми медальками за поход на Хиву, сам не пил, не закусывал, но рупь на торжество пожаловал. Крупные средства поступили из Израиля, Албании, Голливуда, мыса Канаверал и еще многих стран, городов и местностей.

Гулянка удалась. Чуть переступило за полдень, когда гости повалили к заветным брезентам. И все в приподнятом настроении. Вова и Лева встречали всех с распростертыми объятиями; одинаково радушно приветствовали они миллионеров из Чикаго, герцогинь, водивших дружбу еще с Марселем Прустом, чопорных королев и печников, гордых редкостью своего ремесла.

Первым из-под трехсотлетних дубов вынырнул лешеватый мужик – в драной растрепанной телогрейке, грязном треухе, - огляделся, хватил стакан горькой, загрыз огурцом, молвил:

- Наши дубы Наполеона видели, с князем Радзивиллом знакомы, но такой всемирной пьянки не припомнят. Любо!

Тут подоспел принц из одного крошечного, но очень богатого королевства и поддержал лешеватого:

- Да, чаще надо нам всем собираться, ничего так не сближает народы, как горилка с салом!..

Принц конечно был прав, и нужно несколько слов специально сказать о сале - нежном, тающем во рту, в меру соленом, с тонкими прожилками мяса… Это сало вполне можно сравнить с молодым вкусом к жизни, нежной последней любовью, нежданной встречей с любимой, убежавшей в 1976 году с парикмахером из салона «Спартак» и оставившей записку «Мы больше никогда не увидимся». От этого сала можно было вполне захмелеть, не будь здесь ядреного самогона. А самогон – горилка, первач, чимиргес (и еще сто имен

великого напитка) – был, лился рекой. Он размягчал души, укреплял мир между народами, вселял надежды; ах, сколько еще, оказывается, нерастраченных надежд в мире!..

На велосипеде приехал – тоже из Уральска – человек по фамилии Одеколон. Прямо на голом теле он носил рабочие промасленные штаны, а на плечах у него всегда была стеганая ватная телогрейка без пуговиц, растраченных в драках, и грудь – и зимой, и летом – нараспашку, и горела огнем. В молодости у него была другая фамилия, кажется, Зачаганский-Задеркульский, но уже тогда он стал увлекаться тройняшкой, утра не представлял себе без флакончика животворящей влаги, и как-то зашел в нужное учреждение и переправил фамилию. И стал он Клим Одеколон. Клим Ефимович.

Он приковал велосипед тонкой, но очень надежной цепью (из секретного сплава) к наполеоновскому дубу, и присел выпивать с человеком по имени Дог, который добирался к заветным брезентам из какой-то Рузаевки сорок семь лет. Он рассказал Одеколону, что еще в детстве слышал - бабушка рассказывала, будто на берегах заповедной реки Брожки через полвека пройдет грандиозный пир – на весь мир. Что приедут на пьянку почтенные люди со всех континентов, стран, даже из холодного стеклянного города Астана, в котором сколько улиц – столько и ветров. Каждый из тысяч и тысяч прибывших получит право сказать свой тост, быть выслушанным и вступить равноправно в застольную дискуссию и отстаивать свое мнение, не опасаясь угодить в цепи… Каждый гость получит также почетное звание «Собутыльник мира», диплом международного образца и право выпивать первую рюмку еще до восхода солнца. Со временем, при доброй воле объединенных наций, будет создано заветное государство – может быть, Опхмелиния, или Верхняя Выпивония, или Бухландия, или даже Восторгландия – ученым ономастам еще предстоит найти название, достойное будущей великой страны. А знаменитая в веках речка Брожка уже в ближайшие дни будет переименована в Бражку… Счастливы будут жители этой страны, имеющие право говорить безбоязненно… Кто тут ищет Шамбалу?..

И так захватило мальчишку Дога это народное предсказание, передававшееся в их рузаевских местах из уст в уста на протяжении столетий, что он дал себе клятву – обязательно попасть на этот всемирный пир. И еще ребенком отправился он в путь, шел от деревни к деревне, взрослел; в дороге научился читать и писать, складывать стихи. Заходил в редакции районных газет, которые охотно печатали его произведения, платили гонорары, а иногда даже командировочные. Он расспрашивал местное население, не слышал ли кто о большой пьянке, и, оказывается, буквально все слышали; один говорил, что она состоялась вчера в кафе «Дядька Черномор», другой уверял, что сегодня, завтра и послезавтра будут пить на улице Буянной, впрочем, на этой улице пьют ежедневно… Одна бабушка-прабабушка-прародительница посоветовала: ищи не пьющих, не пирующих сегодня, а людей со вчерашними глазами, им многое дано почувствовать и познать – не суетного, не теперешнего; через утреннее страдание им открывается будущее – живущий без оглядки, не помнящий вчерашнего, яснее видит то, что может случиться и, должно быть, случится через неделю, год, век. Пусть отказывает им вечерняя память, и руки с утра как будто тоскуют по балалайке, пусть туманен пока их взор и поступь неуверенна, но именно среди них рассматривай провидцев; они, во всяком случае, точно знают, чего хотят. Нет пьянки, которую бы они не предчувствовали – через любые расстояния и времена.

По полям и лесам пробирался Дог к заветной цели, но, может быть, никогда бы не добрался он до Брожки, если бы хоть чуть-чуть усомнился в народном предсказании. Но он был тверд в своей вере. Много было препятствий на пути. Он попал в волны трех революций, одну из них возглавил сам, сумел сдержать всепожирающую гидру

революционного террора, но едва не пал жертвой районного термидора, вынужден был бежать, написал книгу о своих скитаниях, которая стала бестселлером, и по ней один из великих итальянцев снял скандальный кинофильм. Потом его захватила большая любовь, единственная, головокружительная, восхитительная. И пропасть бы ему среди кружевных панталон, полупрозрачных лифчиков, гостей по субботам и банных дней по воскресеньям, но неповторимая и боготворимая не устояла перед чарами заезжего трубача, ну, да, того самого, что целовался с трубою в доме колхозника, и укатила с ним выступать в его новой программе «Двойная душа»; измена вернула Дога на дорогу к брезентам, и после краха любви он еще двадцать лет шагал по этой дороге – стоптал семнадцать пар башмаков, две пары кирзовых сапог, износил три шапки-ушанки, десять ватных телогреек и один костюм-тройку – и, наконец, вышел на опушку леса, где сверкало блестящими тостами, надрывало душу тягучими песнями, сдержанно гудело дискуссиями, сидело в обнимку всемирное братство собутыльников.

- Я знал, я знал! – только и смог произнести Дог, не сумев даже взглядом охватить число пирующих.

Потом в прессу просочилось, что в общей сложности на гулянку собралось триста восемьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят девять человек. И еще один непьющий, но ему тоже присвоили звание «Собутыльник мира», но без вручения диплома международного образца. До сих пор он в судах оспаривает это решение, требует диплом. Что с него возьмешь – непьющий! Но ему, конечно бы, дали – не жалко, но печать поставить некому, загуляла канцелярская душа.

Догу сразу предоставили слово. Как героическому путешественнику, как пропагандисту и агитатору всемирной попойки, основы всемирного братства.

- Дорогие мои! Дорогие! – сказал он, и опушка взорвалась ликованием. Причем, ликовали люди на сорока четырех языках и наречиях мира.

- Все сбывается! – продолжил Дог. – Все обязательно будет!.. Да здравствует! Ура! Виват! Наливайте полнее, не дожидайтесь, когда нечего будет налить, и некому… Пейте, и ничего плохого в вами не случится!.. Во всяком случае, пока пьете…

Вова и Лева обходили гостей, каждому старались найти доброе, доходчивое слово, внимательно выслушивали искренние, порою, сбивчивые истории пирующих. И придумали Вова и Лева записывать все сказанное гостями в одну большую книгу, такие душевные выходили рассказы. Тогда прибилась к ним девушка – Тонька, скорая на руку, стенографистка, языкознатец, филолог-редакторица, нужный человек. Она и вела все записи, которых со временем собралось пятьдесят четыре тома; в ближайшее время они должны быть выпущены под патронатом правительства одной зарубежной страны.

Вот, например, какой рассказ записан в третьем томе на семьсот сорок третьей странице. Его автор нежная девушка, художница, скульптор, ранимая душа. Только после одиннадцатой рюмки решилась она поведать эту историю. В то время, когда люди еще не имели представления о глобализме, также, как и о глобальном потеплении (заметьте, все глобальное), когда мужчины и женщины были свободны, как художники, а художники скользили над действительностью, не соприкасаясь с ней, удалось художнице, жившей тогда в небольшом городке, получить заказ на две дюжины античных статуй – чтобы украшали они собой дворец и дворцовый парк одного внезапно разбогатевшего человека. Чтобы задумчиво стояли в аллеях парка, наводили на мысли о вечном в галереях и гулких залах, вызывали трепет перед богатством и удачей на широких мраморных лестницах…

Художница не стала откладывать в долгий ящик выполнение выгодного заказа, из-под ее резца быстро стали выходить Артемиды, Афродиты, Геры, другие достойные женщины древней Греции и чуть менее древнего Рима. Но с богами и героями мужского пола вышла задержка, на самом непредвиденном месте. Волнуясь, краснея и запинаясь, художница рассказала, что никак ей не удавалось скульптурное воплощение некоторых частей мужских тел. С Гераклом, чей детородный орган кокетливо повязан платочком, она кое-как справилась, да и то после многократного посещения местного краеведческого музея, где она сделала десятки карандашных набросков тех частей, с которыми была у нее загвоздка. Строгие служительницы музея приметили странную девушку, интересующуюся мужскими детородными органами, и осуждающе поглядывали на нее. А с другими греками и римлянами, которые не стеснялись выставлять напоказ свое мужское достоинство, дело никак не шло. Стояло дело… Наверное, сказывалось то обстоятельство, что художница была девственна и чиста, как весенний родник, никогда не приходилось ей держать в руках (простите великодушно) то, что даже у Геракла не всегда завернуто в платочек. Она попыталась воспользоваться своими рисунками, но объект выходил какой-то безжизненный, пустой, не гармоничный. Девушка отчаялась. Накупила гору альбомов с обнаженной мужской натурой, некоторые даже явно с эротической направленностью. Альбомы ее возбуждали, но дело со статуями не трогалось с места.

Оставалось срочно завести любовника, но сначала можно было попробовать найти натурщика. У нее было немного денег, и она попробовала, и нашла. Откликнулись многие. За деньги охотников снять штаны оказалось хоть отбавляй. Пришлось устроить кастинг. Первым вошел седобородый дедушка, спросил: «Где тут мочу сдавать**?**» Пришлось ему немного заплатить, чтобы он ушел сам и унес свою банку.

Затем пришла женщина лет сорока, сказала, что она любую работу лучше любого мужика сможет сделать – на сто пудов. Нужна эта штуковина**?**.. Так разве найдешь мужика с приличным органом**?**.. Перевелись мужики, да и в античные времена – посмотрите, посмотрите на картинки – тоже смотреть особо не на что было…

Правоту ее слов подтвердил следующий претендент. Сложен он был, действительно, как бог – хоть сейчас его в мрамор, гранит или бронзу. Настоящий красавец**!** Но когда он разделся, то художница нервно хохотнула, так крохотен был его мужской инструмент.

- Просто у вас в помещении прохладно, - сказал красавец. – Закон физики – все тела на морозе сжимаются… Вот согрейте в ладонях, увидите сами…

Она подошла к красавцу, неуверенно протянула руку, не решаясь прикоснуться, но красавец поощрил ее, ступив шаг навстречу, и впервые в жизни на ее ладонь легла та частичка мужской плоти, которая никак не поддавалась изображению. Она ощутила нечто мягкое, податливое, почти шелковое, и совсем, совсем небольшое. Художница, конечно же, знала, что это орудие в иные моменты бывает иным. Может, где-то в нем скрыта кость**?** Художница скорее инстинктивно, чем осознано, сжала орган красавца, но кости в нем не почувствовала. Но в ответ на пожатие шелк превратился в бархат, а потом в вельвет, а потом в грубое солдатское сукно. А вот и появилась таинственно отсутствующая до этого косточка**!** Чудесное создание природы**!**

Она опустила глаза и увидела, что, обретя косточку, сам снаряд увеличился, но не намного, до геройских размеров, а тем более, божественных, никак не дотянул. Он смешно топорщился и подрагивал в обрамлении рыжих кудряшек, что она опять не сдержалась - засмеялась, и он поник.

Потом приходили многие – и она видела большие, мускулистые, самоуверенные, стеснительные, крошечные, гордые, тонкие, твердые, как дерево, нежные, как лепестки роз; некоторые она просто с сожалением выпускала из рук, готова была даже влюбиться в них, но все-таки никакой из них не соответствовал ее представлению о том, каков должен быть этот предмет у античных героев. Она была близка к отчаянью. Заказчик торопил, его новый дворец был пуст без статуй, не было в нем той одухотворенности, которая исходит от шикарных предметов искусства. Она отговаривалась, тянула время.

Подруга посоветовала: обязательно самой нужно испытать все это, именуемое любовью и страстью. Тут как раз подвернулся офицер вооруженных сил, ну не совсем офицер, а наполовину – прапорщик. Он был не очень молод, но так красиво ухаживал, приносил букеты степных цветов, которые сам собирал рядом со строевым плацем, рассказывал о боевых приключениях - устоять было почти невозможно. Тем более и время поджимало.

Она пригласила его в мастерскую – искусство, вообще прекрасное, ему было не чуждо. Он сам пел в полковом хоре – «…Са-ла-вьи, са-ла-вьи, не тревожьте солдат, пу-у-у-усть сал-да-ты нем-но-оо-го пас-пяяят!», а, кроме того, читал книжку, в которой рассказывалось, как Паганини – музыкант такой был в Италии, кажется – что-то такое сделал со смычком, то ли удлинил его, то ли укоротил, в общем, произвел революцию в застойном музыкальном мире того далекого времени.

Прапорщик прибыл в мастерскую точно в назначенное время, принес бутылку водки и бутылку вина, коробку конфет «Птичье молоко» - откуда-то узнал, что это ее любимые. Ловко открыл пробки бутылок, налил аккуратно, не пролив ни капли.

- Будем! – сказал коротко.

- Да, постараемся, - откликнулась она и нежно назвала его по имени:

- Егорушка! – его Егором звали.

Он с чувством выпил, нацепил на вилку корнюшон – такой недоразвитый огурчик. Смачно похрустел, улыбнулся:

- Порядок в танковых войсках!

- Егорушка, ты же говорил, что в пехоте служишь?..

- Само собой, в ней, царице полей… А про танки – это так говорится, крылатое выражение.

- Выпьем еще? – предложила она, чтобы снять напряжение, некоторую неловкость.

Выпили. Потом еще. Прапорщик расстегнул китель, закурил. Выпустил густой клуб дыма, спросил:

- Вот интересно мне, почему люди в натурщики и натурщицы поступают? Стоять голым в неудобной позе – не могу представить… Ни за какие деньги не согласился бы …

Она замерла, он заговорил о наболевшем. Какая все-таки у него чуткая душа, хоть и затянута мундиром.

- Это работа, как и любая другая, - ответила она. – Вот в вашей службе полно опасностей, но ведь вы не прячетесь от них, понимаете, что нужны людям! Вы – защитники Отечества!..

Прапорщик приосанился, махнул еще рюмку водки. И еще одну.

- Мы – люди военные, - сказал раздумчиво. – Риск, опасность присущи нашей специальности… А вот голым стоять перед людьми – не понимаю…

Она догадалась, что трепетала в нем какая-то неведомая струнка, болел какой-то скрытый нерв. Может, в отрочестве и юности насмехались над его нескладностью жестокие одноклассницы, может, в детстве застукали его за подглядыванием в мутное окошко сельской баньки, кто знает?..

И тогда она поцеловала его, сказала еще нежнее, на самом пределе нежности:

- Егорушка, милый! А ты не хочешь сам попробовать? Мне как раз обнаженная мужская натура требуется?.. А?..

Он даже перестал жевать огурчик, засопел, рука сама собой потянулась к рюмке. Он выпил, и глаза его засветились каким-то зеленым огнем, может, водка такая зеленая попалась? Он, наконец, дожевал огурец, заговорил страстно:

- Как говорится, это самое, алтарь искусства, и начштаба ориентировал так же…

Она испугалась, что придется иметь дело еще и с начштаба, поэтому пустила в ход решающий аргумент:

- Я не знаю, каков ваш начштаба, но твоя фигура, Егорушка, практически идеальна… Подумай только, она сопоставима с фигурами греческих богов!..

Он выпил еще рюмку, решительно снял китель. Расстегнул рубашку, поднял на нее глаза. Зелень в них все еще горела.

- Мне отвернуться? – спросила она.

Он засопел сильнее, и она не стала отворачиваться. Он долго возился с башмаками, шнурки никак не поддавались его напряженным пальцам, так что ей пришлось помочь ему. Она преклонила перед ним колени, и вместе они одолели шнурки. В награду за это она налила ему еще рюмку, выпила и сама.

С брюками получилось быстрее, и он остался в трусах цвета хаки, такой же майке. Он огляделся вокруг, она подумала, что решимость его на пределе, и поощрила прапорщика еще одни поцелуем.

- Ты тогда тоже раздевайся, - придумал он, придумщик.

- Я – потом, - шепнула она ему. – Иначе как разберешь, кто из нас художник, а кто – натурщик?.. Снимай трусы…

Она потянула вниз за ткань защитных трусов, и они пали к ногам отважного воина.

Она подняла глаза на то, что они скрывали, и подумала огорченно, что теперь заказ точно будет сорван. Нет, военный орган был хорош, чувствовалась в нем и уверенность, и сила, и она потом испытала это на себе, но эти уверенность и сила были, по ее разумению,

никак не божественные, а прапорщицкие. Невозможно было объяснить откуда она черпала это знание, но она знала, что боги должны отличаться от прапорщиков во всем, а в этом и подавно.

Военному кавалеру она не дала почувствовать свое разочарование, попросила принять его позу Ясона, наконец, добравшегося до руна, сделала несколько набросков, как оказалось потом – не напрасных. Легкая эрекция, которую прапорщику не удавалось погасить на протяжении всего сеанса, позволила потом использовать эти наброски для фигуры Фавна; лесное, козлоногое божество получилось игривым, даже несколько скабрезным. И, несмотря на то, что место для статуи постарались выбрать в самом укромном местечке парка, юные девушки, да и матроны в годах, находили возможность взглянуть на Фавна, а кое-кто не брезговал дотрагиваться до той части мраморного тела, которое с таким трудом удалось художнице. Как-то само собой даже составилось поверье, что если дотронуться до органа Фавна в полнолуние, то, как рукой снимает энурез, чесотку и кариес, и уверяли – бесплодие и аноргазмию.

Но с другими античными мужчинами дело застряло на одном месте. Не двигалось дело. И совсем, было, отчаялась художница, вознамерилась отказаться от заказа, но пришел на помощь случай. Случай, он как стрела в натянутом арбалете, только подумал еще нажать на спусковой крючок, а стрела-то уже летит!..

Купила она как-то на уличном базарчике пучок редиски. Редисочница, как водится, завернула свой хрустящий товар в клочок газеты. Художница принесла домой редиску, развернула, глянула на клочок и ахнула: во всю страницу были изображены десятки и десятки органов, в коих она имела такую творческую нужду. «Вибраторы и мастурбаторы – на любой вкус!» - предлагала реклама. И судя по фотографиям, нисколько не лгала. От самых крошечных, едва доступных взгляду, до настоящих монстров, любых оттенков и колеров, из латекса и резины, из космических пластмасс с моторчиками и реактивными двигателями, металлические с нагревателями и гелиевые с охладителями – все было там. У нее даже руки затряслись: один из аппаратов всей своей статью, формой, нежным оттенком почти живой кожи как будто был создан для фигуры самого Аполлона! Где, где можно купить такое чудо?.. И как купить?..

Вопрос «где» решился быстро - в любом сексшопе. А вот «как» - оказалось сложнее. Просто прийти в эролавку и потребовать показать товар лицом она не могла – слишком известной личностью в городке она была. Она не боялась пересудов, но опасалась, что приниженное представление о предмете, даже в людской молве, может в конечном счете отразиться и на художественных качествах античных богов и героев.

Но тут судьба забросила ее в одну из сопредельных и очень дружественных стран – то ли на какую-то выставку, то ли международный симпозиум по ваянию – память не сохранила этого. Но ночью в гостиничном номере ей не давали уснуть электронные всполохи рекламы; она не могла поверить своим глазам – реклама настойчиво рекомендовала посетить **SexShop**. И она посетила. Загородив поллица огромными темными очками, повязав темную, почти корсарскую, косынку, она с замиранием сердца толкнула дверь магазина. Внутри пахло косметикой и немного аптекой. «Запах стерильной любви», - подумала она.

Она ожидала увидеть пустынный зал, но рассматривателей-покупателей было немало. Седовласый джентльмен тщательно выбирал себе надувную красавицу, интересовался, следует ли применять тальк для сохранности изделия в те дни, когда она не будет нужна?

Две дамы возбуждающего возраста интересовались каким-то сложным предметом – с пружинами, электродами и кронштейнами, что она не решилась даже предположить его предназначение. Молодые девушки с парнями хохотали у стеллажа с какой-то кожаной сбруей…

К художнице тут же подлетела служительница:

- Что интересует? Можем предложить модели, выполненные с применением самых передовых технологий. Гарантированное наслаждение, никаких отказов! Никакого плохого настроения, усталости, похмелья у наших моделей не бывает!..

И перед ней развернули весь головокружительный набор. Она даже подумала на секунду: а, может, все это ей снится: она трогала руками, перебирала, сравнивала сотни приборов, да нет, приборами это назвать было невозможно. Служительница не уставала повторять: «Вот это точная копия с органа номинанта на Оскара… А это – чемпиона НХЛ… А это – самого Казановы…»

Художница не без труда, так велик был выбор, купила два вибратора – один длиннее, другой толще… Они были именно такими, какими представляла она их у древних героев.

С нетерпением ждала она возвращения домой, так хотелось продолжить интересную работу. Но, оказалось, не все препятствия были еще преодолены. В аэропорту, строгие стражи безопасности полетов, просветив ее чемодан рентгеном, поинтересовались, что за устройства с батарейками она собирается провезти через границу? Это случайно не ручные гранаты, не запалы, не детонаторы?..

Она попыталась им кое-как рассказать об античных героях, но стражи не поняли, велели распаковать и предъявить устройства. Делать нечего, и половина аэропорта рассмотрела два вибратора-красавца, поцокала языками, с интересом посмотрела та сексообильную дамочку.

Потом стражи извинялись, краснели, улыбались понимающе, но пока она летела в самолете, с нее не сводила взглядов мужская половина лайнера…

Но главное – античные герои и боги вышли просто замечательными, украсили собой и дворец богача, и парк…»

На этом месте прервал свой рассказ Ботаник – он же заскорузлый. Перевел дух, помолчал с минуту – нелегко даются человеку воспоминания. Это все равно, что жить заново, но уже не так безоглядно, не так бесшабашно, как в первый раз. Много сил уходит на то, чтобы вспомнить все, как было, при этом вспомнить лучше, чем было…

«Я тоже не сразу нашел дорогу к речке Брожке, - продолжил заскорузлый. – Плутать пришлось немало. Куда только меня не заносило! Однажды попал я в город, где люди живут в шатрах и палатках. Но это не геологи. В той местности земля уходит из-под ног по понедельникам, вторникам и четвергам, и ни одно здание не может устоять – повергается в прах. Поэтому находчивые люди не строят капитальных зданий. А земля трясется потому, что неподалеку от палаточного городка стоит секретный завод, на котором путем взрывов получают драгоценные камни. От взрывов рушатся не только дома. Почему-то в этом городе много людей, которые почти ничего не видят, и поэтому взрывное министерство выделяет большие деньги на здравоохранение. Драгоценные камни очень нужны модной промышленности, и эта промышленность тоже выделяет деньги на лечение слепых, но пока прозревших мало. Впрочем, люди города утешаются тем, что у

них очень развиты слух, обоняние, другие органы чувств. Полюбив однажды, они почти не в силах разлюбить, потому, что живут в представляемом мире, и любимые наделены только прекрасными чертами… И вот что удивительно, уверяют, что достаточно только переехать из этого города в любой другой, как само собой постепенно возвращается утраченное зрение, но далеко не все покидают эти края… Это объяснить я не могу…

Я и сам там влюбился в девочку-припевочку; она склоняла голову над гитарой и пела:

Не уделяй мне много времени,

Вопросов мне не задавай.

Глазами добрыми и верными

Руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,

По следу следа моего.

Я знаю - снова не получится

Из этой встречи ничего…

Я спрашивал, чьи песни она поет, но она только улыбалась… Впрочем, не стану рассказывать об этом, скажу только, что она не поехала со мной, осталась в палаточном городе…

Дорога к Брожке нелегка. У некоторых она пролегла через горы и степи, некоторые увидели ее из космического пространства, проносясь над Землей в утлых космических челнах, и вскоре приземлили свои огнедышащие корабли у нетрезвого брезента, а были и такие, что плутали на ее берегах, да не сумели рассмотреть светлой речки…

После долгих мытарств, достойных пера самого Виктора Иванова, вышел я, наконец, к месту назначения. Как раз в это время тост провозглашал крупный ученый нашей современности, уроженец Японии, или Сенегала, или Татарстана? В общем, знатного рода человек.

- Пью за тех, кто умеет бодрствовать и не дает сну обмануть себя несбыточными грезами! – говорил он. – В нашем институте мы сумели подсчитать, что сбываются только восемнадцать процентов всех снов, причем из этих восемнадцати - девяносто три процента навеяны славным портвейном номер двенадцать. Вывод простой…

Вова и Лева светились улыбками, приветствуя гостей, но если присмотреться, то заметна была в их глазах легкая усталость, некоторая разочарованность, неудовлетворенность собой. Пир удался, пир шумел хмельной и счастливый – на глазах рождалась легенда, о ней торопились рассказать семьсот двадцать два журналиста, две тысячи двести телеоператоров, девятнадцать молодых и три маститых писателя, делали наброски впрок для будущих мировых полотен шестнадцать живописцев, четырнадцать голливудских киностудий трещали аппаратами, а на Вову и Леву, вдруг, навалилась беспричинная грусть. Казалось бы, сумели они добиться небывалого успеха в деле объединения людей,

в деле дружбы и в деле добрососедства, но на душе у них не было легко и спокойно. И они сами не могли взять в толк, что же грызет их, не дает наслаждаться дружеской попойкой?

Наверное, они многое поняли, едва увидели меня. Я не стал им пенять за то, что бросили меня в лесу, за то, что с легкостью продали мою мечту – это касалось только меня, и я готов был забыть это. Чего не бывает между людьми?.. Но я не мог не рассказать им о судьбе обманутой кабеты, о совсем невеселой доле обманувшей ее подружки… Старухи…»

Ботаник еще на минуту прервался, для чего-то поклонился в сторону Старухи, как бы давая понять, что он до конца не отождествляет эту самую подружку и теперешнюю Старуху, и затем продолжил: «Я сказал им:

- Безвинные женщины страдают, вы понимаете?.. Одна осталась без квартиры, другая – без покоя в душе…

Вову и Леву как громом поразило сказанное мною. Наконец, ясны им стали те неясная тревога и легкая грусть, которыми горчила вселенская выпивка на Брожке.

- Что же делать? – поникли они головами. - Денежки-то тю-тю…

Выхода, казалось, не было. Крепко задумались ребята. Где взять деньги?..

Я предложил им попытаться выиграть в казино, вспомнив, как однажды сам выиграл в преферанс в одном далеком казахском ауле. Мы тогда трое суток не выходили из юрты, и мне все время везло; хотя и карта шла паршивая, да и играл я не очень, но раз за разом выигрывал – понемногу, но каждый раз. Нас ненадолго отвлекал только бесбармак – гениальное изобретение кочевников – мясо, лепешки, сурпа - еда, в которой, казалось, соединились сотни блюд. Еда, которая помогала номадам завоевывать мир. Сами они считают, что овладели миром, овладев конем, но это верно только отчасти. Бесбармак занимает достойное место в ряду, где находятся степной лук, легкая сабля, неприхотливый конек, вяленое мясо, кошма… Да еще, наверное, казан – черный чугунный котел, пропитавшийся жиром за долгие годы скитаний его хозяев… Какой аромат разносился по степи, когда закипала в казане сурпа, как будто это был запах родины!.. Бесбармак – больше, чем еда…

Я выигрывал и выигрывал, казахи только улыбались и пододвигали мне деньги, я складывал их под угол кошмы; и только спустя многие годы я понял, что они проигрывали мне специально. Гостеприимство – сильнейшее оружие степи…

Вова и Лева отправились в казино на Немиге, но не с таким настроением нужно приезжать в игорный дом, а настроение у них было, как у пойманной воблы, которой насыпают под жабры соль. Ставки они делали небольшие, играли нерешительно, с оглядкой на скудный кошелек, и, конечно, проиграли. Испытали счастье в покер, но ели им выпадал флеш, то у соперника непременно находился фул-хаус, если им приходило каре, то у какой-нибудь трясущейся бабушки обнаруживался стрит-флеш, и никогда на руках у себя они не видели флэш-рояль, - неудачники, что возьмешь с них?

Остатки денег они принялись просовывать в щели игровых автоматов, но, видимо, автоматика тоже была настроена против них, потому, что машины охотно принимали деньги, но совсем не хотели отдавать их. Ни разу не выпала выигрышная комбинация, и Вова с Левой впали в депрессию.

«Может, ограбить банк?» - как-то произнесли они в унисон, но взглянули друг на друга, хохотнули и отвергли даже самую мысль об этом: не для того наши банки гудят неустанно о кредитах, депозитах, процентах, бонусах, народном благосостоянии, чтобы поделиться хоть с кем-нибудь даже самой малой толикой добра. Там дивизии на охране, там денежные рентгены, там колючая проволока из нержавеющих металлов…

Совсем приуныли ребята. В юристы, где гонорары большие, податься образование не позволяет, да и врожденная чистоплотность; выйти в знаменитые спортсмены уже поздно, говорят, их тренируют с рождения – и не пьют они вволю, и не едят всласть, и не спят в воскресенье до обеда; выбиться в великие художники, и писать портреты царей и президентов за огромные мильены, да, слышно, почти все места там уже заняты, а за оставшиеся бьются не на живот, а на смерть несметные рати живописцев всех направлений и вероисповеданий; и уж самое, казалось, простое – стать звездами эстрады, смотреть улыбчиво на народ с афиш и телевизоров, кое-как успевать за фонограммой и спокойно считать денежки, но противно… очень противно…

Что же делать?..

- Может в рабство продаться? – даже об этом подумали они однажды. Но не сложилось. Покупатели набежали, но цены достойной не дали…

К тому времени у Вовы с Левой уже и на хлеб не было. Самим бы ноги не протянуть, а как кабету с подругой выручать?..

- Нет выхода, - сказал Вова.

- Не вижу и я его, - подтвердил Лева.

Но здоровая основа была в их характерах.

- Терпение и…

- Труд все перетрут, - произнесли они, как нередко у них случалось, почти в унисон…

- Устроимся куда-нибудь… Копить будем… Все вернем…

И вот уже много лет заняты они очисткой городских улиц, денег получают немного, но и не тратят на себя почти ничего, только разве на хлеб, огурцы и махорку. А каждую лишнюю копеечку откладывают в заветную шкатулку… наверное, уже немного осталось им… Год – другой, а, может, и меньше – и рассчитаются они…»

- Не их ли сегодня утром я повстречал перед своим домом – в необъятных брезентовых плащах? – догадался Старик. – Они еще тротуары посыпали песком… точно…

- И я их видела, да не узнала! – сказала Старуха. – Но их одухотворенные лица мне показались знакомыми… Вот же встреча!..

- А теперь мой рассказ, - начал мужик без примет. Помолчал, откашлялся – и заговорил дрожащим от волнения голосом: «Моя история тоже о любви… Наверное, все на свете истории – о любви…»

Старуха перебила его:

- Может быть, эту повесть мы выслушаем не в романтической полумгле кочегарки, а в моем грустном жилище?.. Тем более, что здесь и вина больше нет?.. Да и внутренний голос подсказывает мне, что пора, уже пора… двигаться…

Дамка рассыпалась звонким лаем, домой ей, каракулевой, захотелось.

Жилище Старухи – крошечная квартирка на восемнадцатом этаже не была обезображена лишними вещами: раскладушка, тюфяк для Дамки, пара сковородок для яичниц, стул, табуретка, телевизор, граненые стаканы. Холостяцкий быт.

- Это тот самый телевизор? – спросил Старик, горящий нетерпением.

- Этот самый – на свалке найден, - подтвердила Старуха. – На нашей свалке много чего полезного находится. В позапрошлом году мне приносили - тоже за бутылку самопальной – космический скафандр. При нем еще было десять кило пшенной каши с мясом, компас. Я, может, и взяла бы, в жизни не знаешь, что может пригодиться, да вовремя рассмотрела – скафандр был рассчитан на пятипалые когтистые лапы, явно не человеческие… На что мне такой?..

- И где теперь это скафандр? – спросил мужик без примет. – Он цел?..

- Чего ты так волнуешься, как будто это твоя собственная шкура? – рассмеялась Старуха. – У моего старого друга Кулемы, бомжа жизни, бича по призванию, он и валяется под койкой… Конечно, кашу с мясом давно слопали, компас пропили…

- Я должен видеть этого старого друга! – пуще взволновался мужик без примет. – Дайте мне его адрес!.. Это вопрос…вопрос…жизни…и небытия…

- Какой адрес у бича, ты в своем уме? – сказала Старуха. – У мусорных баков на улице Мира найдешь его… А зачем он тебе?..

Мужик без примет ничего не ответил, бросился к двери, и пропал. Надолго ли?..

- Так мы будем включать этот телевизор? – спросил Старик.

Старуха с силой ударила по корпусу телевизора кулаком – так включался этот прибор, как и многие другие, и на экране появился мужик без примет. Но другой совсем мужик, и отсутствующие приметы у него тоже были другие.

- Хорошо, что вы включили таймвизор именно сейчас, - сказал мужик, перебирая перед собой на столе пухлую стопку листов. – Потому, что, идя навстречу вашему острому желанию, я сказал бы даже - острейшему, мы начинаем телепубликацию знаменитого произведения «Остров…»… Тем более, что вариатор временной обратной связи показывает: среди зрителей сегодня – сам автор бессмертной эпопеи…

И на экране возник растерянный, всклокоченный Старик, однако, протрезвевший.

- Бумагу мне, ручку!.. – закричал он. – Я должен это записать, и башку ломать не придется…

- Вот так и создаются великие произведения, они вне времени, - продолжал говорить диктор без всяких примет. – Мы знаем немало примеров, когда литературное произведение опережает свое время, приходит из прошлого, чтобы быть понятым только

потомками, но бывает и наоборот: книга приходит из будущего в прошлое. Таков «Остров…»…

- Может, тебя диктофон устроит? – предложила Старику Старуха. – Нажмешь вот на эту кнопочку – и все запишешь…

Щелкнула кнопочка записи, и тут же таймвизор принялся читать роман:

«Утром в клетке сдох кенар, желтый, как лимон.

Лизавета как раз читала ему из «Веселой науки»: «Мы устроили себе мир, в котором можем жить, - предпослав ему тела, линии, поверхности, причины и следствия, движения и покой, форму и содержание: без догматов веры никто не смог бы прожить и мгновенья! Но тем самым догматы эти еще отнюдь не доказаны. Жизнь вовсе не аргумент; в числе условий жизни могло бы оказаться и заблуждение…»

«Как прекрасно заблуждаться! – думала иногда она – По сути дела заблуждения – это фантазии, игра тоскующего воображения, никогда не сбывающиеся мечты…»

Кенар свалился с жердочки, как старый канатоходец, распустил крылья, но они уже не помогли - он упал, вытянув скрюченные лапки, и сразу стало ясно – больше он не споет, не нащелкает тоскливых невольничьих ноток.

Лизавета ахнула, Ницше выпал из рук.

- Зачем? – выговорила она, неизвестно к кому обращаясь. Впрочем, она догадывалась, что хоть один слушатель у нее есть. Холодный и размеренный стук его сердца она иногда явственно различала в механическом ритме старых часов.

Никто не ответил.

- Ну, зачем? – повторила она, не в силах оторвать взгляда от мертвой птички.

- Разве он мешал хоть кому-то?..

Она поразилась глупости своего восклицания: если бы кенар даже и мешал, то разве согласилась бы она покарать его смертью? И вообще, есть ли хоть кто-то, заслуживающий смерти?… Да? Нет? Опять глупость?.. Своим рождением каждый уже заслужил ее…

Она надавила на зеленую кнопку, и коляска медленно покатила к окну – мимо клетки с мертвым кенаром, желтым, как пустыня.

Лизавета давно уговорила себя, что вообще все вопросы, скорее всего, лишены смысла. Нечего и пытаться получать на них ответы. Но так иногда хотелось хоть что-то понять, объяснить самой себе.

На подоконнике в пузатом горшке жил угрюмый кактус, вылитый динозавр. Поселился он там много лет назад, был немногословен, колюч, гордился своим героическим прошлым, когда был призван служить в контрразведке, оповещая секретных агентов об опасности одним своим появлением в окне. Ему полагалась за это медаль, а может быть, и орден, но награда где-то задержалась, он терпеливо ждал, прислушивался к радио: ищут ли, находят ли героев?

Кактус не любил кенара; желтогрудый певец как будто специально старался разрушить его жизненные установки: он пел в клетке, но разве песня, поэзия могут жить в неволе? Кенар не оставлял попыток взлететь со своей жердочки, каждый раз больно ударяясь о металлические прутья своей тюрьмы, так и не сумев понять, что только родная почва под ногами надежно питает жизненными соками, дает уверенность… Полет всегда призрачен, движение относительно…

Лексикон вертлявой птицы был переполнен пустыми словами «любовь», «звезда», «тоска»… Ни разу кенар не пропел «Родина», «мать», «жизнь». Но все-таки жаль беднягу… Не повадилась бы опять смерть в этот дом, хотя для нее здесь почти ничего не осталось: Лизавета с бабушкой и кактус… Ах, да, еще замшелый домовой, безвольный, опустошенный утратами: не уберег, не углядел…

Лизавета надавила красную кнопку, и коляска остановилась у самого окна. Здесь у тонких, вибрирующих уличной жизнью стекол, она привыкла плакать, когда плакалось. Она рассчитывала дать волю слезам, но не получилось. Ни слезинки, ни всхлипа. В груди было холодно, северный полюс давно образовался там. Она вспомнила, что когда в серой и пустой больничной палате бабушка, наконец, решилась рассказать ей о том, что нет больше у нее ни матери, ни отца, что похоронены они две недели назад в одной могиле на новом загородном – на лысом холме, - кладбище, то она тоже не заплакала тогда. Две слезинки только-то и скатились по ее щекам, упали к ногам ледяными горошинами. Бабушка твердила: «Ты плачь, плачь!..», а она никак не могла избавиться от ощущения, что рядом с ней кто-то чужой, посторонний, – и она не могла, не хотела, чтобы он видел ее слезы…»

В это время в комнату ворвался мужик без всяких примет с огромным свертком в руках.

- Не надо дальше записывать! – бросился он к Старику, нажал на диктофонную кнопку «Стоп». – Это совсем другое… Нас не касается… Это не тот роман…

- Нас все касается, - строго сказала Старуха. Но часть диктофонной записи все-таки была испорчена. Как оказалось потом – в нескольких местах.

- Ну вот, как я теперь узнаю, что там случилось? – огорченно сказал Старик.

- Ты сам все напишешь по-другому, сам сумеешь, у тебя ведь талант, - сказал мужик без примет. Но Старик опять нажал на кнопку записи: «Этого постороннего она почувствовала еще на аэродроме, когда ни в какую не соглашалась садиться в вертолет. Мать и отец в один голос говорили ей:

- Не нужно бояться, не нужно!..

А она боялась…

- Может быть, поедем на поезде?

- Не глупи, малышка!.. Мы сэкономим почти сутки, да и взглянешь сверху на землю, красота!..

Она обречено поднялась по коротенькой железной лесенке в разогретое душное нутро вертолета. Наверное, это был грузопассажирский вариант, потому, что вместо кресел здесь были узкие длинные скамьи; и ее посадили между родителями. Кроме них в вертолете сидели худая желтая женщина с огромной цветной сумкой на коленях, из

которой торчали неопрятные свертки с колбасой, сельдью, бурыми макаронами, и лысый мужчина в огромных, дымчатых очках, уткнувшийся в газету с названием «Надежда».

Вертолет затрясся, загрохотал. Затоптанное грунтовое поле аэродрома, вдруг, качнулось, накренилось и стало проваливаться вниз. Лизавета зажмурила глаза, сжалась в комок. «Неужели летчики взаправду любят небо? – подумала она. – Натужный рев моторов, свистящие лопасти, тряска и дребезжание металла – это и есть полет?.. Инородный, никчемный механизм борется с живой стихией, и она отторгает его… Разве брошенный камень летит? Он только падает…»

Непонятно откуда потянуло холодом, заледенило затылок. Ей почудился сухой короткий смешок.

- Ну что ты дрожишь? – едва перекричала шум мотора мама. – Тебе пятнадцать лет, а ты такая дикая…

- По статистике воздушный транспорт – самый безопасный. В автомобильных катас…, - начал кричать отец, и осекся, потому, что больше не стало потребности кричать. Мотор как будто задохнулся во встречной воздушной струе, закашлялся и замолк.

Еще гудели какие-то механизмы, трещали шестеренки, вращались маховики, шумел над головой винт, и вертолет мчался над крошечными домиками, ленточками дорог и речек, но все уже было кончено. Вышло время железной машины, вышло время людей. Они еще жили, но что за жизнь по инерции?..

И все это поняли. Лизаветин отец – первым.

- Почему, почему ты замолчал? - закричала Лизавета, но в тот же миг вертолет, скользивший по тонкому насту инерции, провалился в бездну.

Дико закричала желтая женщина и бросилась к голубой дюралевой двери. Мгновенно, как будто всю жизнь этим занималась, она справилась с замком, и дверь подалась вовнутрь, и в образовавшийся сверкающий солнцем проем ударила воздушная волна. Женщина отпрянула от двери, огляделась безумными глазами и заметила оставленную ею на скамье цветную сумку с селедкой, макаронами и, балансируя на вибрирующем металле пола, попыталась вернуться за сумкой. Каким-то невероятным усилием ей это удалось, она схватила сумку, и на лице ее мелькнула тень удовлетворения, но тут же вертолет тряхнуло, завалило на бок, женщина взмахнула руками, широко раскрыла рот, но не закричала, может, поняла, что бесполезно, - и рухнула, ударилась о болтающуюся дверь, и, не сделав ни единого движения, чтобы удержаться хоть за что-то, выскользнула из вертолета, долю секунды парила рядом с погибающим аппаратом с растопыренными руками, раскрытым безмолвным воплем ртом, потом улетела - сначала куда-то вверх, а затем, обогнав несчастную железную стрекозу, умчалась навстречу недалекой уже земле.

Лизавете почудилось, что в голове ее кто-то насмешливо произнес: «Счастлив, кто падает вниз головой: мир для него хоть на миг - а иной»

- Лизавета, сюда! - закричал отец. - Скорее!..

Он схватил ее и прижал к себе:

- Выдохни и не дыши!

Мать поняла его замысел мгновенно и обхватила ее сзади, прижалась к ней:

- Господи, помоги, помилуй!..

- Мама, мама!..

Лысый мужчина в дымчатых очках с трудом удерживал в руках парусящуюся газету с обманным названием «Надежда» и, шевеля губами, продолжал читать, наверное, передовицу. Аз, буки, веди, помилуй нас!..

- Мама! - удар и боль уничтожили все. Целую вечность не было ничего, потом родилась тишина, и кто-то опять прошептал: «…хоть на миг - а иной…»

«Да такой же точно, - подумала Лизавета, - просто люди привыкли путать мир и свет… Свет путают со светом, а мир с миром… Поди тут разберись…»

- Не надо записывать! – это совсем другой роман, его еще нужно написать! – опять прервал запись мужик без примет. – А все, что нас в этой истории касается – я сам расскажу…

Упрямый Старик отмахнулся от него, нажал кнопку, ведь по таймвизору читали роман, который он только собирался написать. Не каждый день такое случается, согласитесь.

- Может случиться временной коллапс! - настаивал на своем мужик без примет. – Это надо понимать!..

- Мы все понимаем, - урезонила его Старуха, - но нам просто интересно.

«Голова у нее закружилась, и она открыла глаза, - продолжил таймвизор. - Белые кафельные стены окружали ее, а у стен этих стояли стеклянные шкафы со всякой медицинской всячиной, и приборы с зелеными экранами и дрожащими нервными стрелками.

Среди этого нагромождения она с трудом нашла себя, забинтованную, распятую, такую же белую, как все вокруг. И только бабушка у изголовья ее кровати дремала на стуле, а на плечах у нее была накинута пестрая старенькая кофта.

«Плохи мои дела, - подумала Лизавета, - а мама, папа, что с ними?..» И она опять почувствовала чужое присутствие, тяжелое и холодное дыхание.

С тех пор это чувство то ослабевало, то усиливалось, но никогда не оставляло ее. И когда она узнала о могиле на загородном кладбище, и когда из старательных умолчаний вежливых докторов поняла, что отныне тело ее - руки, ноги - будут только придатком коляски с электрическим моторчиком, и когда бабушка по ночам плакала и жаловалась темной иконе на горькую судьбу, Лизавета знала: всю жизнь свою, а сколько ей осталось? - она будет прислушиваться к морозному дыханию у себя за плечами, будет, как стрелок, учитывающий силу ветра и вращение земли, делать поправки на эту темноту и холод.

Лизавета еще раз прикоснулась к зеленой кнопке, и электрический экипаж подкатил вплотную к подоконнику. Зеленый динозавр в пузатом глиняном горшке всем своим видом выражал соболезнование по поводу смерти кенара, но был смешон: на самой его макушке расцвел розовенький, нежный цветочек.

Лизавета грустно улыбнулась и сказала:

- Говорят, что такое бывает раз в сто лет. Поздравляю с цветением!..

Кактус всполошился: как же он сам не заметил, ведь чувствовал, чувствовал в последнее время легкие головокружения, волнующую приподнятость духа, но отнес все это на счет октября, прилипшего мокрыми листьями к тонкому стеклу окна.

- Осень, а ты расцвел, - сказала Лизавета.

Динозавр промолчал, углубленный во внутреннее созерцание цветения; таинство, что ни говори!

Лизавета посмотрела поверх розовенького цветочка - сразу за стеклом открывался прозрачный утренний простор. На высоте двенадцатого этажа взгляду не мешала влажная ржавчина крыш, перемешанная с опавшими листьями, ни далекие черные пальцы труб, указывающие с умирающей осенней земли в высокое небо, ни густые стаи птиц, собирающиеся в октябрьское бегство. Виден был весь город - промокший, замерзающий, и видны были пустые скучные поля за ним, и дороги с колеями, залитыми водой, и озера, затянутые хрупким растрескавшимся льдом, о который разбивают лбы затосковавшие до весны щуки, и снова жирные вспаханные поля, и леса с тощими затравленными волками, небритыми разбойниками с воспаленными от многолетнего сидения у костров глазами; и снова поля, а за ними другой город - темный, в который еще не добрался рассвет, а за этим городом море, где легкую волну рассекает старая моторная шхуна, шкипер которой уже не первую неделю ведет свой корабль на восток, - без устали, без сомнений, иногда только поднимая к глазам верный цейсовский бинокль, но что он может рассмотреть, кроме прохладного солнца, краешком задевшего за воду, и самыми первыми лучами высветившего на руке шкипера странную наколку «1-9-67-665 - 3 - и прямо…»

- Целая шифровка на руке! - произнесла осуждающе Лизавета, она не любила рекламу, украшения, клятвы.

- Сам терпеть не могу татуировки, - как будто далекой Лизавете ответил шкипер. - Но ничего поделать не могу, эта - семейная, от отца к сыну передается. И у деда моего такая была, и мне накололи в детстве… Какая-то семейная тайна…

- Бабушка! - закричала Лизавета. - Милая!..

- Я здесь, - ответила бабушка, неслышно войдя в комнату. Она давно научилась все делать тихо, даже посуду старалась мыть так, чтобы не звякнули ненароком ни ложка, ни вилка, ни чашка. Со дня гибели дочери и зятя, царство им небесное, она стерегла тишину, никакие посторонние звуки, считала она, не должны беспокоить Лизавету. Поначалу так насоветовали врачи, а потом, когда медицинский запрет на шум был снят, ей самой стало казаться, что в этом доме нельзя беспокоить не только внучку, но и молчаливые безутешные тени, и, не дай Бог, не расслышать что-то важное, что может прошелестеть в этой тишине.

- Господи, вот несчастье! - сказала бабушка, накрыв клетку с кенаром кашемировым платком.

- Платок твой в клетку, и клетка тоже в клетку, - сказала Лизавета.

- Да, - сказала бабушка, - не везет нам…

- Скажи, бабушка, ты далеко видишь?..

- Далеко?..

- Именно…

Вопрос заинтересовал почему-то и домового, он высунулся наполовину из-за книжного шкафа с томом «Испанской поэзии в русских переводах» в руках, прислушался.

Бабушка помолчала и ответила:

- Без очков далеко… А если слезы навернутся на глаза, то как в подзорную трубу смотрю…

- И я далеко, - сказала Лизавета. - Но не плачу…

- Ты поплачь все-таки…

- И еще скажи: ты в жизни все помнишь?..

- Все?..

- Ну да, с самого своего рождения?

- С самого рождения никто не помнит…

- А до своего рождения?..

Домовой отложил испанскую поэзию, покачал головой: разве годится человеку заглядывать за пределы своей жизни, разве это приводит к добру?.. Может, не случайно так встревожены те, кто боятся света?..

Бабушка надолго замолчала, может быть, вспоминала то, что было до ее рождения, а может то, что будет после ее смерти?..

Динозавр на подоконнике неслышно хмыкнул: тоже загадка бытия - каждый кактус помнит день за днем все сто двенадцать миллионов триста пятьдесят тысяч лет всеобщей кактусовой истории. Каждый кактус - это гордая частица единого целого, и никогда не забудет, что его предки не уступали дороги даже бронированным ящерам своей эпохи, были в родстве с ними. Но те вымерли, а кактусы, должно быть, вечны…

- Иногда мне как будто снится, - произнесла, наконец, бабушка, - что я жила и двести лет назад, и тысячу… Однажды собиралась картошку поджарить, да что-то закрутилась, спичку зажгла и головой по сторонам кручу, ищу чего-то… А что ищу?.. Спичка мне пальцы обожгла, а меня будто всю обожгло - я поняла, что искала камин, озиралась… А я ведь камин только в кино видела. И еще рука потянулась за каминными щипцами, такими черными, тонкими… Я помню, что концы их были выкованы в виде когтистых лап какой-то птицы.

- Помнишь? - вставила слово Лизавета.

- Да нет, нет, - смешалась бабушка. - Просто померещилось…

- А лапы у этой неведомой птицы были пятипалые, - подсказала Лизавета, - и часто промозглыми осенними вечерами у камина разгорались споры нешуточные: кто говорил,

что это когти орлана, кто утверждал, что птицы-секретаря, а старый Фома готов был поспорить, что на земле не существует пятипалых птиц, - и спорил, и выигрывал пари, потому, что, действительно, таких птиц нет…

- Ты не можешь ничего этого знать! - перебила ее ошарашенная бабушка. - Людям не снятся одинаковые сны!..

- Это не сон…

- Что же?

- Просто память…

Домовой кивнул, почесал затылок: он знал, конечно, чьи когтистые пятипалые лапы имел в виду кузнец, изготовивший каминные щипцы, он знал кое-что и о фокусах памяти… Но разве могут быть доступны эти секреты беззащитной, парализованной девочке?..

- Не понимаю, ничего не понимаю, - задумчиво произнесла бабушка.

- Я - тоже, - честно призналась внучка. - А может и не нужно ничего расшифровывать, все разгаданное-то - скучно?..

Бабушка кивнула и отправилась на кухню – что-то там начало пригорать, а Лизавета осенила себя крестом и направила коляску к выходной двери. Где-то за стеной заворчал лифт. Она оглянулась: домовой дремал в кожаном, потертом, как комиссарская куртка, кресле, кактус тянул к ней свои зеленые лапы. Лизавета вернулась в свою комнату, на листе бумаги написала размашисто, торопясь, чтобы не передумать: «Прости, родная! Я уезжаю… Не печалься, не плачь. Целую, Лизавета».

Она открыла дверь и направила коляску к лифту, двери его, как будто ждали девочку, распахнулись: вперед, вперед, без оглядки и сожалений!.. «Мы устроили себе мир…» Разве мы?..»

- Вторую главу мы будем передавать завтра в это же время, не забудьте включить таймвизор, - сказал диктор без примет.

Старик выключил диктофон, перемотал пленку, послушал: «…Каждый кактус - это гордая частица единого целого, и никогда не забудет, что его предки не уступали дороги даже бронированным ящерам…»

- Чего ты хотел сказать? Говори! – обратилась Старуха к мужику без примет. – Обязательно мешать людям?..

- Так это же я, я! – закричал он. – Это обо мне написано… Вот, смотрите!..

И он развернул сверток, который принес с собой. В нем было что-то сребристое, шуршащее, чешуйчатое…

- Все-таки выпросил у бича скафандр! – сказала Старуха.

- Так это не скафандр – кожа моя!..

- Кожа?! – спросили все одновременно.

- Ну, да – я тот самый кактус, который расцвел…

- Кактус?..

«Мои предки, благородные мексиканские кактусы - **Opuntia compressa** – попали в эти места триста миллионов лет назад, когда не было еще ни Америк, ни Африк, а был единый огромный материк, а вокруг него плескался праокеан, горячий, как неостывший компот, - начал он. - В глубинах океана и недрах земли водились ужасные твари – плавающие, летающие, прыгающие, изрыгающие пламя – они истребляли друг друга, все живое вокруг себя. Особую неприязнь и одновременно любовь (как-никак, деликатесы) у них вызывали почему-то кактусы, их дальние, в общем-то, родственники. Эта ненависть возникла, возможно, из-за их независимого характера, неуживчивости, непомерной гордыни за свою древнюю историю. Кактусы на протяжении тысячелетий защищались колючками, шипами, но со временем это становилось все труднее и труднее. Динозавры ступили на путь эволюции, изощреннее стали их методы уничтожения кактусов. Подумать только, миллионы моих предков стали жертвами необузданного аппетита этих кровожадных монстров!.. Динозавры даже создали фермы по выращиванию кактусов!.. Вспоминаешь, и колючки встают дыбом, как на грядках – в рабстве и обреченности – выращивались бесправные, немощные, но гордые духом кактусы!.. Первая цивилизация динозавров продержалась десять тысяч лет, пока не пала под напором мощной культуры шмелей, которая потом издевалась над Землей тридцать тысяч лет, пока ее не сменила жестокая цивилизация снежных людей, обладавших свойством оставлять вокруг себя ледяную пустыню, - и вот под напором лютых холодов мои предки стали отступать на север, обретая все более прочную броню, разящие колючки, развивая интеллектуальную мощь нации… Вторая и третья цивилизации динозавров были быстротечными – по восемь тысяч лет; эти хозяева Земли были лояльны по отношению к моим предкам, но любви друг к другу мы все-таки никогда не испытывали… Ну, четвертая цивилизация ящеров – это уже новое время, когда они понадеялись, что смогут существовать на этой планете бок о бок с человеком, поверили в это… В итоге они превратились в изгоев – драконов, многие из них стали ручными, как домашние собаки, стремительно стали терять самобытность, национальную идентификацию, да что там – им грозит полная деградация… А мы, кактусы, развивались иначе, полагаясь и на прихоть эволюции, и на полученные за тысячелетия знания… Любовь к размышлениям, природная неспешность давала свои, не всегда заметные стороннему взгляду, преимущества. Нам удалось выжить, совместив и революционный и эволюционный опыты развития.

Так что, не удивляйтесь, если на смену человечеству и драконам придет цивилизация кактусов…

Но как часто в наставшие времена наши преимущества оборачиваются поражениями, наш зеленый покой и спокойная созерцательность выглядят скудоумием, стройные логические построения рушатся от одного единого слова, да чего там слова – от мимолетного взгляда.

В последние два столетия моим предкам и мне пришлось выполнять различные государственные миссии, нередко деликатного свойства, и мне прочили блестящее будущее на дипломатическом даже поприще. К тому времени, когда я впервые увидел Лизавету, я уже находился на подоконнике столичной квартиры консула одного серьезного государства, и вот-вот мы должны были переехать в Париж… Но судьба распорядилась иначе: в гости к консулу пришли родители Лизаветы и привели дочь с собой. Ей было тогда года три, и две смешные косички, отдаленно похожие на кактусовые колючки, украшали ее голову. Взрослые принялись произносить слова, улыбаться, пить вино из неудобных бокалов, а Лизавета стала бродить по консульской квартире,

рассматривать статуэтки, фотографии в рамочках – и статуэтки, и фотографии были пожелтевшими, жизнь их покинула давно. И тут Лизавета заметила меня. Мне не забыть это мгновение! Как будто не взглядом коснулась она меня, а отметила невидимой волшебной палочкой. Я полюбил ее в ту самую минуту, вернее, я любил ее всегда - мне сейчас это только открылось. Не знаю, почему, не ведаю зачем произошло это со мной: она только посмотрела на меня, и я вспомнил, что навеки принадлежу ей, буду служить только ей, стану боготворить только ее.

Она подошла к окну, легко прикоснулась к моей пылающей любовью голове, произнесла:

- Какой красивый! Похож на зеленого ежика, но не колючий совсем…

Я подумал тогда: «Хочу, чтобы меня подарили ей!!!». И так сильно я этого захотел, что консул подарил очаровательной девочке горшок с кактусом, не без сожаления.

И я поселился в ее комнате. Это было самое счастливое время в моей жизни. Она часто разговаривала со мной, обычно по утрам, когда ей приходилось есть кашу или даже яичницу. Она сетовала: «Вот тебе не нужно поглощать эту противную манку, как я тебе завидую! Наверное, чудесно жить на подоконнике, ты первым встречаешь солнце…». Она рано научилась грамоте и стала читать мне вслух всякие замечательные книжки; я только беспокоился, что чтение ее совершенно бессистемно – жуткая мешанина из сказок, женских романов, героических приключений с самого детства поселилась в ее голове. А когда стала подрастать, туда добавились Монтень, Ларошфуко, Ницше, Федоров с его «Философией общего дела» - все, что попадалось на глаза у друзей, одноклассников, в скудных городских библиотеках…

В ее комнате жил и старый домовой, когда-то слывший хорошим собеседником, не злой, немало повидавший на веку, и вот он и смутил мою душу.

- Я понимаю, что она значит для тебя, - говорил он мне. – Стоит ей войти, как ты преображаешься, ты готов превратиться ради нее в бессмысленную розу, тепличный гладиолус, засахаренную гвоздику… Она приходит – ты живешь, она за дверь – ты умираешь…

Что я мог сказать ему?

- Ей уже почти пятнадцать лет, она взрослеет на глазах, - продолжал он. _ Через пару лет закончит школу и уедет за тридевять земель – в университет, замуж – куда угодно… Уедет и оставит тебя на этом подоконнике, может, только польет на прощание – нет, не слезами, не надейся…

Я молчал, но сердце мое разрывалось.

- Я могу тебе помочь! – сказал он как-то. – Если это можно назвать помощью, а не погибелью… Дорога, которую могу тебе предложить – не для сомневающихся… И только в одну сторону…

- Говори! – закричал я. – Говори, я на все пойду, чтобы не оставаться на подоконнике…

- Все очень просто, - сказал домовой. – Для того, чтобы не остаться на подоконнике, нужно перестать быть кактусом…

Поначалу я оскорбился. Он предлагает мне отречься от древнейшей культуры кактусов! Как он смеет?..

…А спустя день разбился вертолет, и у Лизаветы не стало ни матери, ни отца. Как казнился домовой, что не смог уберечь дорогую семью, как тяжело вздыхал он в своем кресле, как всхлипывал по ночам, что разговор этот как бы сам собой завершился тогда. Но не забылся…

Уже не помню, когда в доме появился кенар, желтый, как тоска. Помню только, что за всю свою жизнь он не нащелкал ни единой радостной, бодрой ноты. Он пел о любви, разлуке, горестях, но Лизавета его любила, и мы с домовым тоже старались его не обижать… Но он умер… Что-то тяжелое, мрачное было в воздухе несчастного лизаветина дома…

Тогда Лизавета уехала… Нажала на кнопку кресла, оно выкатилось из квартиры, из дома… И девочка пропала. Где она?.. Жива ли?..

Я не сразу осознал, что произошло. И только когда навзрыд зарыдала бабушка, когда принялась звонить в милицию-полицию, даже в бюро находок и пожарное депо, даже на таможню и пограничные заставы, я осознал, что ее больше нет в этом доме, и, может быть, она никогда не вернется сюда. И тогда я вспомнил наш разговор с домовым.

- Помнишь? – сказал я ему. – О кактусах и некактусах?..

- Конечно, - сказал он. – Ближайшие родственники опунций – динозавры, это прекрасно известно. Не буду пускаться в долгие объяснения, скажу только, что могу превратить тебя в одного из них… Это называется несколько иначе, но сложный научный термин тебе ни к чему, а суть такова, что ты станешь динозавром – велоцираптором… Это хищник с огромными когтями, безжалостный и кровожадный… Кактусом снова ты никогда стать не сможешь…

Не скажу, что это прозвучало для меня совершенно неожиданно; что-то такое я предполагал. Домовые – большие мастера на подобные штуки. Но, когда я представил себе, что придется на всю жизнь влезть в чужую шкуру, то отчаянье охватило меня. Но я справился с ним. Любовь сильнее отчаянья, и ради нее можно стать велоцираптором.

- Я согласен! – мое решение было непоколебимым. Обретя ноги, я смогу разыскать Лизавету, а, получив ужасную силу и устрашающие когти, я буду защищать ее от всех врагов.

Не простым оказалось мое превращение в динозавра, только в сказках все разрешается мгновенно – поцеловал ее, а она возьми и проснись, откусил от молодильного яблочка, и черные кудри поперли там, где лысина незапятнанная сияла, пустил стрелу в болото, а там царевна уже дожидается, - в жизни чудеса свершаются трудно. Домовой укутал меня каким-то коконом, в котором я пребывал без движения две недели. Хорошо, что кактусам не привыкать к такому положению. Я размышлял о любви и чувствовал, как накапливается энергия будущего движения, наливаются мощью еще отсутствующие мышцы, готовы высекать искры стальные когти.

Наконец, кокон опал, и я увидел себя в зеркало. Нет, не зря боялись велоцираптора семидесятитонные травоядные ящеры. Малиновым злобным огнем пылали мои глаза, пасть была усыпана устрашающими зубами, все трехметровое тело было создано для агрессии. Атака и победа – такова была суть этого существа. И, знаете, внезапно оно мне понравилось. Сила была на его стороне, казалось, что и правда тоже… Я сделал шаг, и

задрожала земля под ногами, откашлялся – и пронесся могучий рык. И внезапно ко мне пришел небывалый аппетит; я еще не знал, что теперь постоянно мне придется бороться с ужасающим голодом, смирять себя, сжимать в кулак волю, а по ночам мне будет сниться охота на огромных пожирателей растений, трусливых диплодоков, бронтозавров и стегозавров.

- Хорош, нечего сказать! – напутствовал меня домовой, и добавил фразу, суть которой я понял не сразу:

- А я остаюсь здесь… Заходи, если понадоблюсь…

И я отправился в путь.

Даже представить себе я не мог, как страшно динозаврам на земле. Опасности поджидали меня буквально на каждом шагу. Не успел я выйти из дома, как на меня налетела злобная старуха:

- Шляются тут панки всякие, весь лифт похабщиной разрисовали!..

- Я и рисовать-то не умею, - попробовал оправдаться я, но она раскричалась еще сильнее:

- Конечно, не умеешь! Если бы умел, то не в лифте бы мазней занимался, а в Эрмитаже на стенке висел бы…

- Вы ошибаетесь, - переубеждал я ее. Но она была неумолима:

- Ты посмотри на себя, урод уродом! Взяли моду башку красить, как бабы! Да ты на Змея-Горыныча похож, точно… Змей вылитый! Сейчас милицию вызову, лучше убирайся отсюда!..

- Так я ничего плохого не сделал, я девушку одну ищу!..

Она накрепко вцепилась в мою руку:

- Ага! Девушку он ищет! Представляю ту девушку, которая с тобой пойдет!.. Сейчас милицию вызову!..

Так хотелось разорвать ее в клочья, но боевого опыта у меня не было никакого, да и не хотелось с этого начинать поиски Лизаветы. Я дождался момента, когда старуха немного ослабила хватку, вырвался и пустился наутек.

- Помогите! Убивают! – закричала она мне вслед. Хорошо, что сейчас на этот крик люди почти не реагируют, и мне удалось благополучно скрыться.

Я оказался среди огромных металлических ящиков, заполненных всякой всячиной. В этой всячине копались мужчины и женщины.

- Эй, ты! – окликнула меня одна из женщин.

- Вы меня? – спросил я.

- Кого же еще, чучело! – сказала она. – Ты ведь из помойки второго жилгородка?.. Забыл, что сегодня понедельник – лучший день недели?.. Мусорные баки полны, как закрома родины, а вчера еще и праздник был – не помню какой, но всенародный… Так тут такого

навыбрасовали!.. А Кулема, придурок, свалил отсюда, кажись, разбогател – поэтому можешь вставать с этого края, заодно и мне поможешь коробку вытащить…

- Конечно, помогу, - сказал я, - но вставать с этого края мне не нужно, я девушку ищу – Лизавету… Не видели, на кресле-каталке с моторчиком…электрическим?

- Попадаются в мусоре и девушки, - сказала женщина, - но пока без моторчика.

И представилась:

- Я – Ксения… Она отбросила с глаз рыжую прядку, поправила на голове серый кашемировый платок, стала знакомить с другими бездомными:

- Глеб!.. Лидия! А это Петр – Пятый… Мусором стал промышлять еще его прадед… А это Сидор Павлович, это Паша, Глаша и Саша… Вон тот самый высокий – Гулливер – имя самое настоящее, так назвали его родители, теперь они живут в Англии…

Так я познакомился с помойными людьми, самобытным народом обитающими у мусорных баков, на свалках, около продуктовых складов, на заброшенных стройках, у руин старых заводов. Я узнал, что помойные люди делятся на несколько кланов; мои новые знакомцы называли себя бичами. БИЧ – бывший интеллигентный человек. Бичи отличаются миролюбием, высоким уровнем знаний, тягой к устройству хоть какого-то жилья. Хотя далеко не каждому из них удается заполучить кров над головой. Они довольно коммуникабельны, спустя некоторое время я узнал, что у них издаются несколько газет, литературный журнал, регулярно выходят в эфир передачи телевизионной станции **«Freedoom»** - бичи очень просили не путать с **«Freedom»**.

- Все-таки подсоби с коробкой, - попросила Ксения. - Чего-то тяжелое выбросили, буржуины…

Я с готовностью помог привлекательной женщине, но даже вдвоем мы не без труда выволокли из бака большую картонную коробку. Открыли ее, а в ней груда книг в солидных коленкоровых обложках, тисненными золотом именами авторов этих трудов: Сталин, Ленин, Маркс, Энгельс…

- Книжки-то совсем, не читанные! Просто новехенькие! – обрадовалась Ксения. – Букинисты за них хорошие денежки могут дать…

Она взяла в руки один том:

- Даже страницы не разрезанные… Вот это да! А год издания пятьдесят второй!.. Это же раритет! Нет, не случайно мне сегодня приснились молочные сосиски!..

У Ксении была небольшая тачка, мы погрузили книги в нее и отправились в букинистический магазин. По дороге я рассказал ей о Лизавете, о том, что должен разыскать девушку.

- Сам-то ты кем ей приходишься? – спросила Ксения.

Я отшутился:

- Кактусом…

Ксения улыбнулась:

- Понятно, седьмая вода на киселе. Но не хмурься – родство не по крови считается, по душе. Давно это надо знать…

Пока мы добрались до букиниста, Ксения вспомнила, что если кто-то и сможет помочь мне, так это Слепой – он все знает, все видит, ничего от него скрыться не может.

- Слепой все видит? – спросил я.

- Конечно! – ответила она. – Из книжного магазина отправимся к нему…

Букинист, еще крепкий мужик со значком БГТО на лацкане затертого пиджака (Будь готов к труду и обороне), встретил нас радушно:

- Рад, рад, что не забываете старого книголюба. Народ опять потянулся к вечным ценностям, может быть, в последний раз…

- Предвидите очередное крушение цивилизации? – спросил я у него.

- Вы знаете, что в Антарктиде происходит? – ответил он вопросом на вопрос – А на мировых ледниках?.. А в атмосфере?..

- В общих чертах, - сказал я.

- Вот так мы и профукаем цивилизацию, потому, что обо всем знаем только в общих чертах… Человечество поразит не птичий грипп, а уже накрыла куриная слепота, - набросился он на меня. – Ничего вокруг себя не замечаем, и не хотим замечать…Волнуются океаны, ходуном ходит земля под ногами, дышать все труднее, а мы обсуждаем длину юбок, цвет губной помады, составляем списки миллиардеров!..

- Я никаких списков не составляю, - сказал я. – Мы Сталина привезли…

- Кого?.. Может, и Ленина заодно? – кое-как переключился он на книги.

- И даже Энгельса…, и даже дорогого чьему-то сердцу Кржижановского, и даже самого Бонч-Бруевича…

Мы вывалили ему под ноги все найденное в мусорном баке богатство. Он взмахнул руками, тяжело вздохнул, сказал неожиданно тихо:

- Денег за эти книжки не дам, не могу… Не обижайтесь… Это литература из разряда вечной, она не продается и не покупается. Если бы нашелся человек, который разведал бы – что там внутри этих толстенных томов, и нам рассказал бы, посоветовал, может, и мы бы втянулись… Вдруг, там интереснее Робинзона?.. Ан нет, сколько мне не приносили этих лениных и сталиных – страницы во всех склеены… А они ведь старались, писали. Нет, все-таки неблагодарный читатель пошел… Так что, сочувствую, но денег за них не получите… Хотите медаль дам – «За доблестный труд»? Мне аж одиннадцать штук их принесли… Загоните, на бутылку хватит…

Мы взяли медаль, и пошли к Слепому. Он жил в старой сапожной будке. Это было роскошное жилье, потому, что застекленная дверь будки выходила на главную улицу города, которая поочередно называлась Советской, Сталинской, Ленинской, а в самом начале Большой Михайловской. Будка в свое время была поставлена на самом выгодном месте – из нее было видно все, что делается в городе. Вот идет околоточный - «добро пожаловать, набоечки на подметки поставим неизносимые». Аптекарь тоже не пройдет

мимо, как и учитель, как и господа инженер, есаул… Из атаманского дома тоже принесли узел башмаков…

Будку держал дядя Гора, так его называли по-русски - чернобровый ассириец, отец большого семейства. Он крепко вколачивал гвозди, тачал сапоги со звонкими вечными подошвами, а модельные туфельки его работы носили даже генеральские дочки. Но потом дочки убежали в Париж, а генерал сгинул где-то в отступлении, говорили, что как раз где-то в Ассирии, родине Горы. Пропали куда-то господа есаул, инженер, да и аптекарь тоже… Оставшиеся башмаков не чистили, а новые заказывать им было не на что. А потом грянула и борьба с частной собственностью, и Гору из будки выгнали. Она долго пустовала, а потом в ней открыли торговлю газетами, описывающими счастливую жизнь. Видимо газетная торговля не приносила большого дохода, потому, что вскоре будку опять забросили, а газеты принялись продавать вразнос. Долго пустовало замечательное сооружение, его присматривали для себя даже постовые милиционеры, но, попав в будку, они тотчас теряли бдительность и засыпали богатырским сном. Несколько лет будка пустовала, время от времени местные начальники собирались снести ее, торчащую в самом центре города, но руки у них так и не дошли, и постепенно она то ли примелькалась, то ли стала местной достопримечательностью. А несколько лет назад в ней поселился Слепой, открыв какой-то непонятный кооператив с вывеской «Не проходите мимо» - и все тут же стали проходить мимо, не замечая приглашения – так уж повелось в нашей жизни. Будка словно исчезла под этой вывеской, как под шапкой невидимкой. Она стала идеальным местом для обитания.

- Вот если бы я написал «Не входить!» - народ пошел бы ко мне валом, - говорил Слепой. – Бес противоречия смущает наш дух…

Днем Слепой занимался кооперативными делами, вечерами к нему приходили друзья; у него было много друзей, потому, что он их любил. В тесной будке всем было просторно, друзья читали стихи, пели песни под гитару; они были поэтами, музыкантами, художниками, но пока не признанными. Признанные брезговали ходить в сапожную будку, но в будке от этого ничуть не унывали.

Вообще-то Слепого звали иначе, а это прозвище, как ни странно, он получил за свою зоркость, за то, что всегда был в курсе множества событий. Если весной на Урале начинался ледоход, он знал об этом уже тогда, когда первая льдина со скрежетом и треском вставала на реке дыбом; если первые пестрые кузнечики появлялись в траве, он уже знал – в степи наступает страшный итальянский прус; если еще затемно полетели по главной улице черные машины, он говорил уверенно, что скоро случится денежная реформа… Он знал, что город дал приют тринадцати тысячам проституток и семидесяти трем тысячам шлюх, для него не было секретом, что пулеметов и автоматов в городе больше, чем швейных машинок, не могло укрыться от него и то, что все больше в городе становится асфальта и все меньше травы… Он знал многие тайны народа, который живет на крышах, понятны ему были и чаянья помойных людей, ему приходилось мирить враждующие группировки людей подземелий… В этом городе для него не было тайн. Однажды хорошо известный на помойке второго жилгородка поэт Верзила (рост – 199 сантиметров) сказал:

- Ты, наверное, будь даже слепым, знал бы все обо всем!..

- Ха-ха, Слепой, нашел Слепого! – засмеялись друзья, и, может быть, именно тогда и прилипло к нему это прозвище.

Ксения представила меня ему, он крепко пожал руку, и словно извиняясь, сказал:

- Такая жизнь, что слепец должен видеть лучше зрячего, глухой слышать, как кошка, хромой бегать быстрее олимпийского чемпиона. Все время нам надо больше, чем надо…

- Наслышан, наслышан о вашем деле, - продолжил он. – И скажу сразу, что нелегко будет найти Лизавету… Нелегко… Ох, как трудно… Потому, что двигает ее кресло-каталку не слабенький электрический моторчик, а мощная сила. Я заглянул в глаза Лизаветы, когда она завернула на минутку в мою будку…

- Так она была здесь**?** – закричал я.

- … в мою будку, и увидел: в бездонной глубине этих глаз полыхают такие страсти, такие молнии озаряют это пространство, что мне стало не по себе.

- Куда же она направилась**?** – опять закричал я.

- Она ищет короткую дорогу к счастью…

- На юг или на север отправилась она**?**..

Он засмеялся и сказал непонятно:

- Если сначала пойдешь на юг, то потом тебе выпадет дорога на север… Торопись, ей понадобится помощь.

Он помолчал с минуту, потом сказал:

- Приметный ты очень, тебе бы переодеться… Да, ты стихи сочиняешь**?**..

- Нет, - поразился я вопросу.

- А вот Лизавета их любит… Попробуй и ты сочинять…

- Попробую, - сказал я. – Научусь.

И подумал, что ради нее и не этому могу научиться…

Мы с Ксенией вручили слепому медаль, и я отправился на юг. Но тяжело мне было угнаться за проворным креслом. Его видели то в Алма-Ате, то в Ташкенте, то проходил слух, что она была замечена на берегу озера Иссык-Куль… Пока я добирался до славного озера, Лизавета оказывалась в городе Риддере, где горы вокруг источены шахтами и в них сидят мечтатели-шахтеры, верующие, что все главные сокровища находятся под землей, - я всюду опаздывал на одну секунду, на один вздох, на один шаг. Тяжелая поступь велоцираптора не могла сравниться с легким полетом лизаветиного экипажа. Да и многие люди, увидев меня, или бросались врассыпную, или хватались за сабли, мечи, пулеметы, что тоже порядком мешало мне. Иногда неделями приходилось отлеживаться где-нибудь в пещерах, зализывая колотые, рубленые, огнестрельные раны.

Однажды в одной из колхозных гостиниц Восточного Казахстана, где я остановился на ночлег, мне на глаза попалось огромное желтое зеркало, старинное, как золото, в тяжелой раме. Поверхность зеркала была поцарапана, местами затерта, отражение в нем напоминало столетнюю фотографию, заглядывать в него было страшно, как в прошлое – вдруг оно совсем не такое, каким мы его помним**?** Но я заглянул, и через мутное стекло рассмотрел сам себя. Конечно, и прежде я видел свое отражение – и не раз, но это

зеркало, наверное, было волшебным, оно не просто отражало, оно – показывало. Несчастный, усталый, растрепанный динозавр смотрел на меня из глубины стекла. И самое главное - в зеркале это было видно яснее всего – велоцираптор не верил в то, что он сумеет найти Лизавету, вернуть ее в родной город, родной дом. Как часто нас ведет за собой желание, и мы его ошибочно принимаем за веру.

И еще: за долгое время скитаний и поисков я не обзавелся друзьями, а что мы стоим без опоры на этой земле? И не потому, что я не хотел или сторонился дружбы, или был привередлив, или замкнут и нелюдим; не хватало мне легкости, скорости, поэтической бесшабашинки… Люди не тянулись ко мне…Я, вдруг, понял, почему Слепой спросил меня о стихах…Я попытался сложить хотя бы одну строчку, но выходило коряво: «Лизавета, я люблю тебя за это…» За что?..

И тогда же я вспомнил слова домового, не сразу мною понятые: «Заходи, если понадоблюсь…» Крадучись пробрался я к дому, где прожил я вполне счастливо много лет. Домовой как будто ждал меня:

- Могу предложить тебе драконье обличье, все-таки оно привычнее людям… Сбрасывай свою кожу…

Так я стал драконом… И опять выпало на мою долю скитаний, поисков сверх меры… Впрочем, о некоторых из них вы уже сегодня слышали…»

- Так это ты? – прервала его рассказ Старуха. – Дракон…

- Точно, точно! – вскричал Заскорузлый-Ботаник. – Как я искал тебя, а ты сумел принять и человечье обличье!..

- За мной столько охотились, что пришлось еще раз обращаться к домовому, - сказал грустно дракон, - чтобы он сделал меня человеком, но самым неприметным, самым обыкновенным, чтобы в меня больше не целились, не ставили на меня силки и капканы, чтобы не продавали меня, и не запирали в деревянные ящики и клетки…

- Ну, на человека, даже и неприметного тоже охотятся изрядно, - произнесла Старуха.

- Могу подтвердить, - сказал фиолетовый и потрогал с нежностью цевье винтовки.

- Дракон стал человеком! – присоединил к ним свой голос Старик. – Такой сюжет не мог придумать даже я…

В это время дверь в квартиру приоткрылась и в проеме показалась всклокоченная голова. Голова тут же представилась:

- Кулема, бывший интеллигентный человек…

И он обратился к Старику:

- Простите, я услышал невольно последнюю фразу, и, рискуя быть бестактным, хочу сказать, что вот я совсем не прочь стать драконом… Совсем не прочь… Он повернулся с мужику без примет:

- Отдайте мне свою кожу?.. Она же вам больше не нужна… Я примерю ее…

Дракон растерялся, но протянул чешуйчатое и переливчатое одеяние Кулеме, сказал неуверенно:

- Но ведь домовой говорил, что обратного пути не будет…, что это дорога в одну сторону…

- Ну, да, - сказал Кулема, - конечно, тебе в одну, а мне совсем в другую сторону… Надоело мне быть человеком, да и все опаснее становится в этой шкуре человечьей…

Он свернул драконью кожу, Старуха протянула ему стакан вина, он выпил, стал прощаться:

- Мне пора… Спасибо за все… Мне еще домового найти надо…

У двери остановился:

- Чуть не забыл спросить, девочка-то нашлась**?**.. Лизавета, про которую в телевизоре том странном, который я на помойке нашел, рассказывают…

- Пока не нашлась, - сказал мужик без примет, - но буду искать, буду искать… Бабушка все глаза проглядела, проплакала…

- Знаете что, - сказал Старик Кулеме, - забирайте свой телевизор из будущего. Он вам пригодится в вашем драконьем настоящем. А свой роман я сам напишу… А что касается девочки, то верю, что она не пропадет…

- Как знаете, - немного обиженно сказал будущий дракон, и взял телевизор. – Домовому подарю, чтобы не скучал…

Он вышел за дверь, и все притихли.

- Да, - сказала Старуха, - чего только не случается…

- Сто дорог, но по какой не пойди – выйдешь к самому себе, - поддержал разговор фиолетовый.

- Я одного не понял, - спросил Старик, - на брезенте, что у речки Брожки был расстелен, девушка записывала рассказы – помните**?**..

- Помним, - сказал Ботаник. – Отчего не помнить. Недавно я встретил ее в магазине, в очереди за дешевой картошкой стояла. Теперь ее величают Антонидой Петровной…

- Антонида**?**.. Тонька**?** – внезапно охрип голос у Старика

- Тонька**?** – тоже удивилась Старуха. – Кабета**?**..

- Она никогда ничего мне не рассказывала…

- Так, где она живет**?** – спросила Старуха…

- В доме, возле которого ты чуть меня не убила, - откликнулся

Старик

Каракулевая Дамка тоже подала голос, и все стали собираться.

- Наверное, пришла пора рассчитываться с долгами, - произнесла раздумчиво Старуха. - Вову и Леву я уже сегодня видела… Теперь к кабете пойду… Может, она еще и простит меня?..

Кампания вышла на улицу, стали прощаться. Старуха попыталась завести свою машину, но та не поддалась, осталась на месте.

- Тогда я пешком! – сказала Старуха. – Пока!.. Прощайте…

Старик, мужик без примет, фиолетовый и заскорузлый, не торопясь, пошагали в другую сторону.

- Светает, наконец, - показал заскорузлый рукой в сторону бледного рассвета.

- Светает, только никак не рассветет, - сказал мужик без примет.

- Теперь все будет иначе, - произнес фиолетовый. – Жалко, что винтовку оставил в кочегарке… может, завернем?..

Все посмотрели на него, как на киллера, но все-таки завернули. А потом пошли на вокзал и сели в поезд.

- Куда? – спросил Старик.

- Не все ли равно, ведь сегодня вторник, - ответил ему мужик без примет.

И потянулась за вагонными окнами февральская холодная равнина, мокрая и желтая, и бесконечная. И показалось, что поезд ходит по кругу, все время возвращаясь к одному и тому же месту, и ничего не менялось за окном - то буксовал у самых рельсов в вязкой желтой глине обшарпанный грузовик, то проплывало мимо понурое степное дерево - и опять буксовал грузовик…

Что поделать, вторник на дворе…

2007-08, 13 января.

День любви

Что-то человеческое, жуткое есть в железных дорогах. Рельсы, сцепившись друг с другом шпалами, никогда не сходятся вместе, но и разойтись не могут - так и тянутся вместе через бесчисленные километры, вынужденные повторять друг за другом каждый поворот. Тоска. Но еще тошнее, что дороги не могут без кривых, залитых дождями, полустанков, без унылых пустынных деревень, без заплеванных, издерганных городов. Дороги так и норовят прилепиться к вокзалам, в которых напряженно сидят железнодорожные скитальцы, ожидающие сигнала тащить свои мешки и торбы в зеленые тряские вагоны и рассказывать осовелым пассажирам свои бесконечные жизни, набитые женами, болезнями и неблагодарными детьми.

Железные дороги - свалки слов. Исповедальными миазмами отравлен воздух, этот яд крепче спирта, от него не протрезвишься, он союзник железнодорожного ига - не надейся избавиться от него. Рельсы намагничены, притягивают души; кислый дух бродяжничества сильнее любви, слаще водки - в вагонах таскаются по свету многодетные, бесконечно жующие семьи, гнилозубые холостяки, просветленные онанизмом, загадочные курящие женщины - желтые и грустные, как использованные горчичники, прыщавые солдаты, пьющие без закуски, некрупные начальники, соль земли нашей - все, все, все.

А кто сегодня не едет, тот под ватным одеялом, придавленный рыхлой ляжкой подруги, слушает далекие паровозные гудки и знает: завтра его очередь…

А машинисты паровозов, вглядываясь в несущееся навстречу двуединство рельсов, ненавидят кажущуюся бесконечность стального полотна, она представляется им хитрой тюрьмой, из которой ни им самим, ни локомотивам выхода нет.

В душе я был согласен с машинистами, в сущности любая железная дорога только соединяет два тупика; близки мне были и их размышления о безысходности, но вслух этого мне произнести не удавалось, для этого пришлось бы пересилить разговор о любви, да и вино бы выдохлось в пиалах, дребезжащих на пластиковом столике в купе.

-…вот я и врезал этой бляди промеж глаз, а она хохочет - живучие они, как кошки, - вел рассказ заскорузлый какой-то мужик, с заскорузлым, как пятка, лицом, с ржавой бородой.

- Случай был, баба из самолета выпала, - перебил его другой, фиолетовый от бормотухи.
- Высота - жуть, километров тридцать!..

- Не баба, а летчик выпал, - поправил его третий, мужик без всяких примет. - а у него парашют был, но он не раскрылся… За подвиг ему орден дали и сто тыщ…

- Так он уцелел? - спросил я.

- Само собой, для этого запасной парашют имелся…

- А самолет?

- Какой самолет?

- Из которого он выпал…

- Американцы его поймали специальной сеткой, секретный был самолет. Теперь не отдают, гады.

- Наши самолеты самые быстрые…

- А получка самая медленная, - сказал заскорузлый. - Ждешь ее, ждешь…

- Зато быстро кончается, - добавил мужик без примет.

- За эту скорость надо выпить, - предложил я.

Мы выпили, и я стал размышлять, как попал я на этот поезд. Может быть, кто-то командировал меня в далекий город? Но кому я нужен?

- Слушай, земляк! - обратился я к фиолетовому. - Как называется потеря памяти?

- С утра? - уточнил он.

- С позапрошлого года, - сказал я.

- Амнезия…

А может, я был пьян? Наверное… Скорее всего, но кто платил за питье? В моих карманах уже давно не было ничего похожего на деньги.

- Поезд на юг идет? - спросил я у компании.

Мужики вгляделись в меня получше и заскорузлый ответил:

- Ага, а мы перелетные птицы… Ты что, трахнутый?..

- Не знаю, - признался я, - а Тамбов уже проехали?..

- Ты в окно посмотри, дурик, - тихо сказал фиолетовый, - какой тут тебе Тамбов?..

Я прилепился лбом к грязному стеклу: под мелким нудным дождем мокла желтая холодная равнина, и поезд, казалось, катался по кругу, как по цирковой арене, и ничего не менялось за окном - то буксовал у самых рельсов в вязкой желтой глине обшарпанный грузовик, то проплывало мимо понурое степное дерево - и опять буксовал грузовик.

- Да, непохоже на Тамбов, - сказал я. - Говно какое-то вокруг…

- А что, в Тамбове говна нет?..

- Не знаю, не был там…

- Везде одинаково, - сказал заскорузлый и добавил, ткнув мне в плечо:

-Ты куда едешь-то?..

- Я?..

- Ты… Про себя я знаю…

Врать не хотелось на пьяную голову, и я сказал:

- Не знаю…

- Во, точно! И я не знаю… Корешок один сшиб меня с понта, да уж давно сшиб, и я все катаюсь… И в Солехарде жил, и в Кзыл-Орде, в Тюмени пять лет ишачил, в Чимкенте с одной дурой три года маялся… Болтаюсь, как дерьмо в проруби, везде у меня родина…

- Верно сказано, братан! - перебил его фиолетовый - Вот дадут завтра мне коленом под зад в моем Бешкеке - куда подамся? У нас, у русских, где родина - в Москве что ли? В Питере? - не похоже там на родину… Ты как думаешь?

- Я?.. Я - не русский, - ответил я.

- Хохол что ли?..

- Нет. У меня нет национальности.

- Так не бывает…

Я промолчал. За окном проплыл еще один буксующий в глине грузовик, в кузове сутулилась баба в зеленом промокшем плаще. Сколько таких грузовиков вдоль железной дороги? Сколько баб и мужиков закрываются от ветра и дождя брезентовыми плащами? Почему они не откажутся от этой собачей промозглой жизни, не уведут свои грузовики от этой глины, от этих ветров и дождей?

Может быть, выведена такая порода людей - глиняная?

Теперь, наверное, и моя жизнь пересеклась как-то с жизнью этого поезда, этой желтизны - и ничего не поделаешь, и не причем здесь водка, командировка… Не уйти мне от этого поезда…Промелькнул заброшенный станционный домик с полустертыми буквами по фасаду: «Полустанок Марии…»

- Ты кто по специальности будешь? - спросил меня фиолетовый мужик.

- Борец, - сказал я. - Боец невидимого фронта…

- Не похож ты на борца, - заметил заскорузлый. - Больно уж облезлый. А какого ты стиля: классического или вольного?

- Я вольного стиля, но борец классический, - сказал я. - А насчет прочего - сам ты облезлый. У меня костюм, посмотри, немецкий. Шевиотовый… А ботинки - подошвы звенят!..

- Звенят, звенят, - не стал он спорить. - Только вот носков нет. Но это ерунда, давай еще выпьем.

Мы выпили, и фиолетовый залез на верхнюю полку, будто умер.

- Я тоже упаду, - сказал мужик без примет. - Клонит меня… А все-таки ты, борец, кого-нибудь победил?

- Ага, - ответил я, - самого себя… А остальных-то и подавно разметаю!..

- Ты борец с дерьмом, - сказал мужик и захрапел.

- Точно! - сказал я. - А самое большое дерьмо - одиночество…

За окном проплывало еще одно дерево и виднелся вдалеке очередной барахтающийся в грязи грузовик с зеленой ссутулившейся фигурой в кузове.

Я привалился к стенке купе и зажмурил глаза, но равнина с грузовиками не исчезла, а дождь даже усилился, и, засыпая, я подумал, что непогода теперь надолго, а иначе и быть не может: откуда возьмется среди этой пустоты и неуюта теплое солнце, откуда придут сюда хоть маленькая радость, хоть пустячное счастье?

Но я ошибся. Солнце обнаружилось и в этих местах. Яркие его лучи пробились через мутное от грязи стекло и разбудили меня.

Я открыл глаза. В солнечном ореоле стоял надо мной проводник.

- Все! - сказал он. - Приехали… Конечная станция…

- Да? - я встал и босыми ногами ощутил сырой холод линолеума. Поезд стоял у перрона приземистого, опирающегося на толстые лапы колонн, вокзала. Что-то знакомое было в этих колоннах, самом вокзале.

Я поискал взглядом ботинки. Их не было. Как не было на мне брюк, а на вешалке моего шевиотового пиджака.

- Что, обчистили? Попутчики?.. Они давно-о-о сошли, - обрадовано сказал проводник. - В одних трусах оставили?

- Нет, еще рубашка осталась.

- Будешь знать - с кем пить!..

- Мужик, ты как сварливая жена, - сказал я проводнику. - Ты мне опостылел!

- Тогда выкатывайся отсюда!..

- Ага! - сказал я. - Без штанов, без ботинок... В твоем вагоне меня обворовали - здесь и жить останусь навсегда. Кстати, у меня в пиджаке три пачки денег было...

Растерянность промелькнула в сторожевых глазах проводника. Я повалился назад на кочковатый железнодорожный тюфяк, натянул на голову одеяло:

- Жизнь на колесах - мечта!

- Выматывайся, пьянь!..

Проводник выматерился и ушел. Его грузные матросские шаги протопали по коридору и смолкли. Я принялся ждать. Ожидание уже давно давалось мне легко, не знаю почему. Чего я только не пытался дождаться, даже коммунизма. Всерьез подсчитывал, сколько лет мне исполнится, когда он, наконец, наступит, и сумею ли я им насладиться в здравии, или разбитым стариком буду смотреть через хрустальные оконца образцовой богадельни, как резвится счастливый коммунистический народ, без денег получающий колбасу, картошку, выпивку и курево. А еще ждал окончания института, демобилизации из армии, получения квартиры... Ждал шестнадцатых и первых чисел каждого месяца, ждал сантехников, телевизионных мастеров... А разве не ждал я вдохновения? А как я ждал баб!.. Ждал ее... В конце концов я просто привык. Занятие простое.

Дверь в купе распахнулась, и проводник швырнул мне сверток:

- Вот, прикрой задницу!..

В свертке оказалось драное, заляпанное белилами хлопчатобумажное трико, разбитые циклопические кеды.

- Благодетель!.. - я влез в трико. Одна штанина была короче другой, через прорехи в ткани были видны мои желтые коленки и зеленые сатиновые трусы. В кеды я нырнул, как в пропасть.

- Ты что, на помойке это нашел? - спросил я у проводника.

- Вот, держи! - он сунул мне в руку несколько измятых бумажек, - на телеграмму хватит, порадуй родственников, опиши им, как ты вещички профукал...

И он хохотнул:

- На клоуна похож, один к одному… Проваливай, наконец!..

Зажав в кулаке деньги, я выбрался из вагона.

На перроне кружился кочевой народ, мечтающий о лучшей доле на новых местах. Из динамиков непрерывно раздавались гортанные команды, регулирующие прибои и отливы от поездов и к поездам. Тюки, баулы, младенцы и собаки плавали над головами простаков, попавших в железнодорожный капкан. Только командированные в этой суматошной толпе выглядели холодными мудрецами, они неспешно несли в своих портфелях постановления и коммюнике, между которыми в ярких фантиках прятались проверенные электроникой презервативы.

…Любовь из века в век становится все опаснее, дождемся ли, когда за поцелуй будут вручать почетный знак, за объятие - орден, а за ночь с бабой - устанавливать бюст на родине героя?…

Я пошел к вокзалу, сопровождаемый насмешливыми взглядами, а вокзал двинулся навстречу мне, перебирая, как слон, серыми лапами колонн. Я пригляделся к нему и ахнул: точно, старый дружище! А с первого взгляда я его не признал. Все такой же ободранный, обвешанный тряпками государственных увещеваний, с разбитыми стеклами, воробьями и дикими голубями, изгадившими многотонную люстру… Давненько не видались.

Мои кеды шлепали по щербатому асфальту, как ласты, сентябрьская прохлада проникала в прорехи штанов, голуби пикировали на меня, целя дерьмом прямо в голову, вслед мне хохотали мальчишки и злобно шипели ветераны. А мне, вдруг, вспомнился другой сентябрь: тогда внезапно повалил снег, а я стоял возле крайней слева колонны, пытаясь через снежную пелену рассмотреть троллейбусную остановку. Но троллейбусы приезжали и уезжали, а Марии не было. Так она и не пришла в этот день. Осенний снег ее напугал.

А сегодня было тепло. Я сел в троллейбус и он, осыпанный искрами и желтыми листьями, потащил меня по почти забытым улицам. Пассажиры таращили на меня глаза, один мужичонка, вылитый Троцкий, подмигнул мне и покрутил пальцем у виска. Я протолкался к нему и сказал:

- Мудак ты, а еще революционер!..

- Сам ты революционер, морда гегемонская! - шепнул Троцкий.

Я ударил его поддых, он ойкнул и сложился пополам. Пассажиры отвернулись к окнам. И, действительно, там было интереснее: по улице шла колонны военных в касках, похожих на мотоциклетные шлемы, с длинными черными дубинками и прозрачными пластиковыми щитами.

- Удобны эти щиты, не мешают ориентироваться, - сказал кто-то позади меня.

Я обернулся и в это время Троцкий съездил мне по шее, потом в скулу, а потом по зубам, да так, что кровь брызнула из разбитых губ - на рубашку, на руки.

Я не люблю, когда меня бьют. Хотя в принципе побои помогают не утратить ощущение реальности, даже способствуют усилению чувства юмора, но каждый раз это больно.

Мы сцепились с Львом Давидовичем. Он был явно сильнее, наверное, занимался утренней физзарядкой, обливался холодной водой, жрал сардельки, по вечерам качал мускулы гантелями, а спать ложился точно по сигналу телевизора об окончании передач.

Последние пуговицы с моей рубашки посыпались, как перламутровые градины, сама рубаха затрещала по швам и лопнула у меня на спине - ну что за день такой?..

Троллейбусные пассажиры оторвались от окон и стали сочувствовать сильному - Троцкому.

- Дай по рогам этому бичу!..

- Выкинь эту падаль!..

Но я был злее. Нетопленые развалюхи, ночные задворки, зубная боль, безденежье, кислятина начальства - наверное, все говно этой части света кипело во мне. Для Троцкого троллейбусная потасовка - спорт, разогрев ветчинной крови, развлечение, для меня - дело всей жизни. Я изловчился и зубами цапнул его за нос. Он дико заорал. Зубов у меня немного, но видимо эти осколки как раз удобно расположены для откусывания носов. Сразу во рту стало солоно от крови и соплей. Я оттолкнул врага и сплюнул:

- Карбонарий хренов!..

Троллейбус остановился, и я вышел под листопад. Вслед за мной вывалился окровавленный, стонущий противник.

- Стой!..

Мне драться больше не хотелось. Минута прошла и настала другая жизнь.

- Мужик, у меня деньги есть, - сказал я ему и показал смятые бумажки, которыми снабдил меня проводник.

- Откупиться хочешь, гад? - все еще бурлил знаменитый революционер. - Или в штаны навалил?..

- Навалил, ага, - сказал я. Мне было понятно, что жизнь у него длинная, с незабываемым прошлым, славным настоящим, многообещающим будущим, - и он удобно размещен во всех временах - он был вчера, он есть сегодня, он будет всегда. И ему трудно останавливаться, прощаться с тем, что было не так давно, минуту назад. Он не понимал, что времен огромное множество, каждую минуту может начаться совсем другое, в котором мы будем друзьями. Я не винил его за это непонимание. Многие не ориентируются во временах.

- Добавляй, вина купим, - предложил я.

- Сука! - сказал он, но уже затихая. - Только с такими я не пил!..

- А с какими ты пил?

- Да уж с порядочными.

- Конечно, русский интеллигент тебе не пара…

- Ты? Интеллигент?..

- А что?.. Наша дорога - пепел…

- Лоханкин ты!..

- Меня обворовали…

- Оторвать бы тебе башку!..

- Успокойся, рана небольшая… Боевой знак …

- А ты дурак, точно дурак, - уже совсем спокойно, даже с некоторым удивлением - сделал открытие! - сказал он.

- Спорить не стану, - ответил я.

Он вытащил потертый кожаный кошелечек с кальсонной пуговичкой вместо застежки, покопался в нем, добыл новенькую купюрку.

- Смотри, если у меня заражение будет, я тебя на дне моря найду!.. А пока держи… За то, что Троцкого помнишь, выдающийся человек был…

- Ты тоже молодец, не отступаешь под натиском… И кровь у тебя хорошо сворачивается, не капает уже…

- Пошел ты, шутник! - махнул он рукой. - И я пойду, не пью я, а ты выпей…

Прижимая к носу окровавленный платок, он побежал через улицу, но, вдруг, вернулся:

- Слушай, оборванец, а ты мне понравился!..

И он ударил меня по уху, сволочь. На минуту я оглох. Он бросился опять через улицу, с другой стороны махнул мне рукой - и исчез. Я подождал пока улица вновь наполнится визгом тормозов, радиорассказами о нашей счастливой жизни, звяканьем пустых бутылок в грязном мешке за спиной нечесаной бабы, - и только тогда двинулся дальше, куда?

Улица была малолюдна, застроена какими-то белыми, будто ватными, домами - и эти здания, призраки в саванах, редкие прохожие, цепляющие меня недоуменными взглядами, мокрая листва под ногами, пахнущая кладбищем, не позволяли ошибиться: город умирал, или уже умер.

Ему бы еще жить: выкопать метро и выставить напоказ дюжину небоскребов, заманить в гранитные дворцы, удрученное заботами о народе, башковитое правительство и объявить всеобщее равенство и братство, совсем чуть-чуть приструнив коварных инородцев, ему бы орать тысячами глоток на стадионах и форумах, и твердо ступать в ровных колоннах под лучистыми взглядами вождей, но, видать, чего-то он проморгал, может, сытая отрыжка в мраморных залах помешала расслышать, как скулила в бетонном микрорайоне раскрашенная дура, измордованная сутенером, а может, всего-навсего незамеченным пил всю жизнь и воровал ханурик из жаркого бункера теплотрассы?.. За такими стоит только не доглядеть - и пойдет!.. Затопят все понурые взгляды, штопанные юбки, никогда не утюженные брюки - и над всем этим поднимется мат-перемат, великий и могучий.

А, может, слишком много бюстов, конных статуй поставил город по улицам и площадям, - и теперь суровые философы, лихие рубаки, меткие стрелки и задумчивые сочинители - вся бронзовая мертвечина - притягивают живое?

Или тени великих, придавленные постаментами, успокоились, а по улицам города таскаются души тех, кто свален в номерные могилы или втихую засыпан под речными ярами и в глухих карьерах - и они-то и убивают, убили город?..

Низко над улицей прогрохотал медленный пузатый самолет, я разглядел в его круглых окошечках головы отважных воздухоплавателей и показал им кукиш, чтобы не зазнавались там наверху.

- Самолет, самолет, ты возьми меня в полет. А в полете пусто, выросла капуста!.. - пробормотал я.

- Ага, только там она и выросла! - ответила мне басом из амбразуры овощной палатки краснощекая голова. - А на грядке шиш с малом растет!.. Сучье - эти фермеры и колхозники, всю рассаду весной поморозили... Дуромялы!..

- Дуромялы? - подивился я филологической подкованности овощной головы.

- Они самые!.. Куропеки, саможралы, землегубы!..

- Ты кто, мужик или баба? - поинтересовался я у головы.

- Это ты мужик стебанутый, а я - женчина! - с достоинством ответила она.

- Поздравляю! - сказал я. - Ты - украшение этого отряда...

- Сам дурак! - сказала она. - Вали отсюда, засранец, пока я не вышла...

Я прошел мимо палатки; на грязном прилавке лежали арбузы, как отрубленные головы, и в их жидкой крови барахтались и погибали мухи.

- Эй, рванина! - окликнула меня голова. - Арбуз хочешь?..

- Мне врач запретил сладкое...

- Без денег возьми... Они почти все треснутые, все равно пропадают...

- Ладно, мочегонное мне полезно, - я вернулся и взял арбуз; трещина в нем была похожа на сабельный шрам.

- Ты по разговору-то вроде образованный, - сказала продавщица, - а в таком виде себя содержишь! С круга что ль сбился... Бормоглот!..

Я не ответил. За мной погнались неутонувшие мухи и сопровождаемый их голодным гудением я вышел на берег мазутной городской речушки, раздавленной бетонными мостами. На берегу, привалившись спиной к постаменту подъехавшего к водопою бронзового конника, сидел понурый рыболов и читал «Литературную газету».

- Спички есть? - спросил он, не поднимая головы.

- Нет, меня ограбили...

- Да? Интересно! - продолжил он читать. - Я могу понять грабителей. У них хороший вкус. Хватит уже воровать машины, угонять самолеты, опустошать банки!.. Спички - вот то, что должно интересовать современного интеллигентного грабителя. Если вдуматься - спички самое замечательное изобретение со времен Адама. Сколько городов ими подожжено, сколько запалено бикфордовых шнуров, сколько сигарет прикурено!.. Ах, как хочется курить! И много у вас похищено спичек?

- Не знаю. Полкоробки, может быть…

- Зажигалки тоже нет?

- Я же сказал…

Он, наконец, взглянул на меня поверх газеты, глаза цвета речной воды были полны тоски.

- Клюет? - спросил я.

- Очень хорошо. Такого клева я не помню с тыща девятьсот тринадцатого года. Аж руки все вывернуло… Надо бы перекурить, да спичек нет. Хотя скажу тебе по секрету: в прошлом месяце, как его поставили, так и стало клевать здесь, жуть!.. И откуда только рыба взялась, прет на голый крючок!..

- Прет? - спросил я с сомнением.

- Да ты сам в мешке посмотри, там за постаментом.

В тени бронзового конника кренился огромный брезентовый мешок, в нем что-то вздрагивало и шлепало. Я открыл мешок: к ногам упал крупный судак. Метрвым перламутром отливали его глаза, растопыренный колючий плавник, похожий на драконово крыло, еще был жив, трепетал, будто судак собирался в полет.

- Вчера жерех брал - не рыба, а одни кости, а сегодня вот эти крокодилы, - сказал рыболов. - Не иначе, как заколдованный памятник этот…

- Кому памятник-то?

- Хрен его знает… Освободителю какому-то…А раньше, говорят, на этом месте поработитель, гадина, стоял. У нас всегда так: поработителей к чертовой бабушке, освободителей на их места… И вот, хоть рыба стала ловиться…

Рыболов схватил удилище, тонкий бамбук согнулся в дугу.

- Опять на голый крючок! - закричал он. - Просто фантастика!..

- Просто реальность, - сказал я.

Рыболов вытащил судака, взвесил его на руке:

- Килограмма четыре. Ну, не меньше двух…Хочешь, отдам его тебе?..

- У меня нет даже спичек…

- Даром отдам, ты мне понравился… Тебе идет с арбузом ходить, ходи с судаком тоже. Да и уха хороша будет.

- Из арбуза?..

- Ага, из него…

- Интересный день сегодня, - сказал я. - Что-то всем я нравлюсь. Просто день любви…

Я взял судака под жабры, арбуз подмышку - арбузная липкая кровь смешалась в ладонях с рыбьей - чудный коктейль - и я, шлепая кедами, пошел по набережной.

- Приходи завтра! - закричал вслед рыболов. - Может вобла будет клевать?..

- Ну да, - сказал я, - если опять памятник не поменяют…

По речушке прополз ржавый катерок и что-то нарушил. Над мазутной водой раскрутился ветер и набросился на город, потащил - быстрее, быстрее - растрепанные листы «Литературной газеты». Я оглянулся: рыбак пытался поймать улетающую газету, но проворная бумага - страница за страницей - разбегалась по асфальту и даже поднималась над улицей. Я задрал голову и успел прочитать: «Назад, в **2005**! Пора, дура!..»

«В самом деле, пора», - подумал я.

Вслед за газетами в небо взмыли афишки заезжего американского проповедника с обещаниями точной даты второго пришествия. А за афишами тронулся в путь фанерный щит с намалеванной на нем рекламной девицей.

«Пора, дура…»

Я с опаской посмотрел на беззащитный крупнопанельный дом, мимо которого проходил - устоит ли он под натиском неведомого ветра? Дом устоял, но, вдруг, ожила валявшаяся у обочины дороги огромная мусорная бочка с дымящимися внутренностями - покатилась, набирая обороты, загремела, подпрыгивая на кочках - прямо на меня.

Я побежал от нее, но силы были неравны: мусорный каток толкала речная мазутная ярость, а подстегивали мутной тоской ненайденные утопленники - вес тлен и гниение реки, воздуха, мертвого города был на стороне грохочущей урны; за меня же мог встать только страх, проверенный, надежный товарищ. Вот-вот должен был сбить меня с ног коммунальный снаряд, и я уже выдохся, а тем временем тяжелый арбуз норовил грохнуться оземь, вот уж действительно не рожден летать, а судак хлестал меня шершавым хвостом - и я отчаялся спастись, но – чудо! - перерезал дорогу глубокий окоп с высоким бруствером и залегшими в нем зелеными фигурами бойцов - я спрыгнул, задохнувшись в окоп, поддержанный добрыми руками, - мусорная бочка бессильно врезалась в бруствер, и ветер затих, опустились сверху на окоп газета, афиша, спланировал плавно рекламный щит.

«Пора, дура…»

- Солдатики, часто ли здесь мусорные бачки на прохожих нападают? - спросил я, отдышавшись.

- Сам ты солдатик, а мы кабель телефонный тащим, - обиделся один из зеленых, предводитель. - А ураганы теперь часто случаются, климат такой… Ледниковый период возвращается, слышал?..

- Земля с каждым днем холоднее, это точно! - подал голос второй землекоп. - Мы пузом этот холод чуем!..

- Зачем пузом-то?.. - спросил я.

- Земля всегда так - сначала на пузе, а потом в пузе, - неопределенно ответил тот. - А у тебя арбуз гавкнулся, жалко…

Я взглянул на арбуз: действительно, он раскололся на две половинки и они обе истекали последней кровью у меня подмышкой.

- Не гавкнулся, а пал в бою, - поправил я окопного работника.

- Веселый ты человек, - сказал предводитель, - поэтому и штаны у тебя в лоскутах… Но все равно арбуз надо сожрать, иначе пропадет…

- Вы хотите сожрать моего боевого друга, с которым вместе отступали под огнем? - возмутился я. - Я похороню его с почестями. Дайте лопату!..

Я взял штыковую лопату и вылез из траншеи.

- А ты мудозвон! - почти с восхищением сказал мне вслед предводитель. - Мудила!..

Место для погребения я выбрал на небольшой клумбе, где засохшие цветы торчали, как обглоданные селедочные хвосты. Земля была податлива и, набив две кровавых мозоли, я выкопал глубокую могилу.

- Кончай дурить! - дружно закричали землекопы. - В глотке пересохло, давай сожрем!..

- Каннибалы! - я бережно опустил обе половинки арбуза на дно могилы, забросал останки землей. - Пусть здесь вырастет сладкое арбузное дерево нашей надежды!..

- Чего? - крикнул из-за бруствера предводитель.

- Надежда, говорю, нам нужна!..

- Ага, нужна, особенно если ее с сальцом намять…

- Ладно, мужики, тащите свой кабель!.. А чего слыхать по нему, по телефонному?

- Да, глупости болтают. Про конец света, про астероид… Говорят, ожидается демократия и неразбавленная водка… А деньги будем пудами получать.

- Хорошо, - сказал я, - а неразбавленной свободы не ожидается?

- Не разбавляли бы водяру, а уж эту траханную свободу… Хотя, как их различишь - водку со свободой?..- сказали трудяги. - Да тебе и так не хуже, вон какой у тебя судак! На букву «м». А дерево арбузное не вырастет, не полито.

- Сейчас польем, - сказал я, - вылезайте!..

Помогая друг другу, землекопы выбрались из траншеи, расстегнули штаны над клумбой. Я присоединился к ним.

- Моча большую пользу приносит, - сказал предводитель. - Ни одна болезнь перед ней не устоит… Даже наука специальная есть… Урино…логия или…хрен ее знает.

- Вот именно, - сказал я. – Ну, пока, мне пора.

- Может, с нами останешься? - предложил предводитель. - Человек ты, видать, жизненный, с понятием, нам такие в телефонном деле нужны… Спецодежду получишь, жопу от атмосферы прикроешь…

- Спасибо, друзья, - поблагодарил я, - но мне нельзя с вами. У вас здоровый почвенный коллектив, а я человек зараженный…

- Ну? - насторожились мои новые товарищи. - Триппер?..

- Страшнее, - ответил я, - но вы не унывайте, может встретимся… Тяните вашу связь, нам без нее никак нельзя…Хорошо бы с Марсом или Сатурном связаться, может, там не все вымерли?.. Узнать бы, что они о нас думают? Скучно все время самим о себе думать, хочется, чтобы хоть иногда кто-то другой о нас думал…

Вдруг, стало смеркаться. Солнце распухло, потускнело и растеклось на горизонте, как прокисший помидор.

- Атас! - закричали телефонисты и бросились врассыпную. - Шабаш! Конец рабочего дня!..

Я побрел дальше и улица вывела меня к стеклянной коробке магазина. Магазин сиял, как хирургическая лампа, и люди, толпившиеся в нем, казались пятнами на солнце. Мария стояла в очереди за морковью, серый плащ, который мы с ней покупали вместе пятнадцать лет назад, был ей еще впору, только рукава стали коротки, может, руки вытянулись от сумок?

Маша взглянула в мою сторону, но, наверное, увидела только темное зеркальное стекло, а за ним неясную тень. Но эта темнота встревожила ее, она выбралась из очереди и медленно пошла к прозрачной стене - в мою сторону. Кто-то окликнул ее, она остановилась, посмотрела через плечо, минуту постояла, должно быть, пытаясь понять, что вытащило ее из очереди, потянуло к сумеречному стеклу.

Она для чего-то оглядела себя, свои сумки с солеными огурцами, блеклой бараниной, крапчатыми коврижками; в ее взгляде мне показалось недоумение, как будто она не могла узнать саму себя.

Я отвернулся и пошел дальше, мне ли помогать ей в этом?

Я услышал, как хлопнула тяжелая дверь, Мария вышла из магазина и, торопливо шагая, обогнала меня.

Я уселся на ящик из-под бутылок, рядом положил судака. В мертвом судачьем глазу закрутилась магазинная неоновая реклама. От этого зябкого света стало холодно. Мария вдруг повернула ко мне:

- Гражданин, продаете рыбу?

- Меняю…

- На что? - она пристально посмотрела на меня.

- На водку…

Она поразмышляла секунду:

- Это можно. Я живу неподалеку отсюда, дома найдется у меня бутылка… Я купила бы вам в магазине, но деньги кончились…

Она пошла чуть впереди, я отставал от нее на шаг, и она все время оборачивалась, спрашивала:

- Где вы поймали такую рыбу?.. На спиннинг или сетью?.. Она поймана сегодня?..

Я не отвечал. Она сутулилась над своими сумками и почему-то шагала все быстрее и быстрее, будто убегала от меня - и говорила, говорила без умолку, и тоже все ускоряя и ускоряя речь.

- Скоро вкус рыбы позабудем, мне недавно сосед принес двух лещей, так я не сразу вспомнила, как они называются, а ведь я родилась на берегу реки, в детстве сама рыбачила, да еще как добычливо, а теперь все кувырком… Вся природа задыхается… жуть, леса горят, реки высыхают, сплошная сажа вокруг, белье невозможно на балкон повесить - чернеет за минуту…

Мы подошли к едва освещенному подъезду какого-то серого, сгорбатившегося в темноте дома. Мария умолкла, развернулась ко мне:

- Это ты?..

Вскрикнула. Отшатнулась. Узнала.

- Боже мой! Боже!.. Что с тобой стало?.. Откуда ты?..

Мне нечего было ответить ей.

- Я еще в магазине почувствовала неладное. Даже в висках заломило!..

Я молчал.

- Сволочь ты! - сказала она. - Сволочь!..

- Так ты будешь судака брать? - спросил я.

- Уходи! Уходи! Прошу тебя!.. - она бросилась в подъезд, сумки за ней; она зацепилась ими за дверь и мне под ноги выкатился бублик, обручальное кольцо из сильных сортов пшеницы. Я подобрал бублик, жратва всегда пригодится. Не помешала бы и какая-нибудь телогрейка или тряпка. Холодная осенняя ночь уже загнала под лестницы и подвалы, в подвалы и на чердаки бродячих собак и кошек.

Осенний ночлег страшнее зимнего. Зимой легко отогреться в любом подъезде у батареи, ничего не стоит и нырнуть в люк теплотрассы, а если повезет можно роскошно устроиться в кочегарке - там и тепло обеспечено, и беседа с кочегаром, философом, закаленным огнем. Осенью рассчитывай только на собственное тепло.

Я заглянул в подъезд: прямо у двери стояла детская коляска, а в ней лежало зеленое шерстяное одеяло. Удача!

Я взял одеяло, на его место положил судака: натуральному обмену не страшна инфляция.

Мне повезло и дальше: дверь в подвал была не заперта, а в самом подвале пахло прелой картошкой, укропом и вишневым вареньем. В подвальный коридор выходило полсотни

дверей с крепкими замками, как в тюрьме, и за ними в клетях и содержались в строгом режиме несметные квартирные запасы. Я подергал за ручку одну из дверей - прочнее бетона.

Я обошел весь подвал и постелил одеяло у двери, из-за которой пахло укропом. Я лег, закрыл глаза и вокруг меня раскинулся огород. Неподалеку едва слышно плескала ленивой волной речка Ревунок, позвякивали ведра на коромысле бабушки Александры Львовны, поливавшей помидоры, где-то высоко звенела невидимая птица, а на козырьке моей фуражечки-восьмиклинки сидела стрекоза и внимательно смотрела на меня, и я тоже смотрел на себя из ее выпуклых зеркальных глаз, и думал? А видит ли стрекоза свое отражение в моих зрачках?..

Мне иногда казалось, что я родился на этом огороде; и ходить учился здесь, падая лицом в укропные заросли, и первые книжки читал в шалаше на берегу Ревунка, и до икоты объедался степным лакомством - вороняшкой, которую бабушка называла пасленом. Бабушка говорила, что от этого паслена можно умереть, но страшные рассказы тогда никого не пугали, вороняшку собирали целыми ведрами - доступнее лакомства не было. Слаще был только мед огромных желтых цветов тыквы, но цветы эти зорко охранялись бабушкой… А название «паслен» мне всегда мнилось графским или княжеским титулом. Граф паслен, хорошо звучит… Где теперь эта речка, где этот огород?..

- Вставай, не лежи на самом пекле, - говорила бабушка. - Солнечный удар будет!..

Жаркое тогда было солнце…

- Вставай, ты с ума сошел! - почти прокричала надо мной Мария. - С ног сбилась тебя искать!.. Пойдем в дом…

Я поднялся и пошел за ней. В тесной кабине лифта она вжалась в стенку, чтобы хоть на сантиметр быть подальше от меня.

- Ты замечала, что лифты похожи на сортиры с зеркалами? - спросил я.

Она пожала плечами, сказала:

- Поживи у нас дня два-три, может что-то придумаем… В общагу тебя что ли устроить?..

- Меня обворовали, - сказал я. - В поезде…

- Куда ты ехал, горемыка?.. - стало ей жалко меня.

- Кажется, в Бузулук, - сказал я, - но точно не скажу - у меня амнезия, я помню только тебя, бабушкин огород, запах укропа…

- Слушай, не бреши, а?.. Сколько уж можно юродствовать?..

Лифт остановился, и она подвела меня к двери с медной начищенной табличкой «Профессор такой-то»

- Прошу тебя, - сказала она, - пощади Вадима, не переходи границы… Не трепись лишнего… Ладно?..

- Из такой меди, - постучал я по дощечке, - хорошие ошейники выходят… Собаку не завела?..

Мария вздохнула и открыла дверь. Я ступил через порог и навстречу мне из глубины комнат шагнул дружелюбный вельветовый хозяин.

- Вадим! - отрекомендовался он. - Проходите, располагайтесь… Не стесняйтесь…

Он излучал радушие, искрился застенчивой, располагающей улыбкой, благоухал заморской туалетной водой и совершенно не замечал моих рваных штанов, грязных рук, небритых щек. Интеллигент!..

- Сейчас будем ужинать, - сообщил он, - вы как раз вовремя…

- Я старался не запоздать, - сказал я, - семейный порядок для меня - святыня. В противном случае ужин мог остыть, а разогретая жратва, согласись, это как объедки.

Он заулыбался, но уже менее радушно, чем вначале.

- Снимай кеды, - сказала Мария, - вот тебе домашние туфли, очень удобные - на меху.

- Да нет, - сказал я, - эти кеды - подарок дорогого человека, даже на минуту тяжело с ними расставаться. Да и время сейчас такое, свои вещи лучше всего иметь перед глазами… Стоит расслабиться и потеряешь вместе с кедами веру в человека…

- Мы тебя не обворуем, успокойся, - сказала Мария.

Вадим перестал улыбаться, профессор кислых щей.

- Я тоже так думаю, - не стал я с ней спорить, - но жизнь научила меня не доверять даже близким людям…

Мария только махнула курой, ушла на кухню, загремела посудой.

Профессору тоже захотелось скрыться от меня. Я видел, что глаза его мечтали об уютной ночной книжке, о сладком сне под атласным одеялом в обнимку с податливой женой. В глазах его была тоска по ласке и доверию.

Он завел со мной какой-то специальный научный разговор, нервно шагая от дивана до негромко врущего телевизора.

- Будущее за шестидесятичетырехразрядными процессорами! - уговаривал он меня. - Придет время, когда все мы будем удивляться: как же мы могли обходиться без этих приборов!..

- В самом деле! - сказал я.

Он ободрился:

- Быстродействие просто поразительное! Возможности открываются беспредельные!..

- Хочешь сказать, что компьютер умнее человека?

- В каком-то смысле - да.

- Врешь ты, профессор, - сказал я. - Может быть, делить и умножать твой счетчик может, а все остальное - фиг!.. Потом, скажи, чего мне делить и чего умножать?.. Твою квартиру делить, твой город и твою страну несчастную?.. Умножать говнюков на засранцев?.. Нищету множить?..

Вадим потух, еще сильнее захотел под одеяло.

- А может твой транзисторный набор придумать такое слово, как «дуромялы» или «сырожралы»?

- У компьютеров есть иные задачи, - сказал он совсем сухо, прошелестел, как песок в пустыне.

Он подошел к телевизору, добавил вранью громкости и уселся в кресло, погрузился в правительственные сообщения. Так он сидел минут двадцать, и в нем боролись желания: выгнать меня к чертовой матери или все-таки притворяться до конца терпеливым, рефлексирующим интеллигентом? Наверное, он ничего не решил, принялся переключать программы, как будто говорящие головы могли помочь ему сделать выбор.

- Что ты ищешь в этом ящике, - сказал я ему, - если интересуешься чем, спроси у меня - я все знаю…

Он уставился на меня стеклянными телевизионными глазами и в это время Мария позвала нас ужинать.

- Извини, приготовила все на скорую руку, - сказала она, обращаясь к холодильнику, но я решил, что все-таки она сказала это мне.

- Ничего, я не привередлив, - поощрил я ее.

И в самом деле, привередничать не стоило. На столе в тарелках с золотым ободком дымилась уха, ощеренная судачья варка с побелевшими глазами, увенчанная лаврами, покоилась на блюде, как голова Олоферна. А еще в блюдечках, тарелочках, розетках были разложены салаты, закуски, какие-то травы и злаки. Ломти хлеба, наверное, были нарезаны компьютером, так одинакова была их толщина. Глядя на эти ломти, сразу мерещились зеленые галифе, строевой шаг, устав караульной службы.

- Уха из судачьей головы вышла отменная, - сказала Мария. - Еще чуть-чуть и уехала бы рыба кататься вместо младенца, да я успела произвести обратный обмен - одеяло в коляску, а судака в нашу кастрюлю…

- Правильно, - сказал я. - Нельзя обижать детей. Одеяло - почти недвижимость, а рыба приходит и уходит…

- Я костюм тебе нашла, - опять сказала Мария холодильнику. - Правда, он поношенный, но вполне приличный… Думаю, что впору будет… Не отказывайся, пойми правильно…

- Я правильно понимаю… С профессорского плеча даже почетно…

Я видел - ей трудно давались слова, а Вадиму ее слова - еще труднее. Они оба страдали, шершавые деревянные их языки не могли размягчить ни уха, ни салаты, ни злаки. Глаза их старательно обходили меня, а особенно дыры в штанах.

- Как рано настает ночь, - сказала она.

- Естественно! - обронил он.

Им хотелось жалеть меня, но они ненавидели.

- Ты какого вида профессор? - спросил я у него. - По компьютерам что-ли?

- По философии…

- Это хорошо. Значит, хоть собак для опытов не режешь… Или нынче философии тоже нужны дрыгающиеся лягушачьи лапки?

Пропел электрический соловей и Вадим бросился открывать дверь, не ответив про лапки.

- Верка пришла, полуночница, - сказала Мария. - Никогда к ужину не успевает…

Длинноногая белобрысая девица ворвалась в кухню, уронила на пол какую-то крышку, чертыхнулась.

Поглазела секунду на меня, рухнула на стул:

- Пируете, ребята?..

Придвинула тарелку, еще взглянула на меня, хмыкнула, принялась за еду.

- Проголодалась? - спросила Мария.

- Ага! - сказала Верка и добавила:

- Между прочим, есть хороший повод выпить вина…

- Интересно! - встревожилась Мария.

- Виктор сегодня кольца купил!.. Я принесла показать вам… Симпатичные!..

Верка вытащила две пластмассовые коробочки, внутри их на синем бархате лежали колечки с привязанными крохотными бирочками, на бирочках строго, с десятыми долями, указан вес и цена с нулями и копейками.

- Ну надо же! Куда вы только торопитесь?! - огорчилась Мария и пожаловалась мне:

- Вот, замуж собирается!.. Как только не отговаривала ее - не слушает. Ведь на первом курсе только. И он, Виктор, тоже зеленый, правда парень неплохой, скромный. Я им сто раз говорила: получите дипломы, встанете на ноги - тогда и свадьбу сыграем!.. Но у них горячка!.. Загорелся в одном месте лед!..

- Как покойники, - сказал я.

- Кто? Что ты городишь? - изумилась Мария.

- Кольца, говорю, как покойники - им, покойникам, тоже бирки привязывают…

- Ну и сравнил! - сказала она. С новорожденными не мог сравнить, у них тоже бирки?..

- Ладно, пусть будут, как новорожденные…

- Вот… Помню, Верку из роддома привезла, а у нее на ногах такие клеенчатые, зеленые лоскутки, - вдруг, ударилась в воспоминания Мария, - а фамилия и номер написаны чернильным карандашом… Но фамилия с ошибкой, вместо «о» там была «а»… Я перепугалась, ну, думаю, подменили!..

- Но тревога была напрасной, мама, - перебила ее Верка. - Ребенка тебе, конечно, подменили - явно не от тебя произошла такая, как я, - но тебе досталась совершенно замечательная девочка - умная, красивая, скромная…

- Особенно скромная…

- Да, и еще - послушная. Поэтому отправляюсь в кроватку… Спокойной всем ночи!..

Она еще раз взглянула на меня, словно подтверждая, что и меня пожелание касается. Отличила.

Я промолчал и она выкатилась из кухни.

Мария принялась убирать посуду и Вадим потащил меня в свой кабинет. Интеллигентскую нору с книжными стеллажами, огромным глобусом, задумчивыми бронзовыми головами, фотографией Марии, с раздольным письменным столом.

Я крутанул глобус, он пошел со скрипом, как старая карусель; поплыли острова и материки, разноцветные страны и конфетти городов.

- Слушай, а как ваш город называется теперь? - спросил я у Вадима.

- А черт его знает! - ответил он, и впервые в его глазах промелькнуло что-то живое, может быть, злость. - В этом году три раза переименовывали…

- Хорошо!.. - сказал я. - Вы как будто путешествуете, не выходя из дома. Просыпаетесь утром в одном городе, засыпаете в другом… Но вот беда, люди не забывают прежних названий… Городам имена не люди дают. Но, думаю, все-таки изобретут такие таблетки, чтобы память отшибало…

- Как тебе отшибло? - протиснулась в кабинет с раскладушкой Мария.

Вадим испугался ее вопроса и снова отключился.

- Если научиться не пользоваться памятью, то каждое утро можно начинать новую жизнь, - я еще раз крутанул глобус и он завертелся волчком, все материки слились в один. - Память хранит столько всякого говна… Вот твои компьютеры каждый день загружают новую память - и наверняка счастливы - они уже не помнят чем ты их вчера мучил, что городил, нагораживал по своей философии…

- А ты? - спросила Мария.

- У меня одна жизнь, память тоже одна…

- Я спросила: ты счастлив?..

- Наверное, нет, - ответил я. - Вот если бы нашлась зубочистка - тогда другое дело. Что ни съем - все в зубах остается… Это жратва такая или зубы, как ты думаешь?..

- Это жизнь такая! - сказала она со злостью.

- Вот видишь, все ясно: какое счастье с гнилыми зубами?..

Рядом с глобусом на столе лежал паспорт. Я раскрыл его и увидел, как замерли руки Марии, застилающие узкий гостевой матрасик скрипучими от крахмала простынями. Из паспорта смотрела на меня Маша давнишних годов, веселая моя девушка.

- Шпионский паспорт, правда? - спросила Мария.

- Конечно, - сказал я. - Подделка. Фотография-то чужая…

«Хорошо, что она поменяла паспорт, поменяла фамилию, а фотографию оставила старую… Смешно жить в городе с постоянно меняющимся именем, в стране, где нет ничего постоянного, на земле, которая крутится и скрипит, как глобус, - и не менять ничего в себе. Теперь ее паспорт похож на новую сторублевку со старым портретом. Она тщательно застилала узенький матрас, нервно оглядывалась на мужа - он слонялся по комнате с сигаретой, ронял на ковер пепел, покашливал, изо всех сил старался выглядеть равнодушным, но, наверное, и он понимал, что ее руки, ласкающие простыни, ничего не забыли. Руки женщин растут прямо из памяти.

- Вам уютно будет здесь, в кабинете? - спросил он у меня. - Читать удобно, включив настольную лампу…

- Да, - ответил я. - Люблю почитать на ночь…

- Спокойной ночи! - сказала Мария. - Мне завтра рано вставать…

Деревянно шагая она отправилась в спальню, плотно прикрыв за собою дверь.

- По рюмочке? - спросил он, помаявшись. - Может быть, любите выпить для сна?..

- Это идея! - сказал я. - У меня бессоница с детсва. А спритное помогает…

Он почти убежал на кухню, затренькал стеклом.

«Интересно устроился, - подумал я, - еще чуть-чуть и они начнут каяться передо мной… Может, взять у них денег, как будто взаймы?.. Они дадут, много…».

Он вернулся из кухни с графинчиком водки и бутылкой вермута, двумя стаканчиками, тарелочкой на которой прилипли почти прозрачные платинки сала.

- Водку или вина?

Идиотский вопрос любят они задавать. Когда есть водка - пью ее, когда вино - пью вино. Лучше, если есть и то, и другое. Кончается водка, принимаемся за вино…В моей жизни нет выбора; выбор предполагает свободу, а для чего она мне? Я ею отравлен.

- Ну, будем? - спросил он, будто разрешения, и выпил рюмку водки. Я за ним. - Будем!..

Он снова налил и выпил.

- С каждым годом водка все слабее, - заметил он, специалист.

- Дерьмо, не водка, - согласился я.

- И вино не лучше…

- Особенно, когда его мало, - сказал я.

- У нас есть еще! - испугался он.

- Хорошо, - поощрил я его.

Мы выпили еще, и он осоловел, смотрел на меня сквозь очки, как лупоглазая золотая рыбка через стекло аквариума. Он тер пальцами виски, словно пытался что-то вспомнить, но, наверное, мешало обручальное кольцо: кольцо, обруч, проволочная петля, любой металл собирает вокруг себя электронные ржавые споры - они рвут живое, питаются живым.

- Еще по одной? - предложил я.

- Конечно, конечно, - стал разливать он водку, но пить больше не мог, но не мог и отказаться.

Я выпил и сказал:

- Из металла на теле признаю только крест…

- Что? - изумился он, и, забыв, сто больше не может, одним глотком опорожнил рюмку.

- Только крест признаю, - повторил я.

- Конечно, конечно, закусывайте, - стал он двигать ко мне тарелку с салом.

Я мотнул головой, поднялся. Он еще больше округлил глаза.

- В сортир пойду, - успокоил я его, когда начинаешь пить, нужно быть уверенным, что горшок рядом… Водка любит не только дружескую беседу, но и горшок…

- Да, - откликнулся он устало.

- Я устал больше, чем ты, сука, - подумал я, - в десять раз, в две тысячи раз… Что ты можешь знать об усталости, очкастый пупс?..

Мне показалось, что я произнес это вслух, но он никак не отреагировал и я двинулся по коридору. Снизу из-под двери спальной выползла и задрожала желтая полоска света, я наступил на нее, как на змею, подождал пока она не сдохнет. Полоска погасла, наверное, Мария услышала мои шаги, насторожилась. В темноте настораживаться удобнее. Я представил, как напряженно лежит она сейчас в постели, может быть, укрывшись с головой ватным одеялом, с ужасом ожидая какой-нибудь моей выходки. Я поскреб ногтями по двери, кашлянул, чтобы не подумала, что ей показалось - и пошел в сортир. Ручка сливного бачка торчала, как рычаг переключателя скоростей, я потянул ее на себя, и унитаз зарычал, как мотор. «Вот моя машина, - подумал я, - поехали скорее!..»

Когда я вернулся, Вадим сидел на раскладушке с таким видом, будто именно ему предстояло ворочаться на ней всю ночь, а мне там, в спальной, на его месте…

- Что ты пригорюнился, будто завтра понедельник? - сказал я ему. - Топай спать!..

- Завтра и будет понедельник, - ответил он. - Тяжелый день…

- Вторник будет еще тяжелее, - обрадовал его я, - а среда, так до среды даже не все доживут…

- Зачем же так мрачно? Понятно, что не в кущах живем, но каждую минуту сокрушаться по этому поводу, простите меня, - это просто банальность…

- Наконец-то выпустил когти, наконец! - подумал я. - Видать, терпение лопнуло. Сейчас пойдет спать, а завтра выгонит. Или сначала выгонит, а уж потом закатится Марии под бочок?..

- Что? - переспросил я. - Банальность?..

Наверное, моя интонация ему не понравилась, он строго взглянул на меня, взялся за бутылку.

«Неужели по башке двинет? - удивился я. - А что, философ ведь…»

Вадим наполнил рюмки, выпил, вытер губы рукавом. Браво!

- Не дрочись, мужик! - сказал он. - Нравится тебе в подвалах жить - живи! Нравится купаться в блевотине - ныряй в нее, но что ты свои фурункулы все время выставляешь?.. Это же эксгибиционизм, понимаешь?..

- Нет, не понимаю, - ответил я, - а сам ты пробовал дрочить, профессор? Нет, не мозги, это ты умеешь… Другое… Ты попробуй, самостоятельность развивает. И слог у тебя станет лучше, увереннее… И мысли придут свободные… Но я думаю, ты даже жопу ни разу не почесал, хотя и чесалась. По соображениям этики… И морали. Хоть раз в жизни ты делал не то, что в тебя заложили, а то, что самому хотелось?.. А чего тебе хочется, ты знаешь? По глазам вижу, что знаешь… Тебе Верку трахнуть хочется, а ты философской статейкой бумагу мараешь!..

- Что ты позволяешь себе!..

- Заткнись! Ты любишь представлять себе, как ворвешься в ванную, где она моется, и набросишься на нее прямо в воде… А потом ты будешь просить прощения, униженно требовать. Чтобы она ударила тебя… Точно, ты тайный мазохист.

- Ты с ума сошел! - мне показалось, что он сейчас загорится, так раскалилась его морда. - Ты…

- И еще тебе хочется, чтобы у твоего институтского начальника сгорела дача, а еще лучше, чтобы сам он разбился на машине.

- Ты!..

- А кроме того, ты боишься открывать консервные банки, потому, что тебе все время хочется полосонуть ножом себе по руке, и чтобы кто-то увидел это и бросился бы бинтовать тебе руку, но ты успел бы лизнуть наждачным своим языком кровоточащую ранку… Ведь правда, что тебе нравится вкус собственной крови?.. Ведь ты уже пробовал?..

Вадим был близок к обмороку.

- Но ты всю жизнь закапываешь свои желания от самого себя, вот поэтому ты никогда задницу себе не почешешь, ты боишься выдать себя хоть одним жестом. Такие, как ты, придумали приличия, этику, эстетику… Это вы себе правила создали, а нас заставляете их соблюдать. Уродам так хочется, чтобы вокруг были только уроды.

- Ты чудовище!.. Ты пьян!..

- Успокойся, я никому не расскажу, - ободрил я его, - ты ведь совершенно безопасен, ты не можешь хоть на что-нибудь решиться. Я удивляюсь, как ты жену чужую сумел к себе под одеяло затащить…

- Ага! - закричал он, почуяв слабину. - Вот в чем дело! Тебя грызет ущемленное самолюбие отвергнутого самца, а ты о мировой скорби, о скитаниях вечных, о неземной духовности… Ты просто ревнуешь. Ну надо же, странник, нигилист, бессребреник!.. Чистое сердце, да?.. Под твоей давно немытой шкурой обыкновенное человеческое мясо, не волчье, даже не собачье!.. И амнезии у тебя никакой нет, только лень. Все ты помнишь, каждую минуту своей бесполезной жизни; и каждую каплю вина - с кем пил, кто расплачивался, в какой норе ночевал; скольким бабам под юбку нырял; и кто кого сукой называл, и кто кому должен - все в тебе притворство, грязное кокетство и лень… Тебе нужна наша жалость, ты подглядываешь за чужими жизнями и завидуешь, завидуешь и ненавидишь!.. Ты из тех, кто тщится быть несчастным за чужой счет. Ты давно понял, что грязный, нечесаный, отверженный приметнее благополучного, вот ты и дерешь свои струпья… Не я, а ты любишь вкус собственной крови! Ты - человек замочной скважины, ты как один огромный глаз, смотрящий из унитаза… Но ты ошибся, решив, что земля - балаган. Нельзя притвориться шутом, даже напялив шапку с бубенцами. Шуты не бывают равнодушными и завистливыми…

Вадим замолчал, засопел тяжело, выкатил на меня обезумевшие глаза. Просто молодец, философ. Владелец глобуса, хозяин земного шара. Муж.

Я снял с полки первый попавшийся том, раскрыл его. Конечно же, на английском, и без картинок. Все-таки плохо пишут эти англичане, ни одного слова не поймешь.

- Что скажешь? - спросил он почти миролюбиво. Я знал, что пауза его успокоит.

- Ты прав, - сказал я.

Он откашлялся и я понял, что раскладушка на эту ночь для меня спасена.

- Извини, если я излишне резко… Но ты и меня пойми…

«Как быстро остывает их гнев, - подумал я, - наверное, потому, что праведный…»

- И Марию ты должен понять! - увещевал он меня, перейдя на драматический шепот. - Сколько лет она ничего о тебе не слышала, не знала - жив ли ты вообще… Я не домостроевец, - и ты мог бы хоть раз в год открытку присылать… Все-таки расстались вы цивилизованно… Разве я виноват, что она полюбила меня?..

Я стянул с себя рваное трико, рубаху и улегся на раскладушку. Я заслужил ее. Раскладушка проскрипела ста пружинами и провалилась в черноту, понеслась в этой черноте с безумной скоростью - ледяной ветер ударил в лицо, раскладушечный брезент затрепетал под тюфяком, как парус - все-таки жутко летать осенними ночами. Я попытался хоть что-то рассмотреть, но напрасно: пустота, холод и ветер были вокруг - ни огня, ни звезды.

«…вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн моря поют…» - прохрипел я простуженной глоткой, раскладушка остановилась, как вкопанная, я свалился с нее, полетел куда-то вниз и растянулся на полосатом комковатом матрасе.

- Тюфяки здесь таганские, - сказал заскорузлый мужик, - полосатые, как роба зековская…

- Это раньше роба такая была, - заметил фиолетовый.

- Мужики, Тамбов проехали? - спросил я у них.

Они промолчали.

- Сплошное говно вокруг, - добавил я.

- Но бабец у тебя славная, тоскливая!.. - мечтательно сказал заскорузлый. - Сиреневый туман над нами проплывает… Если бы меня такая провожала, я бы сроду никуда не уехал… И слезы у нее по щекам, как в картине… Моя-то блядь только по пьяне плачет…

- Где, где я садился в поезд, ребя?

Мужики захохотали, фиолетовый принялся разливать по стаканам вино.

- Как женщину эту зовут, как?..

- На, вздрогни, да костюмчик свой не закапай.

Я взглянул на себя: старенький, но вполне приличный профессорский костюм - шерстяной, серый, в елочку - был мне велик, но я сразу почувствовал себя приверженцем современных компьютеров.

- Мужики, выпьем за умные машины? - предложил я. - Миллион операций в секунду…

- За умных, так, за умных, - сказал заскорузлый, - не за дураков же пить. Будем!.. А бабу свою ты Марией называл, Машей, значит…

- Костюмчик береги от бормотухи, - повторил заскорузлый. - Нынче шерстяная материя в большой цене… Дорога материя…

- Материя первична! - свесился с полки третий мужик.

- Особенно шерсятная, - поддержал фиолетовый. - В пятьдесят девятом году я пинжак купил, так уже к шестидесятому его моль съела - вкусная вещь!..

- Умели раньше делать! - не отстал от остальных заскорузлый. - Хоть материю, хоть сознание! А теперь дерьмо одно…

За вагонным окном проплыло следующее осеннее дерево на желтой равнине, и еще один грузовик, пытающийся выбраться из раскисшей колеи.

- Какая-то чужая планета, - предположил я.

- Точно! - поддержал заскорузлый. - Я и сам заметил - кругом все не наше… И солнца не видать…

- Едем-едем, а будто на месте стоим, - сказал третий мужик.

- Завтра восемь месяцев будет…

- Что? - спросил я.

- Восемь месяцев, как выехали. Ты что, со счету сбился? - засмеялся фиолетовый. - А не мудрено!.. От этой собачьей жизни паровоз - и тот заблудился…

- В самом деле, куда катим?

- Не катим, а катимся…

- Это ты зря! Живем неплохо, с голода не умираем, начальство меньше звереть стало… А свободы сколько дали!..

- Вот именно, дали, - сказал я, - а может подали?..

- Ну и что!? - взорвался заскорузлый. - А хоть бы и подали!.. Нас не натыкай носом в эту долбанную свободу, как кошку в говно, мы наступим сапожищем в нее и не заметим, пройдем мимо…

- Нужна она тебе. Делакруа на баррикадах, - заметил третий мужик. - У нее только титьки хорошие, сами в руки просятся…

- Тебе, может, и не нужна… А путным людям - и титьки, и свобода всегда пригодятся, - сказал заскорузлый.

- Разговор у нас какой-то непонятный, - сказал я. - С пятого на десятое…

- Жизнь непонятная, вот и разговор такой, - объяснил фиолетовый. - Но, впрочем, может быть, все наоборот - от непонятных слов - жизнь непонятная… Все-таки вначале было слово…

- С этим не поспоришь, - сказал третий мужик. - Любое дело со слов начинается… Слово - сила неоценимая!.. Возьмем твою Марию, ну, которая тебя на вокзале провожала, - толкнул он меня в бок, - так она обняла тебя, что-то сказала, а у тебя аж слезы из глаз!..

- У меня слезы?.. Померещилось тебе!..

- Ага, померещилось… Ей тоже, наверное, померещилось, поэтому она стала своим платком глаза тебе промокать… Ты, бедняга, сиганул от нее в вагон, даже судака своего забыл… Да ты не придуривайся, что ничего не помнишь, это только счастливые не помнят, а ты не похож на такого…

- Судака? - спросил я.

- Ну, конечно, вон на верхней полке лежит…

Я поднял глаза: с полки свешивался влажный свинцовый судачий хвост.

- Восемь месяцев, говоришь, едем, а судака будто только из реки вытащили…

- Ну и что?.. Сам сказал, что на чужую планету попали… Может, тут не рыба гниет на воздухе, а человек?.. Да и потом, разве здесь воздух?..

Он шумно потянул носом:

- Нет, это не воздух. Вонь одна…

Я встал, подтянулся до верхней полки. Так и есть, выше спинного плавника, почти у самой головы, судачье туловище опоясывал свежий, розовый шрам.

- Вот и я смотрел, - сказал снизу заскорузлый, - голова-то приросла, хотя и вареная…

- Приросла?..

- Точно!..

Я опустился на полосатый железнодорожный матрас, посмотрел на попутчиков: скромные, интеллигентные люди, в глазах мудрое спокойствие, на губах тонкие улыбки, в твердых руках алюминиевые кружки - ни капли рубиновой бодрости не прольется на липкий пластик стола.

- А я вам говорю, что здесь другое измерение, - сказал фиолетовый. - Совершенно другое… Четвертое или пятое. Скорее даже шестое…

- Ага, - сказал я, - или седьмое…

- В седьмом я был, - продолжил фиолетовый, - не похоже здесь на седьмое…

- Конечно, - кивнул я.

- И я о том, - отхлебнул он из кружки. - Все зависит от взгляда… Идешь ты по улице имени Гринберга…

- Гринберг? Кто такой?

- Да, никто. Для примера говорю. Пусть будет проспект Цезаря или переулок Батыя…

- Куда ни сунешься - везде инородцы, - проворчал третий мужик.

- Так вот, идешь по переулку Батыя и знаешь, что в этом доме кабак, а напротив Нюрка веселый дом держит. А чуть дальше правительство думу думает, а в сквере сам железный Батый, а под ним нищие сидят… А на стене манифест… И дождь идет третьи сутки, по грязным лужам троллейбусы ползут… В общем, все известно, и ты делаешь только то, что ожидает от тебя эта улица, что она тебе разрешает. Загорается красным светофор - и ты стоишь, а если нет - улица бросит тебя под колеса… Ты покупаешь бутылку вина и пьешь где-нибудь в подворотне, а рядом уже стоит живая душа - ждет пустую бутылку… Короче, в своем измерении мы делаем только то, что положено нам здесь… Мы не летаем, как мыльные пузыри, не жрем карбид, не размножаемся, как инфузории, делением, хотя народ из сорок второго измерения только так и поступает… Ты расскажи тамошнему люду, чем мы питаемся - они умрут от омерзения, а уж если узнают о нашем способе размножения - обхохочутся…

- А что, неплохой способ, - мечтательно сказал заскорузлый.

- Не перебивай! - одернул его фиолетовый и продолжил:

- Измерений и пространств не счесть. Просто жуть сколько их. И все они одно в другом, как матрешки. Если обделался в одном измерении - воняет во всех сразу. К чему я это говорю?.. Да к тому, что попасть из одного пространства в другое - пустяк. Никаких машин и приборов не нужно для этого…

- Любишь ты фантастику с вермутом, - сказал заскорузлый.

Фиолетовый не сразу удостоил его ответом:

- Ненавижу всякую ученую болтовню. Все эти гиперпереходы и расширяющиеся вселенные, позитроны и контрацептивы для меня, как красная тряпка для быка. Эти осциллографы и калькуляторы придуманы исключительно для того, чтобы мы все глазели на экраны и стрелки, чтобы ушами хлопали и не сомневались в том, что все устроено именно так, как нам вдалбливают…

- Точно! - поддакнул третий. - У нас всех в башках не мозги нормальные. А кино крутится… Сволочь какая-то вправила нам это кино с рождения - и мы смотрим, смотрим. Смотрим!.. Нам бы по сторонам посмотреть и назад обернуться, а мы в одно место таращимся!

- Конечно! - сказал фиолетовый. - Присматриваться нужно. Я не зря говорил о привычных улицах, привычной жизни. Мы смотрим на эту жизнь в четверть глаза и ничего не замечаем. Стоят дома, идут машины, бегут люди… А, может, все вокруг фальшивое? И люди подменены, и машины чужие? И уже давным-давно мы в другом, враждебном измерении?

- Это хороший разговор, - перебил его я, - но слова - как вино натощак - кружит голову, отбивает аппетит, но голода не утоляет. Вредная практика пить натощак…

- Понял, понял упрек, - замахал руками фиолетовый. - Есть сотни способов перебраться из одного измерения в другое… Здесь у нас можно просто внезапно резко оглянуться назад или наоборот - подпрыгнуть вверх и постараться в деталях рассмотреть то, что происходит сейчас впереди… Или взять любую знакомую вещь и рассматривать ее тщательно, не гнушаясь никакой мелочью, никаким пустяком - каждый штрих, каждую точку. Каждую самую крохотную линию - и ты, вдруг, увидишь, что у тебя в руках не совсем то, к чему ты привык… Глядя на себя в зеркало, скосите вдруг глаза, и вам может открыться неведомое, только не пугайтесь!.. Или вот хороший способ, многие им пользуются - постарайтесь оба глаза скосить на кончик носа - минуты три-четыре удерживайте зрачки в этом положении - и можешь оказаться совсем в другом мире…

Дверь в купе распахнулась и вошел проводник, протянул мне скомканное рваное трико, рубаху прошедших веков, разбитые кеды и несколько смятых купюр.

- Вот, держи! Скоро станция, а ты без всего остался…

Он изумленно уставился на мой костюм, хмыкнул, обвел разочарованным взглядом батарею пустых бутылок на столике, произнес непонятно:

- Ну, летчики! Голытьба хренова! Смотрите мне!..

- Ты сзади, сзади посмотри, что у тебя! - крикнул ему фиолетовый.

Проводник испуганно дернулся, обернулся и, вдруг, покатилась по полу форменная фуражка, повалился пустой китель, звякнув медной бляхой легли к нашим ногам брюки, а плотные холщевые кальсоны простояли дольше брюк, но и они вскоре беззвучно рухнули на остальную одежду - сам же проводник исчез, растворился в воздухе.

- В шестое, в шестое измерение бросило его! - обрадовался фиолетовый. - Повезло ему, гаду! Там шесть выходных на неделе, а водка дешевле молока…

Я стянул с себя шерстяной поношенный костюм, вполне приличный, более приличный, чем мне полагалось в этом измерении.

- А я боюсь попасть в тринадцатое измерение, - сказал заскорузлый. - Чертова дюжина одни несчастья приносит. Как ты думаешь?

Я надел рваное трико, рубаху, зажал в руке деньги, принесенные исчезнувшим проводником.

- Что ты делаешь? - уставился на меня фиолетовый.

- Я боюсь оказаться в таком измерении, где каждый живет в чужой шкуре, в чужом костюме, - сказал я и скосил глаза к переносице. Стены купе подернула пелена, за окном сгустился мрак, замигала и погасла люминесцентная лампа под потолком - и все исчезло - только темнота, тикающая, как мина замедленного действия, осталась со мной. Я зажмурил глаза: где я? И тут же неподалеку хрипло заорала кукушка: ку-ку… Сколько жить в этом лесу?

Ку-ку, ку-ку, ку-ку… Три раза прокричала дивная птица и захлебнулась. Я открыл глаза: прямо над раскладушкой в пятне заблудившегося света висели часы, притаившись внутри них, напрягала пружинную глотку для следующего куплета пунктуальная птаха.

- Что ты заткнулась, певунья? - спросил я у нее и поднялся с раскладушки. Кукушка не ответила, и я огляделся. Ламп никаких не светилось, но по корешкам книг, забитых в стеллажи, по зелени недопитых бутылок, по материкам и океанам картонной земли, по сонным фотографическим мордам, развешанным по стенам, бродили разноцветные блики, может быть, отсветы далеких космических битв. В открытую форточку заглядывала крупная зеленая звезда. Звезда жужжала, как электробритва, наверное, к морозам - есть такая народная примета. На подоконнике светилась полированная деревянная указка, увесистая педагогическая дубинка.

- Сучий профессор! - сказал кто-то, может быть, глобус.

- Что? - спросил я.

Никто не ответил.

Я крутанул глобус и жуткая сила сбила меня с ног, швырнула к стене, придавила невыносимой тяжестью. Грудную клетку сдавило так, что я закричал. Но мое хрипенье - «а-а-а-а-ааа…» - не протащилось и метра от меня, плюхнулось на пол лопнувшим воздушным шаром. Воздух со свистом потек в форточку и сразу перехватило дыхание. Что ж, придется жить в безвоздушном пространстве, нам не привыкать. За окном посыпались выстрелы, ухнул взрыв, второй. Я едва поднялся на ноги, все вокруг ходило ходуном, сыпались со стеллажей книги, статуэтки, все профессорские безделушки. Только водочная и винная бутылки стояли, как сфинксы. С неимоверным усилием переставляя чугунные ноги, я двинулся к сумасшедшему глобусу. На его поверхности красными прыщами наливались очаги напряженности, разрастались мерцающие пятна радиоактивных полей, синюшными отеками расползались наводнения. Что-то взрывалось и вспыхивало на раскрашенном картоне. Я уцепился за подоконник, перевел дух. Небо за окном поблекло, и зеленая звезда понеслась вниз. На ее место выкатилось солнце, недолго побалансировало и умчалось на запад, но мгновенно вынырнуло на востоке - промелькнуло и опять закатилось. Ураганный ветер протащил мимо окна громыхающий трамвай, причем, задом наперед: вагоновожатый, покрытый форменной фуражкой, как генерал, неулыбчиво смотрел через стекло трамвая, осуждая мир за нестабильность.

Кукушка принялась орать тонко и пронзительно, как на ускоренной грампластинке: ку-ку, ку-ку, ку-ку, ку-ку… Я досчитал с ней до сотни и сбился. Кому кукуешь, тварь?..

Из-за угла на улице выкатился танк, поводил хоботом орудия по сторонам и ахнул, окутавшись дымом и пылью. Над крышей исторического музея поднялось чадящее масляное пламя, наверное, занялись святыни. Из подворотен высыпали воины, народная армия, и принялись строчить из автоматов, метать гранаты. Врага не было видно, но потери получались обильные, и это вселяло уверенность в справедливость правого дела, обильно политого кровью. Убитых красиво накрывали национальными флагами и отправляли на торжественные похороны под светлые слезы невест. Гремел оркестр.

Совсем низко над крышами проревела реактивная эскадрилья, ударила из пушек, и рухнул музей, рухнуло здание аптеки и похоронило под собой танк, воинов с автоматами, смолк оркестр. Но раскатилось громовое «ура» и улицу заполнили солдаты противника.

Я добрался до глобуса и остановил эту картонную вертушку. Тут же зеленая звезда вернулась на место, но стрелять на улице не перестали, революция, должно быть.

Кукушка прокричала шесть. Я взял бутылку водки и вышел в коридор. Дверь супружеской спальни была закрыта плотно, я толкнул ее рукой, и она пропустила меня. Надсадно сопел на Марии профессор, она тоже легонько постанывала, вцепившись руками в его рассветную спину.

- Доброе утро! - поприветствовал я их, и они, завизжав, принялись закапываться в одеяла.

- Ты что?! Ты с ума?! - закричали они одним голосом, полным оргазма.

- Наверное, ничего так не освежает, как раннее половое сношение, - сказал я. - И рюмка водки к нему… Я как раз принес бутылку…

- Вон! Вон отсюда! Мерзавец! Паразит! - их голоса опять слились. - Убирайся!..

- Не могу понять, какие слова твои, - сказал я Марии. - Это обиднее всего… Вы с ним одно целое… Я ведь тоже люблю тебя, ищу тебя шестьсот шестьдесят пять лет, но разве могу я позволить говорить тебе чужим голосом?.. Зачем жить без своего голоса? - это же бессмысленно… Зачем горбатиться, вытягивать продовольственными сумками руки до колен, если все твои слова - не твои?..

- Ненавижу! Мне кажется, что вся мразь и чернота на земле - от тебя! - сказала Мария.

- А от тебя - свет…

Я поставил бутылку у их кровати - и вышел, плотно прикрыл дверь.

Верка спала в своей, совсем крохотной, спаленке на узенькой жесткой кушеточке, на такой кушетке и снятся все верыпавловнины сны. Она лежала, свернувшись калачиком, как все одинокие, слабые люди. На лице ее было ожидание и надежда, губы чуть-чуть шевелились, может молитва? Бедная, напрасная жизнь…

У изголовья на столике светились два золотых колечка с бирочками. Металл любви… Я взял кольца, сунул их в карман и вышел из комнаты, из квартиры, из дома.

Ледяной утренний ветер тащил запахи пороха и пожара. Суровый патруль протопал кованными сапогами и оценил мою благонадежность тремя парами настороженных глаз. Рваное трико и разбитые кеды ничем не грозили стране.

Не торопясь, я пошел по пустынной улице. Спешка - удел голодных, а я сыт всем по горло. Ударил где-то выстрел, и пуля провизжала у меня над головой.

«Неужели сыт? Неужели, наконец, нажрался, нахлебался, насосался?.. Все?.. День любви кончился?.. Нечего больше искать, незачем болтаться по железным дорогам, незачем заглядывать в глаза прохожим - все найдено, все понято?..

Я вышел на берег вчерашней реки. Рыболов радостно помахал мне рукой:

- Стреляют, а?! Во всех подряд! Снайперы на крыше театра засели, в «очко» режутся… А ставка - сам знаешь, какая ставка, на это всегда играют…

- Клюет?

- Не знаю, еще удочки не разматывал, жду… Тут подводные лодки воду взбаламутили… Вот уляжется эта муть - и все пойдет…

- Не скоро уляжется, - сказал я.

- Наверное, - согласился он. - Но надо ждать.

Я достал из кармана трико золотые колечки, взвесил их на ладони - легонькие, бесполезные ледышки.

- Чего это? - спросил рыболов.

- Кольца обручальные… Хорошей пробы… Дочь замуж собралась, а меня не спросила. Не спросила… Я, может, не против, но все-таки…

Я размахнулся и швырнул кольца в реку. И сейчас же из воды вылетели две свинцовых торпеды - метровые судаки - и колечки с бирочками исчезли в их зубастых пастях.

Рыболов бросился разматывать удочки. Ловись рыбка!

- Эй! - окликнул я его.

Он не услышал, занятый.

- Эй!..

- Что? - наконец, повернулся он.

- Здесь у вас какое измерение?

- Шутник! Такое же, как везде… Метр - сто сантиметров, килограмм - тысяча грамм…

- Ага, понятно, - сказал я. - Ширина, высота, длина… Короче, пространство и время…

- Нет, - перебил меня он, - вот этого, последнего, у нас нет. Времени… Ширина есть, килограммы тоже иногда бывают, а времени нет. Нет… Не слышали о таком, извини…

- Ничего, - успокоил его я. - Просто я нездешний…

Я скосил глаза к носу, все раздвоилось, поплыло: желтая равнина, буксующий грузовик, согнутая фигура в брезентовом плаще, мужик с заскорузлым, как пятка, лицом - все завертелось и понеслось сквозь меня, и я, вдруг, понял: как легко прощаться с любым измерением, как невозможно проститься…

ДНЕВНИК

Утро.

Ни одной ночи без снов. Если все их записать – готова мировая книга кошмаров. То маршируют до рассвета нарумяненные старухи в милицейской форме – целый взвод, то гоняется за мной огромная, как зеленый танк, тоже зеленая, бронированная буква «О», как будто она знает, что я в пьяной студенческой, немного затянувшейся, юности орал где попало «…я с детства не любил овал, я с детства угол рисовал». Буква не норовила раздавить, хотя громыхала по пятам многотонной сталью, она как будто устрашала, мне чудился в самом ее овале жуткий оскал…

Но чаще всего притаскивается в сон сосед с двенадцатого этажа – жирный, как боров, вечно поддатый…Сосед и наяву каждый день приходил, признал за друга, притаскивал анашу, которую называл дурью. Я попробовал – никакого эффекта, головная боль, тошнота. Сегодня под утро пожаловал, мне казалось, что я уже и не спал, протянул какой-то чудной предмет, посверкивающий в предрассветной мгле не то медью, не то бронзой. Я отшатнулся, пригляделся – не кинжал ли жалящий? Оказалось - огромный ключ, похожий на причудливую букву «Ф». Опять буква… Может, я провинился перед мстительным русским алфавитом, не угодил ему капризному, ошибался часто и писал вместо «ненавижу» - «люблю»? Или «ча»-«ща» упрямо выводил через «я» и плутал в сложных подчинениях, упрямясь в заблуждениях: «как слышится так и пишется»?

Я для чего-то взял ключ в руку, как топорик – тяжелый, холодный – будет чем защищаться от алфавитного нашествия. Сосед сказал что-то похожее на «сие тайна великая есть» - и я проснулся.

Рассвет только начинал пробиваться через пожелтевшие, ломкие газеты, давно заменяющие занавески. Я, конечно, купил бы занавески, но газеты мне нравились больше – я читал их часто по утрам, как исторический роман, и чем дольше висели газеты, тем интереснее роман становился. Я даже немного гордился тем, что, скорее всего, он существует в одном экземпляре, вряд ли еще у кого-нибудь на окнах те же самые номера. У меня про улучшающуюся жизнь народа, большие свершения в литературе, успешные, покорившие мир, оперные и балетные постановки, и немного о зарвавшихся нелегальных иммигрантах, а у кого-нибудь – о катастрофах, глобальном потеплении, роботах, которые готовятся поработить человечество.

Я выбрался из-под одеяла, с опаской посмотрел на чугунную, похожую на дредноут времен русско-японской войны, батарею центрального отопления. Интересно, почему его называют «центральным», может оно центр всего нашего мироздания, управляет и

жизнью, и смертью, особенно в такие студеные времена? С неделю - другую назад – тоже перед самым рассветом – я увидел огромную, седую от старости, крысу. Она догрызала в полуметре от моего раскладного кресла плотную серую бумажку. Я присмотрелся: это был похвальный лист, врученный мне за успешную учебу во втором классе тридцать четвертой начальной школы города Уральска. С тех пор я не получал больше никаких наград, и эта серенькая, с большой расплывчатой сиреневой печатью, неразборчивой подписью директора, была мне, наверное, дорога. Я не выработал до конца своего отношения к ней, не понимая, чем отличается похвальный лист от грамоты, а та в свою очередь от почетной грамоты, а ведь еще, кажется, на свете были благодарственные письма, фотографии у развернутого знамени части, благодарности с занесением в трудовую книжку… Ничего этого у меня не было, и я очень дорожил своим похвальным листом. Да, точно дорожил. Поэтому я повернулся на бок и с размаху ударил ногой крысу, и взвыл наяву, попав в баратею. Кажется, я сломал большой палец, потому, что с тех пор он болит и болит, и наступать на него почти невозможно. Я туго прибинтовываю его к другим пальцам, как к шине, и тогда можно терпеть. Также стихает боль, если надеть на ногу зимний ботинок, и я по цельным дням и вечерам не снимаю его, а первые дни даже спал в нем, опасаясь, что сон с крысой повторится, и я нанесу себе увечья и на другой ноге. С тех пор, просыпаясь, я первым делом смотрю на батарею, как на несокрушимую твердыню. Конечно, можно отодвинуть кресло подальше от теплого чугуна, но место у батареи - единственное в комнате, где не очень зябко.

Я не люблю холод, но зима, зная мою к ней ненависть, заковала навек наши пространства, уступая лету жалкие крохи времени. Град в июле я воспринимаю, как трагедию лета, в сентябрьских, еще не ледяных дождях, мне уже мерещится снегопад, утренние октябрьские заморозки не дают мне забыть, что на земле есть Антарктида. Однажды мне пришлось жить в беседке, обшитой черным ломким толем, а на дворе стоял мягкий февраль – мороз в тот год не опускался ниже пятнадцати, и у меня было два ватных одеяла, и электрический обогреватель – толстенная спираль, намотанная на огнеупорный кирпич, но хозяин, сдававший мне это жилье, хотя и воровал электричество, но опасался за пожарную безопасность, ему было бы жалко сгоревшей беседки; он и меня, конечно бы, тогда пожалел, ведь часть платы за жилье я вносил рубкой дров, а, кроме того, выгребал золу из двух хозяйских печей, а также помогал хозяйскому отроку в одолении английского; считалось, что если я студент, то обязан хоть как-то знать английский – я и не отказывался, ведь понимаю же, хоть и не без труда, «**to be or not to be**». Поэтому еще до полуночи хозяин отключал электричество, а мне ночью снилась Сахара. Тогда я схлопотал двухстороннее воспаление, и отогревался в больнице почти месяц…

Довелось мне как-то в тридцатиградусный мороз с несколькими друзьями провести дня три в степном заброшенном селе. Его жители отступили в панике перед каким-то нашествием, кажется итальянского пруса, побросали незапертые глинобитные дома, оставив в них всякую всячину – сапоги на левую ногу, копилки с деньгами, погубленными еще реформой **1961** года, граммофонные пластинки с голосом Есенина: «Проведите меня к нему, проведите…», целебные травы в мешочках – от всех недугов, кроме одиночества и страха, - только дров не было запасено, да и где их взять в голой, воющей ветрами степи? Нас застигли в этом печальном месте декабрьские вьюги, перегородили непролазными сугробами и снежными завесами все пути и дороги, хорошо еще, что итальянский прус дремал под землей и снегом, и не угрожал мирным путникам, и пришлось нам забиваться в какой-то дом в надежде найти в нем хотя бы остатки былого тепла. Но напрасно. Печи были давно засыпаны песком и снегом, окна выбиты, все, что

могло гореть, было сожжено задолго до нас. Во всем мертвом селе мы нашли пару табуреток, пару стульев, пару еще не снятых дверей, да пару окованных жестью старинных сундуков, набитых книгами. Мы выбрали дом, в потолке которого зияло отверстие дымохода разрушенной печи, и развели костер прямо в доме, рискуя сгореть заживо, но мороз казался тогда страшнее пламени. В первый же день сгорели и табуретки, и стулья, и двери, а потом и сундуки. Мы чуть-чуть отогрелись и даже поверили, что спасение возможно. Ночью холод стал возвращаться, тянуться к нам сосульками с низкого потолка, протягивать ледяным сквозняком, и тогда пришла пора книг. Мы бросали их в огонь без всякого сожаления, смотрели безучастно, как жар сворачивает страницы, и протягивали к ним закоченевшие ладони. Иногда огонь как будто выделял напечатанные слова, делал их выпуклыми, объемными; мы и не думали искать в них пророческий смысл: «…Кто стать звенящими поможет Еще не сказанным словам», «Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза», «Знай, что от сердца – голова есть, И есть топор – от головы». Книги не сгорали полностью, после них оставались головешки, казалось, что это останки поэтов. Книги горели долго, но тепла давали мало, мы стали замерзать все больше и больше, и кто-то сказал:

- Холод от ума…

Книг хватило на всю ночь, наутро мы стали выламывать дверные косяки, оконные рамы, где они еще остались, но и этого топлива хватило ненадолго, тем более, что здесь до нас уже замерзали люди, и вырубили и сожгли все, что могли, и, может, их заиндевелые останки мы еще обнаружим в одном из обледеневших домов**?** А спустя многие годы найдут и нас рядом с обгорелыми книгами, и непременно осудят: «Члены тайной секты книгоненавистников…».

Вторую ночь мы не надеялись пережить. Собрались в одной крохотной комнатке, притащили все, что казалось нам горючим, даже обтрепанный и потерявший узор и цвет туркменский ковер. Костер сыпал искрами, чадил и должен был умереть еще до полуночи. Мы сидели вокруг него так тесно, как могли, и чем меньше становилось пламя, тем еще теснее делался наш круг.

Был среди нас старик, безымянный и неприкаянный, как все старики. Когда-то он был молод, и никак не мог забыть об этом, рассказывал длинные истории, приключившиеся с ним когда-то, как будто согревался ими. Когда мы обнаружили еще одну еще не сожженную дверь, которая могла продлить нам жизнь еще на полчаса, старик завел новую историю: «Много лет назад потребовалось выкопать погреб, холодильников тогда не было и продукты хранили под землей… Земля много чего хранит… Было это в Уральске в самом начале пятидесятых годов. Землекопы дружно взялись за дело, их старание было бы вознаграждено не только уговоренной денежной суммой, но и четвертью первача. Работа пошла дружно, специалисты попались отменные, хотя городской грунт был пополам с камнями, битым кирпичом, щебенкой. Город старинный, много в нем чего строилось, а когда строилось, то думалось, что на века. Не все думки, конечно, сбылись, так уж водится, а мусора строительного накопилось за века много. Однако попадались землекопам – чем глубже, тем больше – и всякие занятные вещицы. Например, запечатанный сургучом штоф, в котором плескалась зеленоватая жидкость. Распечатали, понюхали, кажись, водка, но пить не решились. Хозяйка будущего погреба забрала штоф – «пригодится» - а жидкость выплеснула – «отрава она и есть отрава». Денег старинных нашли с пригоршню – все больше медных, чуток было серебряных, а золотые не попались. Тоже хозяйке отдали, а чего на них купишь-то, вот если бы червонцы царские в земле обнаружились**!** Нашли в земле и саблю, в рукоятке три голубых камешка вделаны,

должно быть, бирюза, а по ржавому клинку словесная вязь, но не разобрать чего там – мысль какая выточена или пожелание заветное. Попытались оттереть ржавчину, но клинок сломался – уж больно стар был, и опять же его хозяйка забрала. А еще извлекли из земли на свет Божий кубатки из-под каймака, подковы и страшные цепи, с которыми ржавчина не смогла справиться.

А потом началось непонятное. С одной стороны выкопанного погреба показалась как будто каменная кладка. Расчистили – так и есть, кирпичная стена выложена. Кирпич крепкий, красный, как будто только что из печи. Подивились землекопы, не приходилось видеть, чтобы под землей стена стояла. Стали гадать за какой надобностью она построена. Вспомнили, что поговаривали старые люди, будто в давние времена под Яицким городком, который по нынешнему Уральском называется, понастроено было множество подземных ходов, тайных подземных комнат – не одну версту ходы и лазы эти тянулись. Сооружены они были на случай осады – и не только для внезапного для врага перемещения войска, но и для сохранения ценностей. Ходили слухи, что и злата, и каменьев драгоценных полным-полно в этих подземельях. Яицкие казаки – народ основательный, запасливый, из походов много добра привозили, берегли его.

Разгорелись глаза у землекопов, вот ведь какое дело выходит, может в метре от них клад бессчетный лежит? Опять взялись за лопаты, и тут же показалась в земле дверь – железная, с чугунным кольцом вместо ручки. Взялись за кольцо, но хотя силушки в мужиках много было – дверь не сумели открыть. Потом разглядели: на двери-то прорезь для ключа, да странная какая-то – в форме латинской буквы «Z». Ключа этого, конечно, никто им не припас. Побежали за ломами, ножовками, кувалдами – и колотили, и били, и пилили, но не поддалась старинная дверь. Тогда решили стальным тросом попробовать – один конец его к чугунному кольцу, а другой к заплутавшемуся после войны «Студебеккеру» - машине американской, надежной. Хозяйка погреба сильно возражала, говорила, дескать, пусть эта дверь у нее в подземелье останется, глядишь, и откроется когда-нибудь сама по себе. Но ее уже никто не слушал. Когда богатство идет в руки – не до антимоний!

Зарычал «Студебеккер», натянулся, как струна, стальной плетеный трос. Все затаили дыхание – победит американский прогресс или дедовская старина? Грузовик рыл колесами землю, но не трогался с места, мотор чадил, и слышались в его визге панические нотки. И неизвестно чем бы кончилась затея, но оборвался трос, хлестанул по свежеотрытому погребу, и произошло непредвиденное – погреб обрушился, землей завалило и стену, и дверь… А время было уже к вечеру, решили перенести восстановительные работы на завтра. А завтра был выходной, а послезавтра землекопов пригласили в другое место, а послепослезавтра хозяйка принимала гостей по случаю своего юбилея, а послепослепослезавтра руки не дошли. А потом Сталин помер, расстреляли Берия, наступили новые времена и эскимо, которое стоило рубль десять, стало стоить одиннадцать копеек, и про обвалившийся погреб забыли, он превратился в свалку золы, да и зачем погреба в мире холодильников? Хозяйка всего год отмечалась в очереди за белоснежным «ЗИЛом», и ей домой привезли почти бесшумную холодильную машину. Поэтому со временем стал незаметным даже шрам от погреба, он затянулся, как старый окоп… Так и остались ненайденными несметные сокровища яицких казаков…»

К тому времени, когда старик закончил свою историю, холод сбил нас в один окоченевший, засыпающий, и в то же время скулящий, дрожащий организм, мы тесно сгрудились вокруг потухающего костра, который, в общем-то, не согревал, а наоборот

словно показывал, как немощен его огонь против стужи. Костер казался едва теплящейся звездочкой в бесконечной заснеженной, замороженной вселенной.

- Когда мы замерзнем, до нас доберутся волки…или лисы – через дымоход, - сказал кто-то равнодушно.

- Что им зайцев, что ли, не хватает? – возразил другой. – Зачем им падаль?..

- Зато падаль свежемороженая…

И в это время мы услышали гул мотора; по улице мертвого села шел трактор, а мы за поучительными разговорами чуть его не прозевали. Мы выскочили из дома, крича, махая руками…

В общем, все остались живы, а обмороженные пальцы, щеки и уши не в счет. Но холод я не люблю…

В комнате стало совсем светло, золотое пятнышко солнечного зайчика легло на заголовок «Дорога созидания», другой лучик почему-то побежал по стене, добрался до потолка, хорошо рассмотрел прищурившегося сытого клопа, перебрался на другую стену, преодолел винное пятно, скользнул на табуретку с джинсами, давно не работающим будильником, фотографией в поломанной рамочке. Он не остановился на фотографии, а дополз медленно к предмету, сверкнувшему на солнце не то медью, не то бронзой. Я пригляделся – на джинсах лежал огромный ключ, похожий на букву «Ф». Внутренне похолодев - что еще за фокус? - я осторожно взял тяжелую, прохладную вещицу. Присмотрелся. Так и есть: бородка ключа напоминала латинскую букву «Z». Что ж, может, и в самом деле пришла пора кошмаров наяву? Ну, где нарумяненные старухи, бронированные буквы?..

Я натянул джинсы, нашел куртку и потащился к жирному соседу на его двенадцатый этаж. Мысленно разделил путь на четыре этапа – по три этажа в каждом. Преодолевая первый этап восхождения, я размышлял над вопросом: почему толстяки забираются для жизни в такие высокие дупла, может быть, таким образом они исполняют свою заветную мечту быть подальше от придавившего их земного притяжения? Может, на высоте им, как орлам, легче? Наверное, в душе они - воздушные, легкокрылые существа, и очень страдают от того, что это не сразу становится заметно. Сначала лезут в глаза их отвислые животы, огромные ляжки, сальные щеки, и только потом тонкая душевная организация? Но, вдруг, все гораздо сложнее: в мире есть влиятельная тайная организация ненавистников толстяков, какая-нибудь «АнтиЖир-7» (цифра «7» для красоты) и она интригами, угрозами и даже похищениями загоняет их на высоту, откуда они не всегда решаются выбираться, опасаясь уже никогда не вернуться в свои поднебесные дома, не преодолеть тех сотен ступенек, которыми остальной мир отгородился от них, отверженных по весовому принципу. Наверное, они не смеют пользоваться лифтами, рассчитанными на астеников, а многие из них, вполне возможно, уже долгие годы заточены в лифтовых кабинах, застрявших и забытых на тридцатых – сороковых этажах, как на высоких широтах. Если бы мы все были милосерднее, то иногда замечали бы, сколько вокруг нас изгнанных, застрявших, отверженных.

Второй этап подъема подарил мне вернисаж. На этих этажах жили любители эротики, которой украсили все стены подъезда. Графику эту я не назвал бы революционной, но зато ей было не занимать непосредственности, ярких чувств, раскрепощенности. Обнаженные тела переплетались, словно старались поглотить друг друга, а, может быть,

это и было их подлинной целью? Мне даже послышались хрипение, стоны, причмоки… Неизвестные художники были так верны выбранному жанру, что сумели изобразить соития даже на потолке; на потолке – особенно талантливо. Над головой бились в оргазме те самые нарумяненные старухи с остатками милицейской формы на дряблых, наверное, от служебного рвения, бедрах; их ласкали мальчики с кокаиновыми глазами; за оргией жадно наблюдали морщинистые старики, не вынимая рук из карманов. А в центре этого граффити стояла прелестная девчушка с белокурыми кудрями, огромными зачарованными очами, и грозила пальчиком, должно быть, каждому, кто на нее смотрел. Вторым пальчиком она самозабвенно ласкала себя. Я попытался прикрыть глаза рукой, но пальцы сами собой раздвинулись и зрачок сфокусировался на напряженных сосках девушки, животе «Вот он порнографический реализм, - подумал я, - или все-таки романтизм?..»

Третий этап штурма лестницы проходил под явственный хруст стекла под башмаками. Я догадался, что здесь находят практическое подтверждение идеи, выраженные графически на предыдущем этапе. Очевидно, этому мешают электрические лампочки, освещающие подъезд, и с ними любовники безжалостно расправляются. Какие любовные драмы здесь разворачиваются, какие психологические и философские сюжеты остаются во всех смыслах без освещения, какие удивительные судьбы ждет зачатых на этих ступенях?

Последний этап – кипельно белые, стерильные стены - дался мне нелегко. На этой высоте, наверное, уже давало о себе знать кислородное голодание, да и сказывалось волнение: что за хреновина с этим ключом, что за фокусы и проникновения в сны? Я думал, переводя дух, перед дверьми квартиры, в которой обитал жирный сосед: «Сны в нас – исковерканное сознанием отражение яви или прорывающиеся обрывки того, чего не должно быть на белом свете, но оно есть?» Не найдя ответа, я нажал на кнопку звонка, который закатился трелью где-то далеко-далеко. Видимо, огромная квартира была у жирного, или двери тройные.

Громыхнули засовы, щелкнули замки, звякнули цепочки, и девичий голосок спросил:

- Кто?

Я ответил:

- Я!

То ли меня, в самом деле, опознали, но откуда? – я звонил в эту дверь впервые, то ли голосок обознался, но одна за одной стали открываться двери – их и на самом деле оказалось три – и в проеме двери появилось знакомое существо – девчушка с белокурыми кудрями и зачарованными очами.

- Ты кто? – спросила она. – Связист?..

- Нет…

- Жалко, а то телефон неделю назад заткнулся, никакой связи нет…

- Мне бы узнать…

- Так ты маляр? Наконец-то… Эту пакость на шестом этаже забелить надо… Я вот встречу этого Рафаэля – глаза ему выцарапаю…

- Санти? Рафаэль? – спросил я для чего-то.

- Не, Рафаэль Загидуллин из пятого дома. Ты видел, как он меня накорябал?..

- Сходство большое…

- Вот именно, что большое. Теперь прохода не дают, спрашивают: участвовала ли я в такой оргии?

- Участвовала? – против воли повернулся язык.

- Любопытный какой маляр! – захохотала она.

- Не маляр я, сосед. Мне, наверное, брата твоего нужно…

- Жиртреста?

- Кажется, его Дмитрием зовут.

- Ну, я и говорю – Жиртрест. Жирбургер. Его нет. Недели две назад уехал. Сказал, что в Уральск… Недавно и письмо прислал, не в самом он городе, а в каком-то поселке…название странное…

- Зачем? – ошарашенно спросил я.

- А фиг его знает!.. Может, клад искать?..

- Он что, кладоискатель?

- Он – придурок! – сказала она гневно. – Верит всякой чепухе… Как-то чердачные люди рассказали ему…

- Чердачные…кто?

- Люди чердачные… Ты что, никогда о них не слышал?..

Я мотнул головой – нет, не доводилось.

Она пожала плечами, дескать, бывают случаи и еще более запущенные, и принялась терпеливо объяснять. С ее слов выходило, что город, а, может быть, и весь мир населен многими народами, о которых никто ничего толком не знает. Некоторые из этих цивилизаций весьма древние, другие только развиваются, а живут они часто в полуметре от нас, но мы даже и не подозреваем об их существовании. Скажем, на крышах обитает народ крыш, эти свободолюбивые люди начали заселять черепично-жестяные пространства еще во времена Анны Иоанновны, спасаясь от страшного «государева слова и дела»; однако, не только смерти они опасались – чужд им был суконно-казарменный порядок послепетровской Руси. Люди крыш незаметны и всегда трезвы, и необыкновенно осторожны – жизнь всегда висит над пропастью, оступись - и внизу долго будут гадать: из какого самолета выпал человек без паспорта или очередного зомби послало одно из обширных кладбищ? Обитатели крыш склонны к философии, у них развита литература, особенно поэзия – до луны-то рукой подать. Они живут на чердаках, в лифтовых помещениях, заброшенных трубах и дымоходах, многие из них ночуют под открытым небом, не боясь ни снега, ни дождей, ни жары. На крышах много помещений, не заметных с земли; не заметен с земли и народ крыш. Дружественная им нация – чердачные люди. Они очень похожи – эти народы, но люди чердаков почти никогда не

поднимаются на крыши; этого не одобряет их наука, утверждающая, что каждый живущий под открытым небом находится под колпаком спецслужб, развесивших повсюду свои спутники, космические станции и телескопы. Спецслужбы на каждого заводят досье, в котором отмечают все сильные и слабые стороны людей крыш, чтобы потом использовать их в своих секретных целях, и может прийти время, когда сюда пожалуют незваные гости, и это может означать конец цивилизации крыш. Но люди, не боящиеся высоты, только усмехались: никому не дано отнять свободу у гордого, высокого народа, умеющего не только растворяться на поднебесных просторах, но и поднявшего на эту высоту науку. Они давно изобрели способ перемещения не только в пространстве, но и времени. Правда, оказалось, что перемещения на длительный срок невозможны, но и путешествия на минуту в будущее или прошлое позволяют им, при желании, быть всегда на минуту впереди противника…

Самый древний народ – люди помоек и свалок; почтенно и племя подвальных людей. Иногда показывается нам старинный род подворотен, отчаянные сыны империи канализаций, но есть и такие, о которых даже на крыше неизвестно почти ничего. Доходят только смутные слухи о людях пустырей, обитателях болот, таинственных существах, живущих в трансформаторных будках и умеющих будто бы передвигаться с устрашающей скоростью по линиям высоковольтных передач, и даже о ночном народе, который появляется только после полуночи, и никому неизвестно, где он живет днем, да и живет ли он днем вообще. А еще доходят глухие слухи о жестоком царстве подземелий, будто бы под нашими городами существуют тысячи километров подземных ходов, и там, в кромешной темноте развивается цивилизация Черных людей…

- Человек – гений мимикрии, тем более, что история цивилизации это…история того, как одни люди прятались от других, - сказала девчушка с белокурыми кудрями. – Типа, «кто не спрятался – я не виноват, получай палицей по башке!»

- Ну и что чердачные люди сказали Жир…Дмитрию? – спросил я.

- Наплели что-то о необыкновенном кладе, который находится в подземном хранилище в Уральске… Даже дали ему клочок какой-то пожелтевшей бумаги – не то карта, не то план…

- А что ж они сами не ищут клад, если у них карта есть?..

- Они ведь не живут на земле, а тут вообще куда-то под землю лезть надо… Да и от карты кусок оторван… Да и не верят чердачные жители в клады…

- А можно мне встретиться с кем-нибудь из них? – спросил я.

- Не знаю…Но я могу узнать… Дня через два, ага?

- Ага…

Среда

У соседа за стеной водились мыши, одна или две семьи, но многочисленные. Ко мне они почти не заглядывали, поживиться было нечем, но одна мышка повадилась, может, ей приглянулась моя одинокая жизнь и надоела своя собственная коллективная – среди

мышиных золовок, зятьев, кумов и сватов. Она приходила почти каждый вечер, бесстрашно забиралась на диван, а с него на стол – и смотрела на меня внимательными черными бусинками, не скрывала зависти – как же хорошо, что я живу без людского окружения! Привыкшая к жизни с многочисленной родней, она мечтала об одиночестве - сосредоточенности, самопознании, углублении в себя, которые плохо даются при жизни ноздрю в ноздрю, дыхание в дыхание. Я разговаривал с ней.

- Привет! – здоровалась она.

- Что нового? – спрашивал я.

- Рыжий кот Васька помер… Какой котище был!.. Достойный враг. Сколько горя через него мышиная диаспора приняла, но сейчас без него как-то пусто сделалось. В такие моменты начинаешь понимать, что жизнь без врагов также пуста, как и без друзей…

- Лишь бы она не была вообще пустой, - говорил я, и она грустно соглашалась. Вообще, она была прилично образована, как можно быть образованным, не покидая стен дома; она рассказывала, что у хозяина сороковой квартиры на десятом этаже хорошая библиотека, и в молодости она часто наведывалась к книгам, и в отличие от многочисленных своих родственников, ценящих в книгах только крахмал и клей, она прежде, чем полакомиться, пробегала страницу за страницей, если шрифт не был особенно крупным. Так она одолела и Майн Рида, и Карла Маркса, и Велимира Хлебникова, и Карла Каутского, и даже книжку под названием «Остров» какого-то Виктора Иванова… Она так полюбила чтение, что когда хозяин сороковой квартиры встал на защиту наполовину съеденной библиотеки и завел двух свирепых и огромных, как бегемоты, котов, она, рискуя жизнью, продолжала пробираться к книгам – все читала, читала и читала, и даже когда на ее глазах был пойман и зверски замучен ее двоюродный дядя, она не отказалась от чтения, только решила сменить библиотеку. Она долго искала подходящее собрание – и в квартирах, и в подпольях, где часто ей приходилось натыкаться на старинные сундуки с забытыми книгами. Однажды в своих путешествиях она наткнулась на темный и сырой лаз – наклонный колодец с кирпичными сводами, который вел куда-то в черную глубину. Лаз был впору и человеку, но кто бы решился опуститься в душную и беспросветную неизвестность? Местами в стенах лаза устроены были ниши, а в их каменные стены вделаны чугунные кольца, и мнилось, что некогда к ним кого-то привязывали, и жутко становилось даже предположить, что кто-то мог томиться в этой подземной сырой мгле. Преодолевая ужас, она принялась исследовать лаз; в первый же день добралась до некоего подобия подземной залы, заваленной рухлядью – истлевшей одеждою, разбитой мебелью,ржавым оружием, рассыпавшимся от одного прикосновения к нему, грязным битым стеклом, глиняными кувшинами. Из залы шло в разные стороны три лаза, но она не решилась двинуться хотя бы по одному из них. Так сумрачно, так страшно было в них!

Несколько дней после этого она не покидала дома, после сумрака подземелья многочисленное шумное семейство казалось роднее и милее. Она даже подумала, что никогда больше не решится спуститься в поземную залу, да и что там можно найти, кроме мертвечины, тлена, леденящего душу ужаса? Но прошла неделя, и она снова оказалась в лазе. Знакомой дорогой добралась до залы, и сразу юркнула в один из трех лазов, ведущих из залы. Лаз привел в другую залу, совершенно пустую, гулкую, показавшуюся ей огромной. Из этой залы в разные стороны расходилось четыре лаза. Чуточку посомневавшись, она двинулась по одному из них, почему-то думая, что он приведет в новое помещение. Так и получилось. Мышка попала в совершенно круглую залу. Трудно было охватить взглядом эту пропадающую в черноте комнату, похожую на арену. Даже

мышиного ночного зрения не хватало, чтобы охватить все пространство подземелья. «Для чего и кем все это выкопано и устроено? – думала она. – Ведь ничего не бывает просто так. Ничего не бывает случайно… Кто от кого прятался, кто кого искал?»

По всему периметру огромной залы виднелись новые лазы, она насчитала их двенадцать. «Что же это, что?» - спрашивала она себя, но ответа не было, да и откуда ему взяться, и тогда она выбрала ближайший лаз и двинулась по нему. С потолка время от времени сыпалась влажная земля, со всех сторон доносились какие-то шорохи, казалось, что вот сейчас рухнет невысокий свод, и никогда уже не вернуться ей в свое родное - теплое и сухое - подполье. Мысль эта повергла ее в панику: она и без всякого обвала может не найти обратной дороги, ведь она не позаботилась о том, чтобы хоть как-то помечать лазы, через которые она пробиралась! Мышь в ужасе бросилась назад. Но страх – плохой помощник в деле спасения. Она вылетела в огромную залу с двенадцатью лазами и закружилась по ней, пытаясь определить необходимый ей проход. Они все были одинаковыми – черными, страшными, холодными. «Только бы не сойти с ума!» - твердила она, мечась по сумрачной зале, но чувствовала – еще немного и разум откажет ей. Тогда она решила поочередно побывать во всех проходах – по часовой стрелке, хотя понимала, что сил на это может не хватить. На стене первого лаза она накорябала крестик, и пустилась в путь. И даже не удивилась, когда попала еще в одну круглую залу с двенадцатью ходами, ведущими во все стороны. Ей, вдруг, пришло в голову, что это чудовищное по своей запутанности подземное сооружение не что иное, как чья-то игрушка, забава – подземный лабиринт, по которому катаются живые шарики, попавшие сюда кому-то на потеху.

Она вернулась в первую круглую залу, пометила крестиком следующий лаз, и отправилась по нему. И тут же в одной из ниш наткнулась на прикованный к стене скелет с остатками кожаной одежды. Первой ее мыслью было скорее бежать из этого устрашающего места, но она заметила лежавшую рядом со скелетом старинную книгу, которую, видимо, узник держал в руках до самой своей печальной кончины, и тут же поняла, что фолиант этот вполне может послужить источником продовольствия, если поиски выхода на поверхность затянутся. Она знала, что в давние времена в изготовлении книг использовали только экологически чистые материалы, не подрывающие мышиное здоровье. Нужно было преодолеть естественный страх перед ужасным узником, и подкрепиться, но она была уверена, что голод могущественнее страха, и не ошиблась. И десяти минут ей хватило, чтобы освоиться и добраться до вкуснейшего переплета.

- По привычке я стала пробегать глазами написанное, - рассказывала мне мышка. – И нужно сказать, что странное содержание было в этой книге. Нелегко было разбирать вязь старинного письма, но смысл изложенного витиеватыми выражениями понять было можно… В книге описывалось какое-то чудо, даже «чудо из чудес», тайна мироздания, «секрет, на котором сущее держится», «сокровище мира»… И находится это чудо на берегах Урала… В старинном городке, где из века в век бунтовали, уходили на поиски Беловодского царства… Ключ от этого чуда найти невозможно, он однажды появится как бы сам по себе. Материализуется в тот момент, когда мир будет способен принять это сокровище…

- Вот отсюда немного подробнее, - попросил я мышку, и меня охватило непонятное волнение… Я достал странный ключ, появившийся у меня недавно, похожий на букву «Ф» с бородкой, напоминающей латинскую букву «Z», и мышка узнала этот странный ключ.

- Написано было в книге, что формой напоминает ключ этот благородную букву «ферт», или на «глаголице суть «фита», - сказала мышка. – Как сложно по-русски выражаться… Там и рисунок был с этим ключом, точно с этим…

- А как городок то старинный называется, где клад-то этот зарыт? – спросил я у нее.

- Прежде по-разному назывался он, а пока Уральском именуется…где-то в нем и схоронено сокровище…

- А точнее? – спросил я, но уже горела во мне догадка, и не выходил из головы давнишний рассказ безымянного и неприкаянного старика про выкопанный и обрушившийся погреб с таинственной стеной и стальной дверью.

- А точнее не помню, в книге все так мутно и запутано…

- А книга-то где? – стал горячиться я.

- Две недели плутала я в подземных лабиринтах, и чтобы не умереть с голоду, все время наведывалась к прикованному скелету, к его фолианту. В итоге…

- Понятно, - огорченно сказал я. – Документ эпохи сожран…

Она обиделась:

- Я только боролась за свою жизнь, в принципе ничего против книг не имею, даже наоборот. Если бы я не выжила в том страшном лабиринте, то кто бы тебе поведал об этом?..

- Извини, погорячился, - сказал я. - Уральск не такой большой город, найти то место будет несложно… В конце-концов существуют современные приборы всякие…электронные…

- Думаешь, что все-таки нужно искать?.. – спросила мышка, и в ее голосе мне почудилась если не издевка, то уж самое малое - насмешка.

- Уверен, что надо! – сказал я. – Хоть раз в жизни необходимо поискать клад, или закопать свой – пусть потомки ищут!

Я подарил мышке Монтеня и Ларошфуко, хорошо проклеенные, питательные книги; она тут же вычитала, что «…иногда ложь так ловко прикидывается истиной, что не поддаться обману значило бы изменить здравому смыслу».

- К чему это? – спросил я у нее.

- Откуда я знаю, - сказала хитрая грызунья.

В конце нашей беседы она озадачила меня.

- Некоторые из подземных зал были обитаемыми, - сказала она. – Это совершенно точно. Обитателей этих черных подземелий я не видела, но слышала гул голосов, натыкалась на непотушенные окурки… И еще: я нашла-таки книги, огромные сундуки старинных книг, но вряд ли решусь пойти в эти жуткие глубины хоть еще раз…

Лето

Дожди шли всю жизнь, и утром и в обед, и в день рождения от них спаса не было, а с начала мая принялись греметь грозы – страшные, беспрерывные, почти без дождей. Когтистые молнии обжигали деревья, целились в железные крыши и трубы; люди еще больше стали бояться выходить на улицы, только иногда в зеленом мерцании молний можно было заметить одинокие фигуры смельчаков, короткими перебежками добирающихся до водочных магазинов. Электрическое светопреставление не закончилось к июню, в июле только усилилось, и ученые задумались над созданием индивидуальных молниезащитных скафандров. И где-то на островах уже прошли первые дефиле, на подиуме был представлен широкий спектр моделей – от электробикини, до громоотводящих фетровых валенок.

В один из дней, когда плотность молний в окружающей атмосфере достигла семидесяти трех процентов, и к электроударам добавился ливень, а потом и жестокий бронебойный град, в дверь ко мне забарабанили. С силой, перекрывающий атмосферный грохот.

- Кто там? – закричал я.

- Я! – отозвался девичий голосок. – И он!..

Я открыл дверь, и в комнату вошла девчушка с белокурыми кудрями и зачарованными очами – сестра Жиртреста, которого называли и по-другому – Дмитрием. Вслед за ней в квартиру вдвинулся небольшой человек, закутанный в огромную мокрую бороду и выцветший от времени брезентовый плащ. В руках его был крючковатый посох, через плечо перекинута холщовая обтрепанная сума – дервиш, скиталец, бессребреник… Дивно выглядел пришедший, но почему-то хотелось смотреть не на него, а на девчушку, промокшая насквозь беленькая кофточка которой, не скрывала ее груди с темными горошинками сосков.

- Я привела его, знакомьтесь! - сказала девчушка таким тоном, как будто привела кентавра, а не старика, побитого градом.

- Гурий, - сказал старик, и добавил:

- Иванович… Гурий Иванович, а что?..

- Нет, ничего, - ответил я.

- Конечно, ничего, - добавила девчушка, - меня вот тоже зовут Ириной… Ириной Николаевной – и ничего, терплю…

Гурий Иванович улыбнулся в мокрую бороду, занятная была эта Ирина Николаевна.

- Вы хотели встретиться со мной, - сказал дервиш. – Я решил, что мне проще найти вас, чем вам меня…

- Да, да, конечно, - вспоминал я под уханье грозы за окном. И вспомнил.

- Вы оттуда, с крыш? – спросил я.

- Не совсем, - ответил он. – Мы живем на чердаках…

- Извините, само собой, понятно, - сказал я, хотя было не совсем понятно. Но вдруг мне пришло в голову, что и не хочу всего понимать, да и не могу, слава Богу! И другим это ни к чему.

- Наверное, шумно сейчас у вас? – спросил я. – Жесть на крышах громыхает, гром гремит…

- У нас сейчас очень спокойно, - возразил он. – В такие непогодные времена мы как будто передышку получаем от житейских треволнений, любопытных глаз, вездесущих шпионов… Не каждый в такую канонаду решится подниматься наверх…

- За вами шпионят?.. Кто? Военные, госбезопасность?..

- Если бы знать точно, кто?.. Государственные сексоты о нас только догадываются, но вообще они всегда лезут со своими перископами туда, где им непонятно. Но это не они… Желающих влезть с ушами в чужую жизнь всегда сколько угодно, кстати, это не до конца объясненный феномен: почему чужое так манит, так обжигает?.. Наши философы уже много десятилетий бьются над этой проблемой, обещают скоро решить. В чердачном обществе особенно актуально не высовываться лишний раз, быть незаметным и осторожным, - мы не любим, когда чужаки суют нос в наши дела…

- Вы имеете в виду меня? – спросил я.

- Нет, что вы!.. Мы сами искали вас, мы ждали вас…

- Ждали?..

Он полез в сумку, достал какой-то свиток, такие не раз попадались мне на глаза в псевдоиндийских лавках:

- Наши старинные предания говорят, что, - и он начал читать: «В месяц гроз придет тот, кому откроется великая тайна бытия. Это будет Человек Ключа, и Ключ выберет его! И он спустится на Девятый круг, откроет Путь Надежды, и вернется невредимым, и проведет его через круги Страха и Печали та, перед которой открываются теснины гор и подземелий, имя ее – олицетворение мира и покоя. Огненный шлейф придет им на помощь, а потом направит по нужному пути Волшебное Око, и, в конце концов, Тайна перестанет быть Тайной…»

- Ты – Человек Ключа! – возвестил дервиш и показал на меня крючковатым пальцем. – Тебе открылся древний знак, а на дворе – гроза…

- Так зачем же вы послали Жиртреста…Дмитрия? – вспомнил и строго спросил я. - У вас что, любой подвернувшийся – Человек Ключа, да?.. Что за делишки собираетесь с моей помощью провернуть?.. Хотите, чтобы я клад вам какой-то выкопал, да? Чужими руками, так сказать, жар загребастать, да?

Гурий Иванович опустил руку, улыбнулся в спутанную кошму бороды, пояснил терпеливо:

- Брат ее – только предвестник… По преданию он должен появиться незадолго до того, когда придет Человек, которому явится Ключ, и предвестнику суждено пройти только часть пути, а всю дорогу удастся преодолеть только ему, победившему мрак… Так что, Дмитрий - первый, кто отважился на эти поиски…

- Постойте, постойте, а почему я? – перебил я его. – И для чего вам это надо? Разбогатеть хотите?

Дервиш пожал плечами и потупился: дескать, сие ему не ведомо.

- И потом, чего искать-то? Золото, драгоценные камни, может, «Мерседес» там новенький закопан?..

- Там высшее знание…

Высшее знание интересовало меня не в первую очередь:

- Только-то и всего?..

Дервиш полыхнул взглядом, вот кому выпадает сокровенное, но сказал негромко:

- Богатство там огромное…

- Ну, если богатство…, - колебался я, - и если в купейном вагоне поедем, и если портвейна вволю…

На самом деле, в тот самый миг, когда из предрассветных снов или бреда вывалился этот дивный ключ, я понял: предстоит нескучное приключение, и я за ним отправлюсь хоть в купейном, хоть в плацкартном, хоть пешком.

- Между прочим, - подала голос сестра Жирбургера, - вы тут сейчас про олицетворение мира и покоя что-то говорили… Так вот, Ирина – древнегреческое имя, обозначающее именно мир и покой… И если что, я готова к этому…к тому…провести через страхи и печали… Чего тут киснуть под дождем, может, там, куда поедем, хоть иногда солнце всходит?..

- Ты знаешь, куда ехать?..

- В Уральск, это всем уже, наверное, понятно…

- Но сначала нужно открыть Путь Надежды, - подал голос Гурий Иванович. – Скорее всего, это карта какая-то, за которой надо спуститься на девятый круг…

- Ну, наворотили! – сказала Ирина Николаевна. – Как в тупых сериалах…Пожалуй, я не все-таки не очень хочу нарезать эти самые круги…Хотя все равно никому не известно, где они находятся…

- Очень даже известно, - прозвенел со стола тонюсенький голосок. Там на открытом томе уважаемого Сергея Тимофеевича Аксакова, как раз на строчках «Стихия рыбы – вода; назначение – плавать в ней, для чего снабжена она многими плавательными перьями и ими же опушенным хвостом. Для погружения себя в воду и стояния на всех ее глубинах имеет она во внутренности своей пузырь, лежащий вдоль спинного хребта…» сидела моя старая знакомая – мышь.

- Да, известно! - повторила она, - Именно там и нашла я старинную книгу… В тех подземельях, уверена, и карта хранится… Этот самый «Путь Надежды»…

Она замолчала, должно быть, наслаждаясь изумленной тишиной, которая повисла в комнате после ее вступления в беседу.

- Это что, мышь говорящая? – наконец, нарушила молчание девчушка Ирина Николаевна.

- В первый раз вижу подобное, - сказал Гурий Иванович, - если это не галлюцинация… Примем этот чудесный знак, как указание на то, что мы вступаем на верный путь…

- И еще, - пропищала мышь, - меня зовут Мирра… Не думайте, что это сокращение от «мировая революция»… Имя старинное, образовано от миртовой ветви… А ветвь эта была символом мира… Так что, мне вести вас в подземелье… Не знаю, для чего мне это нужно, но сделаю это для вас…, да и себя тоже… Все-таки, мы – мыши – авантюристы.

Дервиш Гурий Иванович задумался, то ли сомнения его одолели, то ли вспоминал указания из древних книг – есть ли там чего-нибудь о говорящей мыши. Колебалась и девчушка. Я полез под кровать, где хранился у меня заветный рыбацкий рюкзак, а в нем все самые ценные вещи: складное удилище, спиннинговая катушка, топорик, крючки, блесны, электрический фонарик, спички, блокнот в непромокаемом конверте, в который я собирался заносить умные мысли и выражения, приходящие в голову на рыбалке (записал уже двадцать три мысли), нож из нержавеющей стали, алюминиевая кружка, банки с тушенкой еще из запасов военного времени - и много чего другого.

Избранные мысли и выражения (из блокнота, десять штук)

Прогноз породы

Изумроды

Предатель всего

Пей козленочек, все равно козлом станешь

Крыша Мирры

Живьем один раз

Противосглаз

Гадливая корова

Поэта можешь ты не бить

Не руби сук, на которых сидишь

- Так, отправляемся? – спросил я.

- Конечно! – сказала Мирра, и ее дружно поддержали.

- Сегодня в полночь! – установила время отправления боевая мышь. – У всех должны быть фонарики, спички… Спичек как можно больше…

- А почему именно в полночь? – решился спросить у нее я.

- Как! Ты не знаешь! – ужаснулась она. – В этот миг кончается старый день, начинается новый, это перелом, это точка старта, это чистый лист… Даже донос принято начинать на чистом листе, а уж тем более поиски тайн бытия…

- Понятно! – сказал я, хотя думал, что, выспавшись, искать сокровища легче и приятнее. Но с другой стороны: тому, кто не спит, кошмары не снятся… Ни нарумяненные старухи, не бронированные буквы.

- Тебе хотя бы шестнадцать исполнилось? – спросил я у Ирины Николаевны.

- Мне скоро будет девятнадцать, - ответила она. – А что, на поиски сокровищ существует возрастной ценз?..

Середина года

Ровно в двенадцать ночи дождь стих. Но молнии щедро расплескивали небесный огонь. Мирра строго оглядела собравшуюся компанию, с явным неодобрением отнеслась к коротенькой обтягивающей маечке Ирины Николаевны:

- На пикник собралась? – спросила она у девчушки.

- У меня еще куртка есть, - ответила та с вызовом. Экспедиция обещала быть нескучной

- Если ни у кого нет возражений, то я займу место в кармане твоей рубашки, - сказала Мирра и легко по моей руке пробралась в нагрудный карман. Вообще-то я всю жизнь панически боялся мышей, но Мирра не вызвала во мне страха; теплый комочек на груди, вдруг, вызволил откуда-то из глубины, казалось, засохшей давно души какое-то непонятное чувство – острое, обжигающее, такое, что захотелось заплакать.

- Вперед! – скомандовала Мирра, и мы дружно вышли под яростную грозу и зашагали к заброшенной водокачке; каждому известно, что именно в полуразрушенных, одичалых зданиях – водокачках, мельницах, лабазах – скрыты входы в тайные комнаты, катакомбы, подземелья. Вообще, в мире существуют строения заведомо временные; если в замке можно жить и спустя пятнадцать веков после его постройки, то кому нужной становится водокачка после изобретения мощных насосов? А какова судьба кочегарок после того, как в них навсегда тушат огонь? В кочегарках стараются почему-то устраивать спортзалы, какие-то детские игровые площадки, но там навсегда поселяется запах золы, и сгоревшая тоска; в них всегда скучно и печально. Кажется даже, что сама временность этих грустных сооружений должна таить в себе некую трагедию.

Мирра высунула свою мордочку из кармана и закричала:

- Нам не сюда, не сюда, а в парк культуры и отдыха!

«Конечно же, - подумал я, - где еще и начинаться приключениям, как не среди потешных аттракционов?»

На устрашающих размеров железных воротах парка висел циклопический ржавый замок; должно быть в последний раз ворота выдержали штурм в 1812 году, а с тех пор их больше и не открывали. В 1917 году матросы штурмовали винные лавки; в парке их не было.

- Ну вот, как же мы попадем внутрь? – спросила Ирина Николаевна.

- Очень просто, потому, что вокруг этих ворот никакого забора нет. Это как триумфальная арка, которая ставится для славы, а не для сторожевого дела, - сказал дервиш Гурий Иванович.

Действительно, присмотрелись, ворота легко можно было обойти. Обошли и углубились в черную аллею, освещаемую только всполохами бесконечных молний.

- Конечно же, в подземелье можно проникнуть из подвала нашего дома, - пропищала мне на ухо Мирра, - но там проход теснее, чем здесь, да и идти там неудобно. Кроме того, тут как-то торжественнее получается – с громом, воротами, поездом…

- Каким поездом? – спросил я, но тут же увидел этот поезд, стоящий у перрона фанерного, весело разрисованного, вокзальчика – десяток темно-зеленых вагончиков, прицепленных к какому-то потешному паровозу с трубой, похоже, снятой столетие назад с колесного парохода на Миссисипи. Мне показалось, что я даже рассмотрел на трубе накорябанные перочинным ножиком слова «Том + Ребекка», и удивился: почему написано по-русски?

В вагонах не светилось ни одного оконца, никто, очевидно, не предполагал, что найдутся охотники покататься на детской железной дороге в полночь. Да еще в такую грозу.

- Сейчас! – сказала Мирра. – Опусти меня на землю, я пойду договариваться…

И она шмыгнула в темноту вокзала. Минуты две – три мы ждали ее под начинавшимся опять дождем.

- Мы что, в этом поезде поедем? – спросила любопытная Ирина Николаевна. – Так я на нем каталась, он за десять минут делает круг и возвращается сюда же. На нем никуда уехать нельзя…

Но тут электрическим светом ярко вспыхнули окна вокзала, в сияющем подъезде появилась Мирра.

- Договорилась! – сказала она торжественно. – За три банки тушенки. Но у них условие: банки должны быть открыты… Они открывать не умеют…

- С кем ты договорилась, кто эти полуночники? – спросил Гурий Иванович.

И тут рядом с Миррой в проеме двери возникла огромная крыса, за ней другая, третья… Крысы были серые, как жизнь, хвостатые, как китайские змеи, а глаза их горели неугасимым голодным огнем.

- Чтоб банки открытые были! – сказали они в голос. – Иначе не сладится дело!..

Мышка подбежала ко мне:

- Мне они тоже не по душе, но в этот час они самые лучшие железнодорожники во всем парке. Не жалей консервы!..

Я достал из бездонного рюкзака три банки и в минуту открыл их своим рыбацким ножом. Протянул крысам:

- Приятного аппетита!

Крысы облизнулись и сказали, опять в голос:

- Занимайте места в вагонах, только не толпитесь в тамбурах…

Тут же засветились окна вагонов, открылись двери, металлический голос прогремел над перроном:

- Провожающих просим покинуть вагоны, поезд отправляется, будьте осторожны!

Паровоз зашипел, окутался паром, тонко свистнул и состав мягко тронулся, покатил по рельсам, набирая скорость.

Внутри вагонов оказалось довольно просторно, мы разместились все в одном купе.

- А чай тут будут разносить? – спросил негромко Гурий Иванович. – Тридцать лет, признаюсь, не ездил в поездах, но с детства мне полюбилась эта церемония вагонного чаепития, когда одновременно к ней приступают все пассажиры, и проводник разносит чай в сверкающих подстаканниках сразу по десять – двенадцать стаканов, - и таким, казалось мне, покоем и миром наполнены были эти минуты…

- Какой чай? – перебила его Ирина Николаевна. – Ехать-то всего десять минут, сейчас уже вылезать будем!..

- Жалко, что так быстро, - сказал дервиш. – Здесь пахнет апельсинами и вафельным тортом…

За окнами поезда продолжали полыхать молнии, колеса вагонов стучали на стыках все чаще и чаще, как бессонные сердца, и почему-то казалось, что не десять минут займет эта поездка.

- Мчится-то как! – сказала Мирра.

- Железные дороги опутали весь мир, - сказал Гурий Иванович. - Это не просто транспорт, это нервная система. Самолеты, ракеты в сто раз быстрее, в них красавицы стюардессы разносят королевские креветки и Пино Нуар, но настоящий путешественник все равно стремится в поезд. Когда пожар или наводнение - стучат тогда в кусок подвешенного рельса; звук чугуна тревожен, глубок, его далеко слышно. Он, наверное, созвучен человеческой душе? Если заедает тоска, душит одиночество, не затихает больная совесть, стоит придти на вокзал, и там, в вечной незатихающей сутолоке, среди полных тревоги и надежды людей, которые разделены на приехавших и отъезжающих – вечных антагонистов, одинаково завидующих друг другу, постараться почувствовать, что вокзалы это самые надежные посты, охраняющие нашу всеобщую рельсовую систему; и утешиться единством с теми, кто мучается на другом конце этих рельсов. Может быть, на рельсах мы яснее понимаем нашу сопричастность всему миру?.. Самолет стремителен, но на нем не прилетишь в Переметное, Шипово, Семиглавый Мар, Озинки…

Дервиш умолк, нахмурился, глядя в окно. Потом спросил:

- Не слишком я разболтался, нет? Там, где я живу, поездов нет…

А между тем за окном стало, как будто, светлеть. Скорее даже желтеть. И, вдруг, открылась бескрайняя пустынная равнина.

- Откуда здесь пустыня? – спросила тревожно Ирина Николаевна. – В парке нет пустыни!..

- Здесь, видимо, есть все, - сказал Гурий Иванович. – Это глиняное плато… Забыл как называется, кажется «Долгий покой»… еще в школе по географии учили… Здесь на сто километров вокруг одна скользкая и мокрая глина, если люди попадают сюда, то не могут выбраться вовеки. Вон, посмотрите!..

За окном в желтой глине барахтался грузовик, в кузове которого сидели под дождем люди в серых промокших плащах, и даже из поезда можно было различить горе и отчаянье, написанное на их лицах.

- По всей равнине круглый год буксуют машины, падают в глину люди, - сказал дервиш, - и ничего поделать нельзя. С глиной не справишься…

- Вон еще одна машина, - сказала Ирина Николаевна. И мимо окна проплыл еще один буксующий в глине грузовик, в кузове сутулилась баба в какой-то зеленой накидке.

- Какой тихий край! – произнесла из нагрудного кармана Мирра. – Может быть, даже счастливый, в нем ничего и никогда не меняется…

- Что-то в сон меня клонит, - сказала сестра Жиртреста и принялась прикрывать ручкой ротик, терзаемый позевотой, внезапно, навалившейся на девушку.

И тут же все почувствовали, что сон буквально слипает им веки, тяжелая усталость заполняет все их странствующие организмы, сами собой подкашиваются ноги. Путешественники попадали на лавки, и через минуту в купе бодрствовала только мышка у меня в кармане. Она блестящими глазами смотрела на спящих, на глиняные просторы за окном, и тихо вздыхала, жалела всех нас.

Так пролетела ночь, настало утро, а за ним и полдень. Путешественники стали просыпаться, первым делом смотреть в окно, радостно изумляться: за промытым дождем стеклом сияло солнце, под солнцем зеленел лес, в просветах между деревьями виднелась голубая гладь – таинственное, бездонное озеро.

- Мы едем уже двенадцать часов! – Едва успев протереть глаза, воскликнула девчушка. – Этого не может быть! Детская дорога – это крошечное кольцо в парке, узкоколейка на десять минут пути! Мистика!..

- А сейчас мы проезжаем над рекой… Очень большая река…, - подал голос дервиш. – Наверное, это Волга…

- Волга от наших мест в двух днях пути на поезде, - сказал я. – С таким же успехом это может быть Амазонка.

- Да, да! - раздался звонкий голосок Мирры. – Я, кажется, заметила крокодилов, точно-точно – зеленых и очень голодных.

- Не уверена насчет крокодилов, но я бы не отказалась от хорошего бутерброда, или куска мяса, или краюхи хлеба…, сказала Ирина Николаевна. - Пожалуй, хлеб лучше всего! Если посыпать его солью, если капнуть несколько капель подсолнечного масла!..

Пришлось доставать свой рыбацкий рюкзак, вытаскивать тушенку, хлеб. Пир был подкреплен каплей чистого спирта, что обнаружился в моей старой фляжке.

- Спирт – это жизнь! – сказала мгновенно захмелевшая Ирина Николаевна. – Когда найдем сокровище, куплю себе фляжку из чистого серебра, и в ней у меня всегда будет плескаться самый чистый в мире огонь девяностошестиградусного спирта.

Даже Мирра приложилась к источнику, а дервиш не стал пить, сказал, что ему всегда нужно незамутненное сознание, строгое равновесие. На крышах и чердаках вестибулярный аппарат должен быть безупречным.

Не стал, его личное дело…

На третьи сутки, когда и хлеб, и тушенка стали подходить к концу, поезд замедлил ход, загромыхали на стрелках вагоны, принялись где-то далеко аукаться радиоголоса: «…на втором, втором, говорю, стоит десятка, готовь сцепку…», «…воды нет, скорее с водой», «тройка, семерка…Катя, не морочь голову!»

В купе стал мигать свет, как в ресторане за полчаса до закрытия, дескать, закругляйтесь! Зашипели тормоза, а, может, и не тормоза, а какие-то специальные шипелки, и поезд вкатился сначала под лесную сень, а потом и на почти игрушечный перрон почти игрушечного вокзала. Парк культуры и отдыха, приехали!

- Дааа! - произнесла Ирина Николаевна. – Именно отсюда мы отправились три дня назад…

- Точно, мировой фокус! – сказал я. – Тот же самый вокзальчик…

- Тот, да не тот! – возразила Мирра. – Смотрите лучше!..

- Может быть, это тот же вокзал, но из параллельного мира? – высказал догадку Гурий Иванович.

И тут я заметил на стене фанерного и раскрашенного, как конфетный фантик, вокзальчика плохо различимую надпись. Три дня назад ее не было, точно не было.

- Что там написано? – спросил я у мышки, известной грамотейки. Она высунула мордочку из кармана, прочитала: «Путь Надежды».

- Странное название, - сказала неугомонная девчушка. – Никогда не слышала…

- Мы приехали! – возвестила Мирра. – Давайте не мешкать!.. Через минуту-другую поезд отправляется назад. Может быть, кто-то хочет вернуться?

Путешественники переглянулись, но никто не признался в желании прервать приключение.

- Вперед! – скомандовала мышка. И мы отправились к видневшейся невдалеке старой, заброшенной водокачке. Всем известно, что в таких местах…, впрочем, об этом я уже писал в своем дневнике.

Конец века

Невзрачная деревянная дверца, на которой было мелом написано «Вовчик дебил» прикрывала вход в подземный ход. Честно скажу, что я почему-то всегда именно такими и представлял себе всякие подземные лазы, лабиринты, тайники – грязными, тесными, темными… Вся вонь и грязь мира концентрируется в этих подземельях.

- Но здесь и все тайны…, - словно расслышала мои мысли Мирра. – Мы спускаемся первыми…остальные за нами.

Спорить никто не стал.

За дверцей оказался узкий, освещенный тусклыми лампочками коридорчик. Мы все довольно резво двинулись по нему. С потолка свисали какие-то провода, на стенах кривились жестяные таблички: «Не входить!», «Предъяви пропуск в развернутом виде», «Храни государственную тайну!»…

- Здесь когда-то подземная ракетная база была, - поведала мне на ухо мышка. – Очень секретная!

- Так что ж, они под водокачкой сидели? – спросил я.

- Водокачка для отвода глаз поставлена, люди ходили и не знали, что у них под ногами. Сумасшедшая мощь! В каждой боеголовке сто мегатонн, даже больше!..

- А сейчас?..

- Все заброшено, - равнодушно сказала Мирра. – Гонка вооружений пошла другим путем.

- Как заброшено? И ракеты здесь?..

- А куда же они денутся? Их вывезти отсюда невозможно, такие колоссальные затраты! Да и режим секретности нарушать нельзя еще сто пятнадцать лет… Взрыватели с боеголовок сняли, важные провода перерезали, кое-какие компьютеры разбили… и все… Ракеты так в шахтах и стоят. Да вон сам посмотри! Только будь осторожен!..

Коридорчик стал шире, но пошел под наклон, как бы подгоняя путешественников. И вдруг впереди открылся взгляду темный провал, как бы бездонная пропасть, и над пропастью этой висели шаткие деревянные мостки. Подойдя к ним, я с опаской заглянул вниз. Метрах в десяти от меня смотрел вверх темно-зеленый конус боеголовки, а сама громада баллистической ракеты только угадывалась в темноте далеко внизу.

- Так, если мы сюда попали, значит и любой другой может, - принялась размышлять вслух Ирина Николаевна. – Ну, хорошо, мы люди благонадежные, а если террористы какие или люди с хулиганскими наклонностями?..

- Вряд ли таких пропустят люди недр, - сказал Гурий Иванович.

- Люди недр?..

- Да, это очень древняя цивилизация, суровая, таинственная…

- Не хотите ли вы сказать, - спросил у него я, - что мы здесь с их ведома?

- Безусловно, - улыбнулся дервиш. – Мы на их территории, и каждый наш шаг им известен. Но мы, скорее всего, не представляем для них опасности, иначе они давно могли бы устроить небольшой обвал… Легко может, например, рухнуть и этот мостик, по которому предстоит идти сейчас…

- Как-то не вяжутся ракеты и хлипкие мостки, - сказал я.

- Может быть, мостки эти старше ракет веков на десять? – ответил дервиш. – Ступай смелее!

Я шагнул, и тысячелетнее сооружение отозвалось протяжным скрипом. Кроме того, оно начало вполне ощутимо раскачиваться. Маятник над бездной. Я сделал еще шаг – другой, мостик принялся раскачиваться еще сильнее. Я оглянулся: мои спутники напряженно смотрели мне вслед, а в глазах Ирины Николаевны, как молнии, полыхали ужас и неверие: занесла же нас нелегкая! И ради чего? Вот сорвется сейчас вниз этот дурик, отвечай за него! Не вернуться ли?..

Дервиш сказал:

- Смелее! – и прозвучало это как «скорее».

- Давай, давай! – шепнула мышка из нагрудного кармана, и я прибавил шагу, почти побежал. И вот удивительно, мост тут же перестал качаться, убавилось и скрипа. Через пять минут я оказался на другой стороне ракетного провала.

Сестра Жиртреста тронулась в путь мелкими шажками, как канатоходец, так же расставив руки в стороны. Кажется, она даже глаза закрыла. Вслед за ней вступил на деревянный настил дервиш, его ровные осторожные шаги придали нам всем уверенности.

- Еще далеко идти? – спросила Ирина Николаевна.

- Путь не близок, - кратко ответила Мирра. – Впереди подземная река…

И тотчас послышался шум большой воды, плеск волн, почудился крик чаек. Здешний мир как бы откликался на зов, я заметил, что стоило о чем-то сказать или только подумать, как тут же что-то давало тебе знать – прав ты или ошибаешься. Например, я подумал, что, наверное, здесь существует какая-то система вентиляции, иначе мы давно бы все задохнулись в этих подземных теснинах, и в ту же минуту почувствовал легкое, осторожное дуновение – нет, это был не ветер, не ветерок, а едва уловимое движение воздуха, даже просто обозначение этого движения для того, чтобы мне стало понятно: да, вентиляция есть…

- Здесь водятся совершенно неизвестные людям породы чаек, - сказала мышка. – У них совершенное зрение, оно обладает лазерной точностью и силой, поэтому чайки в полной темноте находят себе пропитание, успешно охотятся не только на рыбу, но и на другую речную живность…

Подземный ход, по которому мы пробирались, стал еще уже, приходилось буквально протискиваться, рискуя застрять в проходе, но все ощутимее становились речные запахи, громче раздавались вопли чаек.

И вдруг вширь и вверх раздался тесный лаз, и электрические пятна фонарей отразились от черной поверхности воды. До другой стороны реки свет фонарей не доставал.

- Широка, даже очень… Говорят, глубина тоже немереная, - сказала мышка.

- Кто говорит, кто? – поинтересовалась Ирина Николаевна, но мышка промолчала.

- Интересно, а рыба здесь водится? – спросил я и тут же услышал мощный всплеск, потом другой, третий – во всю на реке играла рыба. Рыбацкая душа моя встрепенулась, а что если попробовать поймать что-нибудь в этом черном потоке?

Дервиш тут же предложил:

- Может, забросите здесь свои снасти, рыба нам теперь не помешает?

И откуда они на своих чердаках знают это?

В самом деле, запас продовольствия, существенно подорванный железнодорожным соглашением с крысами, требовал пополнения – кто мог знать, сколько продлится наше путешествие – день, неделю, десять лет?..

Я развязал свой многофункциональный рюкзак, достал спиннинг, коробку с блеснами, в теплом свете фонарика привязал к леске самую соблазнительную – из чистого серебра – блесну. Дервиш вызвался помогать мне, направил свет фонарика перпендикулярно берегу и на воду легла оранжевая дорожка.

Я сделал заброс, блесна серебряной искоркой сверкнула в черноте подземелья и плеснулась где-то далеко от меня. И тут же два ярких сиреневых луча прорезали темноту - откуда-то сверху и до самой воды, и послышалось хлопанье и свист крыльев. И тут же в высоте как будто включилось множество сиреневых лазеров, их лучи, пересекаясь, перемещаясь, разбиваясь на воде в сиреневые брызги, принялись обшаривать поверхность подземной реки.

- Чайки! – со страхом сказала Мирра. – Они совершенно черного цвета, огромные, как грифы, кровожадные, как летающие крокодилы. Думаю, что они и на людей могут нападать, но пока им и в реке добычи хватает…

Словно в подтверждение ее слов над нашими головами промелькнула черная тень, раздался мощный всплеск. Мы направили в сторону всплеска фонарики, но сумели рассмотреть только трепещущую рыбину, увлекаемую невидимой птицей в высоту.

В ту же самую секунду я почувствовал мощный рывок – удилище спиннинга согнулось дугой, видимо крупная рыба соблазнилась серебряной блесной.

- Нужно быстрее вытаскивать, иначе чайки просто-напросто разорвут нашу добычу на куски, - сказал Гурий Иванович.

Я принялся быстрее вращать рукоятку катушки, но это было не так просто – неизвестная рыбина была сильна, она сама буквально норовила вырвать удилище из рук. С большим трудом я подтянул ее к берегу, и дервиш ловко сумел подхватить ее под жабры.

- Судак, - сказал он, - но странный, с кошачьими глазами.

Я посмотрел: на самом деле, глаза судака светились желтым кошачьим огнем, казалось, что вот-вот и судак примется мяукать.

- В мешок его, - сказала Мирра, - чтобы не раздражать чаек…

В судаке было килограммов пять – шесть, и он с трудом поместился в моем рюкзаке, только свинцовый холодный хвост остался снаружи. Ужин обещал быть сытным. Даже Ирина Николаевна приободрилась.

- Люблю отварного судака! – сказала она.

Я забросил спиннинг еще раз, но ожидаемого всплеска на месте падения блесны не услышал, только невнятные, глухой звук, как будто блесна ударилась по дереву.

- Коряга! – мелькнуло в голове, но откуда в этой реке деревья? Я потянул снасть на себя, но леска натянулась, завибрировала, наверняка зацеп. Пропадет теперь блесна, которую я сам сделал из рублевой монеты с бородатым ликом последнего царя. Я потянул удилище на себя еще раз, потом другой – и, вдруг, леска как будто чуть-чуть провисла, подалась. И еще немного, и еще… Я стал вращать катушку - сначала медленно, потом быстрее и быстрее – блесна зацепила и тащила за собой нечто очень тяжелое.

Дервиш и Ирина Николаевна направили свои фонарики в сторону реки и через минуту – другую в световые пятна медленно вдвинулся какой-то темный короб, тускло сверкнувший позолотой.

- Это сундук старинный! – закричала сестра предвестника, и звонкий ее голос, усиленный гулким подземным эхо, заполнил все невидимое пространство.

- Здесь может найтись все, что угодно, - сказал дервиш. – Рано или поздно, но все уходит под землю; она все хранит, и если отдает, то не случайно…

Я кое-как подтянул сундук к берегу, и общими усилиями мы вытащили его на сушу. Бока его были побиты в неизвестных крушениях и катастрофах, покрыты мокрым осклизлым илом, на крышке плетью зацепилась черная лиана водоросли, но сквозь черноту времени пробивалась благородная позолота, зеленела вековая медь, а может и старинная бронза, открывалась часть затейливого вензеля – нет, не сундук, в котором хранились муслиновые платья, ветхие лоскутные одеяла, капор и горжетка – бабушкино приданое, не дававшее некогда покоя внукам, принесла река, а тайну, но какую?

- Интереснааа!.. – протянула Ирина Николаевна. – Сокровище?.. Но для золота сундучок-то легковат…

- Бывает нечто дороже золота, - произнесла пассажирка нагрудного кармана.

- Ой-ой-ой! – скривилась девушка. – Я и не знала…

- А пора бы это и знать, - оставила мышка за собой последнее слово.

Навесного замка на сундуке не было, дервиш провел рукой по его крышке, бокам, произнес задумчиво:

- Скорее всего, где-то внутри спрятана потайная пружина, замыкающая сундук, но где кнопка или механизм, приводящий ее в движение?.. Можно всю жизнь искать и не найти.

Раньше такие мастера были, не чета нынешним! Хоть диковинки какие, хоть замки потайные, хоть лабиринты подземные – все умели…

- Ну, насчет лабиринтов подземных я, пожалуй, не соглашусь, - сказал я, - не очень здесь уютно, правда.

И сейчас же откуда-то сверху посыпалась влажная земля, неподалеку обрушилась часть берега, подмытого течением.

- Может, того, топором сундук этот? – предложила Ирина Николаевна.

Гурий Иванович выразительно посмотрел на нее. Она промолчала, принялась исследовать сундук. Потом сказала:

- А знаете ли вы, который час? В это время я уже обычно бывала в постели…

- Почему-то никто не подумал, как переправляться через реку, - произнесла Мирра.

«В самом деле, - подумал я, - не на плавучем же сундуке?»

Но мысли мои переключились с переправы на сундук. «Ведь его кто-то закрыл, значит, его можно и открыть» - такая оригинальная мысль пришла первой, а второй о том, что все здесь до этой поры откликалось на наш зов, почему бы и сундуку не последовать этому примеру?

Я взглянул на сундук, около которого колдовала Ирина Николаевна, и в тот же миг послышался тонкий серебряный звон, он рассыпался на сотни колокольчиков, как будто далеко-далеко пронеслись, одна за одной, свадебные тройки. А может, и не свадебные, может быть, и не тройки совсем… Что-то щелкнуло внутри сундука, и крышка открылась, распахнулась, как дверь в комнату, в которую в детстве никогда не разрешалось заходить. А что там, за этой дверью? Под этой крышкой?..

Ирина Николаевна осторожно заглянула в сундук, словно в пропасть с крутого обрыва, и не сдержала возгласа разочарования:

- Вряд ли здесь сокровища!.. - и она вытащила из сундука бумажный сверток, перевязанный простой серой бичевой. Может быть, та самая карта?.. Ну, этот самый «Путь надежды» - так, кажется?

Гурий Иванович взял сверток, надорвал кусок серой пыльной бумаги, сказал:

- Какие-то письма… На привале посмотрим…

Послышался мерный плеск воды. Мы дружно повернули фонарики в сторону плеска: с противоположного берега к нам приближалась лодка. Узкая, длинная, черная – видимо, обильно смоленая – она легко рассекала воду. На веслах сидел такой же черный человек – узкий, высокий, заросший едва не до бровей смоляной бородой. Мощными гребками он подогнал лодку к берегу, выпрыгнул на мокрый песок, буркнул:

- Доброго здоровья!

Мы тоже поздоровались с прибывшим:

- Драсти! Приветствуем!..

- До того берега не подбросите? – спросила Ирина Николаевна, практичная девушка.

- Отчего же не подбросить, - откликнулся бородатый. – Пайда нынче прямо в руки идет. Много не потребую с вас, да и чего с вас требовать, а вот, пожалуй, письма и возьму за перевоз…

- Какие-такие письма? – подала голос Ирина Николаевна.

Но перевозчик знал, о каких письмах говорил:

- Сундук-то с дуба упал, а вы его, значит, и выловили… А в нем письма… Вот за них и перевезу вас…

- Так и быть, все равно письма не наши, - согласился я, поразмышляв немного для приличия: тоже мне ценность, пожелтевшие слова на ломкой бумаге! Кому нужны признания и откровения тех, кого давно уже нет? – Можно в лодку садиться?..

- Не в лодку, а в будару, - поправил меня бородатый. – Размещайтесь, да смотрите, чтоб все в аккурате было!..

Гурий Иванович и Ирина Николаевна разместились на корме узкой будары, я занял место на носу.

- Может, вам помочь на веслах? – предложил я бородатому.

- Он усмехнулся в самую глубину своей дикой бороды:

- Эх, музланы!.. Весла от уключины не отличаете, а туды же еще…

Он оттолкнул будару от берега, и она неожиданно ходко пошла поперек реки. Над нашими головами захлопали крылья невидимых чаек, их лазерные глаза, как прицелы, следили за нами. Всего этого не могло существовать на свете, и, может быть, не существовало.

- Вы здесь давно? - спросила перевозчика Ирина Николаевна, общительная девушка.

- Угу, - ответил он.

- Вы живете здесь, у вас, наверное, дом на берегу? – не отставала она.

- Угу, - сказал он.

Она замолчала, опустила руку в воду, прохладные брызги веером полетели за лодкой.

- Осторожнее с этим! – сказал перевозчик. – Там всякое водится, может руку-то отхряпать в момент!..

Ирина Николаевна опасливо вытащила руку из воды, и всем в лодке показалось, что в черной глубине промелькнуло стремительное светлое веретено – может, трехметровый судак? До самого берега никто не проронил ни слова. Молча дервиш отдал сверток с письмами бородатому, молча нашли лаз, и медленно двинулись дальше по бесконечному проходу. Местами стены лаза были выложены кирпичом, местами в них были воткнуты давно погасшие факелы. Около часа пробирались в полной тишине, можно было даже расслышать как где-то падают капли воды, шуршит под ногами каменное крошево.

- Надо было спросить про письма, - сказал я. – Кто их написал, кому?..

- Я спросил, - откликнулся Гурий Иванович. – Это письма Натальи Николаевны первому мужу… Эти письма все разыскивают, спорят о них, а они здесь… в сундуке на дубе…

- Какой Натальи Николаевны? – спросила Ирина Николаевна.

- В самом деле, какой? – спросил я. – Фамилия у нее есть?..

- Перевозчик этого не сказал, не назвал фамилию, - ответил дервиш. – Да, может, и нет у не фамилии?..

И мы двинулись дальше. И часа через полтора добрались до первой залы, из которой брали свое начало еще три лаза, расходящихся в разные стороны.

Здесь мы решили заночевать. Зала, как и рассказывала мышка, была завалена рухлядью, так что мы легко разожгли костер из остатков старых секретеров, кресел и табльдотов.

- Старина горит хорошо, - заметил Гурий Иванович, - может быть, это лучший горючий материал в мире…

- Точно! – подтвердила Ирина Николаевна. – В молодости я была влюблена в одного пожилого человека, почти старика…

- В молодости? – переспросила Мирра.

- Ну, да, давно это было… Так вот ему исполнилось тридцать лет… Когда мы расставались, он кричал, что не сможет без меня прожить ни дня – так пылает его любовь, я тоже рыдала, как сумасшедшая – ведра три слез пролила, а через неделю он женился, теперь проходит мимо – не здоровается. Так быстро все старое сгорает!..

- А почему расстались? – спросил я.

Ирина Николаевна вздохнула, подбросила в костер гнутую ножку давно не существующего кресла, сказала, не отводя глаз от пламени:

- Я другого полюбила… Вообще, я влюбчивая очень, но быстро у меня это проходит… Быстро приходит, и быстро проходит…

Она примолкла, и в глазах ее, казалось, отражалось не пламя костра, а какой-то неведомый нам огонь. Вслед за ней и все остальные замолчали, наверное, подошла такая минутка – молчальная, когда слова ни к чему, без них все понятно… Но признаюсь, мне в тот миг ничего не было понятно. Совершенно ничего!..

В котелке над костром забулькала уха, темнота плотно окружила наш стан, и стало немного похоже на тихую беззвездную ночь.

- Зато дождя можно не опасаться, - сказала мышка.

Мы поужинали и принялись укладываться на ночлег. Я забрался в свой рыбацкий, брезентовый, тысячу лет мне служивший спальный мешок, закрыл глаза, надеясь, что нынешней ночью меня не будут преследовать бронированные буквы. Ирина Николаевна принялась гнездиться с правого бока, чуть поодаль залег дервиш. Мышка шепнула мне:

- Сейчас начнет приставать… Эта - в мини…

Действительно, девушка толкнула меня в бок, сказала:

- Мне страшно!..

- Мне тоже, - ответил я.

- А по виду - не боязливый.

- Я притворяюсь, - честно сказал я. – Поджилки трясутся, а я стараюсь улыбаться… Сердце в пятки проваливается, а я делаю вид, что не боюсь…

- В детстве, помню, у нас в ходу были всякие страшилки, - сказала она, - особенно в летнем лагере. Перед тем, как заснуть в палатках мы рассказывали друг другу леденящие душу истории про кровожадных летучих мышей, вылезающих из могил покойников. А чаще всего про украденную руку, где в самом конце рассказа нужно орать жутким голосом «где моя отрубленная рука?» и хватать за горло ближайшего к тебе слушателя, развесившего уши и раскрывшего рот. Как правило, это приводило в восторг всех, кроме того бедолаги, в которого рассказчик внезапно вцеплялся с нечеловеческими воплями. Каждый по очереди рассказывал свой «ужастик», которые чаще всего походили друг на друга, как близнецы-братья. И однажды я решила немного изменить схему страшилки. Даже не знаю, почему это пришло мне в голову. Я повела рассказ об ужасном злодее, который когда-то давным-давно совершенно случайно получил волшебный дар становиться по своему желанию невидимым. Может, ему фея подвернулась, которой он помог корзинку с картошкой донести, может, подряд совершил десять хороших поступков и был награжден за это Дедом Морозом, - это осталось неизвестным, но свой дар он сумел обратить только во зло другим людям, да и себе, конечно. Зря зло изображают иногда, как болезнь, от него не вылечишься, оно всегда возвращается к тому, от кого исходило… Пользуясь своей безнаказанностью, он совершил тысячи кровавых преступлений, таких немыслимо жестоких, что его покинула любившая его женщина, от него отказались его собственные дети, вся родня бежала от него. Он только презрительно усмехнулся им вслед. Но прошло много лет, злодей состарился, ощутил пустыню вокруг себя, захотел вернуть детей, но не тут-то было! Дети растворились в миллионах, миллиардах других детей, повзрослели, у них родились свои дети, а потом и внуки, и не было им никакого дела до какого-то гнусного невидимки. Но не привык невидимый злодей отступать от своей цели, и вот на протяжении долгих лет каждую ночь ищет он своих потомков, чтобы научить их быть такими же, как он сам… Как только стемнеет, как начинает он бродить по темным улицам, очень любит летние детские лагеря, кемпинги, и все ищет, ищет, ищет…

Ирина Николаевна замолчала на минуту, переживая изобретенную ею историю, спросила:

- Слушаешь?

- Слушаю, - ответил дервиш.

- А ты? – толкнула она меня.

- Конечно, - сказал я; на самом деле мне интересна была эта история, и я думал: «А повези мне встретить в лесу фею и чем-то помочь ей – дров наколоть или воды натаскать, - и награди она меня каким-нибудь даром, скажем, неуязвимостью и огромной силой, то, как бы я использовал его? Принялся бы всем помогать, таскать воду во все дома, чиновникам давать зуботычины за то, что изводят народ, застарываться за слабых, или наворовал бы миллиарды, обездолил народы и надругался над целыми странами – и

пользовался бы незаработанным, незаслуженным, принадлежащим чужим? Не легкий совсем вопрос!.. А уж какой соблазн был бы вернуть Марию…

- Так вот, - продолжила Ирина Николаевна, - в конце своей истории, я сказала: «А сейчас злодей стоит у нашей палатки… Кто не верит, может вылезти сам посмотреть…» Почему-то никто не захотел вылезать из палатки, и все притихли… Тогда я предложила: «давайте, все вылезем, что он нам всем сделает?» А в нашей палатке было десять девчонок. Восприняли без энтузиазма, но зашевелились, никому не хотелось оставаться одной в темной палатке, никому не хотелось испытать на себе яд насмешек. И вот мы выбрались из палатки. Стоим и озираемся вокруг. Лес чуть-чуть шумит, где-то неподалеку дышит река, поют сверчки, на небе узкий серп луны. А звезды так и сыпятся на деревья, в реку, на палатки. И вдруг как будто кто-то заслонил полнеба, промелькнула черная тень, холодное дуновение коснулось наших лиц, - и такой темной тоской, злым одиночеством, ледяным отчаяньем повеяло на нас, что невольно мы попятились. Может, низкая тучка пролетела, может, обрывок ночного тумана проскользнул между звездами и землей, кто знает? Только все мы быстро вернулись в палатку, молча забрались в спальные мешки, и с этой ночи в нашей палатке страшилок почему-то не рассказывали. И с этих же пор я боюсь ночей…

- Мне кажется, что в аду тоже темно, там вечная ночь, - сказал я, почти засыпая.

- В подземелье всегда темно, - шепнула она. – Страшно… А перевозчика как зовут, никто не поинтересовался?..

- Думаешь, Харон?

Она придвинулась ближе, обняла меня руками, прошептала:

- Я почти влюбилась в тебя, но мне надо еще подумать…

- Подумай-подумай, - сказал я. – Никто тебя не торопит.

- Осторожно, не раздавите меня между собой! – пропищала Мирра, и все уснули, и мне приснился населенный пункт под названием Ростоши, и там была весна, цвели вишни, а в центре села кривился деревянный столб, на котором висело железное радио и все время играло полонез Огиньского. Кто-то мне рассказал, что полонезом местные жители изгоняли излишнюю горечь из вишен. Я обрадовался сну, все-таки не кошмар. Почти не кошмар…

Три недели или три месяца пробирались мы по подземным лабиринтам: из залы, где открывались три новых прохода, мы попали в залу, из которой вело двенадцать лазов, а потом еще в одну, из которой тоже было двенадцать новых путей – и плутали мы, и отчаивались, и попадали под осыпи и обвалы, но окончательно заблудиться и сгинуть не давала нам мышка-норушка, верный товарищ, живой компас подземелий. Она указывала дорогу, берегла нас, проводя такими путями, чтобы мы случайно не столкнулись лицом к лицу с хозяевами этих мест – людьми подземелий, отважными воинами, суровыми стражами недр. Однажды лаз, по которому мы пробирались, раздвоился. Налево пошел просторный, облицованный камнем проход, направо – узкая щель. Мы остановились и услышали, как слева идет тяжелый гул. «Это дорога в южный подземный мегаполис, - сказала Мирра. – А всего пять огромных подземных городов есть в мире, но нам туда не надо. Нам там не выжить…»

Мы еще дважды переправлялись через реку – скорее всего, ту же самую, причем, и перевозчики были удивительно похожими на того, с кем расплатились пачкой неизвестных писем, с такой же дремучей бородой. Каждый раз на берегу реки мы ловили огромного судака, пополняя запасы продовольствия, и каждый раз при втором забросе нам попадался старинный сундук, но писем в сундуках этих больше не было, зато находились деньги, которыми мы расплачивались за перевоз. Причем, деньги были в ассигнациях – старинные, с портретами декольтированных дам, коронованных бородачей. Деньги были иностранные, на каком языке – не поймешь, но перевозчики охотно брали их.

И вот в один прекрасный день добрались мы до мрачной пещеры. Те три тысячи семьсот одиннадцать пещер, которые мы преодолели, тоже не были веселыми залами или комнатами смеха, но эта была особенно темна, страшна, эхо в ней по три раза повторяло каждое слово. Девчушка Ирина Николаевна говорила мне:

- Все-таки люблю! – а эхо разносило:

- Таки-таки-таки…

Я отвечал ей, что она ошиблась, что столько холода и горечи накопилось в моем сердце, что я вряд ли сумею ответить на ее юное чувство, что вообще я груб и неучен, да что там - даже летом ношу зимние ботинки, потому, что палец на ноге, кажется, сломан, а если честно – она почему-то стала дорога мне, и я не хочу ее обманывать, а предательское эхо вопило под сводами пещеры:

- Обманывать-обманывать-обманывать…

- Я отогрею тебя, у меня руки, знаешь, какие горячие? – она вложила свою ладонь в мою; на самом деле, она как будто держала свои руки перед этим на жарком июльском солнце.

- Я зимой никогда варежки не надеваю, - сказала она. – Все удивляются… А температура тела – нормальная. Говорят – феномен такой, редкий случай, значит, – огонь-руки…

- Огонь-огонь-огонь…, - подхватило эхо.

- Ну, вот, мы на месте, - прервала наши излияния Мирра. – Здесь находится то, что нам нужно, ради чего мы так долго пробирались по этим катакомбам…

Гурий Иванович вышел вперед, ударил оземь своим крючковатым посохом, расправил плечи, его видавший виды брезентовый плащ в колеблющемся свете фонариков вдруг стал выглядеть стальными латами. Мы все повернулись к нему и ахнули: померещилось, что его огромная борода светится в темноте. Он достал из сумки свиток, произнес:

- Все должно сбыться, и сбывается: в месяц гроз пришел ты, - и он показал посохом на меня.

- И Ключ выбрал тебя, - продолжил он торжественно, как на партийном собрании. – А теперь мы спустились на Девятый круг, и кто-то должен открыть Путь Надежды…

- Не вижу я никакого Пути, - сказал я, оглядевшись: мрачные своды нависали над нами, каменные стены сумрачными очертаниями угадывались во тьме – и ничего…

- Направьте свои фонарики прямо! – скомандовала Мирра. Мы повиновались.

- Идите осторожно вперед, пока не упретесь в стену, - продолжила мышка.

Вытянув руки вперед, мы осторожно пошли в указанном направлении, пока руки не уперлись в глыбу льда.

- Как будто здесь сорок градусов мороза, – почему-то шепотом произнесла Ирина Николаевна. Мы отдернули руки – лед на северном полюсе был, наверное, теплее, чем здесь.

- Лед как гранит, - сказала Ирина Николаевна, - он даже шершавый, как камень. В общем, гранитный лед… Никогда такого не встречала. Но что нам с ним делать?..

- Присмотритесь лучше, - сказала Мирра, и мы тут же принялись светить фонариками на глыбу.

- Есть! Нашел! – закричал дервиш, и эхо много раз отразило от сводов пещеры:

- Шел-шел-шел!..

Тогда и мы увидели то, что нашел Гурий Иванович: глубоко во льду был вморожен свиток пергамента или бумаги, по виду совершенно такой же, как был в сумке у обитателя чердаков.

- И вот за этим мы шли? – спросил я. – Это и есть ваш Путь Надежды?.. Полгода плутать в подземельях, чтобы найти какую-то бумажку?..

- Это не бумажка, - сказал Гурий Иванович. – Здесь скрыта тайна из тайн, может быть, дорога к смыслу бытия…

- Ох уж мне эти поиски смысла жизни! – не сдержался я. – Все мои собутыльники его ищут, все дворники, как будто надеются найти его на тротуарах, которые подметают, все бабушки с вязаньем и телевизионными сагами тщатся разглядеть его - все-все ищут, может быть, только кроме тех, кто совершенно вменяем, а таких, как зеленых дубов в январском лесу… Ищут этот самый смысл, как растраченную юность, но никогда не задумываются; а зачем он им? Зачем?.. Ну, когда-нибудь откроется он, и что они с ним будут делать? Что?..

- Напрасно вы стараетесь выглядеть бывалым матросом, - сказал Гурий Иванович, - единственным спасшимся после того, как ваш корабль, перевозивший тысячу бочек рома, пошел ко дну, и вы не устаете повторять, что вам очень жалко пропавшего рома, не друзей… Может быть, вам больше других нужно обрести этот так смущающий вас смысл?..

Мышка завозилась у меня в нагрудном кармане, выказывая нетерпение:

- Теперь нечего спорить, - сказала она, – нужно доставать свиток.

- Хорошо бы иметь ломик или еще лучше – пешню, - сказал я, - но ни того, ни другого у нас нет. Попробую ножом…

Я извлек из рюкзака верный рыбацкий нож с теплой ясеневой рукояткой, сделанный в далекие отроческие годы в школьной слесарной мастерской из грубого драчевого напильника. Сколько судаков было выпотрошено им, сколько банок с тушенкой открыто, сколько срезано легких надежных вязовых удилищ! Но от поверхности дивного льда лезвие отлетело, как от несокрушимой брони. Нашла коса на волшебный лед. Я ударил несколько раз по поверхности глыбы, голубые колючие искры посыпались веером, а на

поверхности не осталось и следа. Бывший напильник не мог справиться с тем, что должно быть самым хрупким и самым ненадежным на земле, и тем более под землей. Не одолел льда и мой старый топорик.

- Вот это лед! – сказала мышка.

- Вообще-то предание гласит, что не силой будет побеждена последняя преграда, - сказал Гурий Иванович.

- А чем же? – спросила Ирина Николаевна, но в голосе ее как будто дрогнула догадка.

- Чем же? – повторила она.

- Огнем души и сердца…

- Так я и знала, - сказала она. – Вот и я пригодилась! А то думаю, для чего я отправилась с вами, а оказывается… Оказывается и без меня не обойтись…

Я непонимающе уставился на нее. Она сбросила курточку, засучила рукава кофточки, сказала:

- Ты еще не забыл, какие у меня руки горячие?..

И не успел я даже подумать, о том, что, конечно же, не забыл, и теперь уже не забуду никогда, как она раскрытыми ладонями прикоснулась к ледяной глыбе; и лед сразу убавил морозной голубизны, затуманилась прозрачная поверхность, появились в ней даже розовые мраморные прожилки, из-под ладоней Ирины Николаевны выступила влага, раздалось легкое шипение и мы, завороженные увиденным, молча наблюдали, как руки ее медленно погружались в глубину глыбы.

- Как холодно! – шептала девчушка с зачарованными очами, но продолжала руками растапливать лед, как двумя электродами. И эхо тоже шептало:

- Холодно-дно-дно…

И так жалобно звучал этот шепот, что, наверное, нужно было броситься ей на помощь, прибавить к энергии ее ладоней и свою, Гурия Ивановича, мышки-норушки, но я не бросился, и они не бросились, и вот уже по плечи погрузила она свои руки в глыбу гранитного льда. И как будто заледенела, прижавшись к ней. Кое-как преодолев странное оцепенение, я кинулся к Ирине Николаевне и услышал, как она едва вымолвила посиневшими губами:

- Не отпускает камень, не отпускает…

Я обнял ее, как будто сосульку:

- Милая, дорогая девочка!.. Держись, я с тобой!..

Она улыбнулась:

- Все хорошо, все будет хорошо…

И почему-то я не поверил этому. Она резко подалась назад, и мы увидели в ее руках освобожденный свиток, долгожданную находку и совсем небольшой круглый предмет, блеснувший в лучах фонарика – не то увеличительное стеклышко, не то окуляр какой-то.

- Вот! – сказала она.

- Вот! – повторила Мирра.

- Вот! – не сговариваясь в унисон произнесли мы с дервишем.

Я взял свиток, развернул его: россыпь непонятных знаков – кружочки, треугольники, квадратики, закорючки – как перевести эту старинную шифровку? Повертел я в руках и стеклышко, и сунул в карман – и что с ним делать?

- Ну а теперь моя очередь, - сказал Гурий Иванович. – Я знал, что когда-нибудь понадобится тайный язык, которому настойчиво учила меня бабушка; нам на крышах, чердаках, в подземельях не обойтись без тайн и секретов. Вся наша жизнь – секрет для большинства людей, и нам совершенно ни к чему посторонние глаза и чужие уши… Мы шифруем речь, прячем свои открытия, даже наша литература закодирована и ждет еще своих исследователей…

- Назовите мне литературу, которая не закодирована, - сказал я, обнимая дрожащую всем телом Ирину Николаевну, - а про чужие уши хорошо сказано!..

- Так вы сможете прочитать, что там написано? – спросила она.

- Попробую, - ответил он. – Нужно попробовать…

Он взял свиток, нацепил на нос очки – и откуда они взялись, эти очки? И сразу он стал похож на большого гнома, если, конечно, гномы носят очки.

- Так-так… на восток…на юг и назад…, - бормотал он. – Понимаю, понимаю…нет, не понимаю…Какое-то волшебное зрение…

- Все вокруг волшебное, все вокруг мое, - для чего-то сказал я.

Минут двадцать, а, может, и больше колдовал над свитком дервиш, произносил какие-то, не совсем членораздельные, слова. Иногда он закатывал глаза, как будто что-то подсчитывал в уме, иногда как будто даже напевал что-то. Но, наконец, молвил:

- Здесь сказано, что путь наш лежит теперь на восток, там найдем предвестника, он вооружит нас волшебным зрением…И только зрение это поможет отыскать единственную правду, правильную правду…

- К Димке что ль поедем? – спросила Ирина Николаевна. – К Жирбургеру?..

- Найти его нелегко, - продолжил дервиш, - координаты трудно понятны…

- Да в каком-то поселке он осел, на самом берегу Урала, - перебила его девчушка с зачарованными глазами, - сейчас вспомню – в Ко-ло-врат…, нет – в Коловертном – точно, он еще письмо мне оттуда присылал!..

- Точно, здесь так и написано – Коловертное, а я никак понять не мог – к чему это слово, - сказал Гурий Иванович.

- Может, волшебное зрение – вот это самое стеклышко? – вытащил я из кармана неприметную стекляшку, посмотрел сквозь нее на мышку-норушку – стекло как стекло, совсем чуть-чуть увеличивает.

- Не, не может быть, - не поверила Ирина Николаевна, тоже покрутив в руках стекло, - но на всякий случай не выбрасывай, пригодится. В нашем кладоискательном деле не всегда ясно, что может через минуту понадобиться позарез, а чего нам и совсем не нужно…

- Ну что, не будем останавливаться на полпути? Вперед, в Коловертное?.. – спросила Мирра и указала наверх. И только тогда мы увидели почти сливающуюся со стеной ржавую чугунную лестницу, которая вела куда-то под самый свод пещеры. Нижний конец лестницы находился почти у самой ледяной глыбы – и как мы его до сих пор не замечали?

Мышка еще раз скомандовала «Вперед!» - и я первый ступил на лестницу, за мной Ирина Николаевна, за ней Гурий Иванович. Через минуту мы оказались в подвале моего дома, а еще через минуту – вышли на улицу и щурились на сверкающий на солнце снег, вдыхали жадно морозный воздух, и смотрели друг на друга – при свете мы выглядели совсем не такими, как в подземелье. Наверное, тусклыми, как едва различимые оранжевые лампочки наших фонариков. Не потускнели только зачарованные глаза Ирины Николаевны.

- А что, сразу через этот подвал нельзя было - вниз – и за десять минут достать эту бумагу и стеклышко? – спросила она у мышки.

- Не знаю, наверное, можно, - ответила та равнодушно. – Но тогда не было бы приключений… И потом, помнишь, что в предании сказано – спуститься через девять кругов…ну и все прочее… Вот со всем прочим мы и шли. Понятно теперь?

- Теперь да, - сказала Ирина Николаевна. – Зима уже вовсю, новый год на носу…

- Сегодня как раз и новый год, - сказал Гурий Иванович, - да не простой…

Миллениум

Мы шли по нарядной предновогодней улице, и повсюду на нас смотрело неизвестное слово «миллениум». Что это такое, и почему так называется – мы не очень понимали, но радовались возможности перевести дух, посмотреть на изменившийся за время нашего отсутствия на поверхности мир. Мы озирались вокруг и спрашивали сами у себя: нам кажется, или люди стали добрее, улыбчивей, даже красивее? К нам подбежала какая-то морозная девушка, разрумянившаяся, веселая.

- Ряженые? – закричала она. – Класс! Никогда не видела, только в кино… Вы настоящие?.. А фонарики вам зачем?.. Какой чудесный праздник!..

Она просто захлебывалась восторгом.

- Вы из управления культуры, да? Феликса Баюканского знаете?.. Такой мужик отличный!..

- Знаем! – сурово ответила Ирина Николаевна. – Передадим ему привет от…кого?

- Кларой меня зовут, Кларой… Ну знаете, Карл у Клары украл кораллы?.. Мне эта скороговорка очень удается, хотя она из сложных: Карл у Клары… Когда произносишь ее быстро, то надо акцентировать внимание не на скорости произношения а на раскатистость

звука «рррр»… Каррррл у Кларррры укррррал коррррраллы… Ну и также точно про кларнет… кларррррнет…

- Мы все поняли, - злобно прошипела Мирра, - мы будем акцентировать…

- Ой! – завопила Клара. – У вас говорящая мышь!.. Круто! Я, конечно, понимаю, что говорящих грызунов не бывает, но здорово, что вы так чревовещаете за нее.

- Что я делаю? – спросил я.

- Как что? – Чревовещаете. Говорите вместо нее, а она только рот открывает…

- Рот он тоже вместо меня открывает, - сказала мышка.

- Здорово! Как это здорово! – не останавливалась привязчивая девушка. – Вы на городской бал идете? Тогда нам по пути. Мне говорили, что будет просто сногсшибательный бал, а я не верила. У нас ведь как – раструбят, наобещают воз и маленькую тележку, а как до дела доходит, то пшик вместо дела оказывается… Ну, там выстрелят в небо дешевыми китайскими ракетами на полтинник, а скажут на миллион, вместо пломбира подадут молочное пополам со льдом, вместо шампанского шипучки копеечной нальют… Но сегодня, я вижу, все по серьезному…

- Сегодня пломбир будет пломбиром! – пообещала Ирина Николаевна.

- Знаете, если бы не миллениум, я могла бы принять вас за какую-нибудь средневековую группу, - сказала Клара.

- Средневековую? – спросила Мирра.

- Ну да, за какой-нибудь отряд искателей сокровищ, вы так таинственно выглядите…, - обратилась к дервишу Клара. - А у вас борода настоящая?..

- Мы и на самом деле ищем…

- Вот мы и пришли! – закричала Клара, останавливаясь у сверкающего огнями здания. – Давайте, я вас через артистический подъезд проведу…

- А что, заодно и подкрепимся, - сказала девчушка с зачарованными глазами. – Дадут подкрепиться?

- Вы еще спрашиваете! – радостно засмеялась Клара. – Лучшие повара готовили нынешнее угощение, меню утверждали на самом верху…

- Наверное, на чердаке или на крыше, - проворчал Гурий Иванович, и мы вступили в царство миллениума.

Едва ли не все пространство огромного помещения было заполнено светящимися, сияющими, блестящими предметами – лампами, шарами, гирляндами, звездами – всех мыслимых и немыслимых цветов. С потолка свисали целые гроздья шаров, из них складывались гигантские буквы – М-И-Л-Л-Е-Н-И-У-М. Под гроздьями стояли десятки, может быть, сотни столов, заваленных всевозможными яствами. Ирина Николаевна сразу заметила груды королевских креветок, любимых ею, и фазаньи хвосты ананасов, которые она никогда не пробовала.

- Эх! – в радостном предвкушении вздохнула она.

- Не выгонят нас? – осторожно спросил гурий Иванович, пришелец из других миров.

Между столами перетекала, волновалась, хохотала человеческая масса – черные костюмы, открытые платья, загорелые плечи, безупречные металлокерамические улыбки; после гулкой пустоты девятого круга подземелий здесь было несколько многолюдно.

- Дамы и господа! – прогремело в динамиках. – Продолжается наша концертная программа…

- Вы будете гриммироваться? – спросила Клара, тоже слегка подавленная великолепием бала.

- Мы уже в гриме, - отрезала мышка-норушка.

Клара восторженно хлопнула меня по плечу, дескать, здорово чревовещаешь!

Мы подошли к одному из столов, дамы с господами старательно насыщались, бдительно следя за официантами, беспрерывно подносившими новые подносы с семгой, бужениной, мюнхенскими колбасками, и казалось, что нам ни за что не пробиться к провизии, но круг легко разомкнулся – наверное, давно уже начался бал, голод немного отпустил свою костлявую хватку – и мы примкнули к шеренгам жующих. Девчушка с зачарованными глазами навалилась на дары моря; наверное, она принципиально была против использования хитрых столовых инструментов, потому, что и креветок, и лангустов, и еще внутренности каких-то коричневых ракушек она пригоршнями отправляла в рот, не забывая сдабривать эту морскую фауну вином, которое пила прямо из бутылки. Гурий Иванович отдал должное бараньей лопатке, причем большую ее часть он сумел про запас запихнуть во внутренний карман своего выцветшего плаща. Мышка-норушка прямо-таки завизжала, увидев россыпи панировочных сухарей. Клара принялась поедать куриные котлетки с крошечными помидорками – «черри». Я выбрал себе кусок холодной говядины, отваренной с чесноком, намазал кусок черного хлеба протертым хреном, - мне нравится самая простая еда. Осмотрелся и обнаружил пучок зеленого лука - люблю заедать мясо луком, макая его в солонку…

- Человечество много чего нагородило о гармонии, - сказал дервиш, - а гармония – это сытость… Сытый человек находится в гармонии с миром и самим собой, он презирает революции, он мечтает о здоровом сне, а потом о здоровом сексе…или наоборот, кто как…

- Сытому человеку наплевать и на поиски подозрительных сокровищ, - вставил я. – Налейте-ка мне вон того черного вина!..

Он налил, и в это время в динамиках господам и дамам сказали, что выступает виртуоз игры на двуручной пиле Гурий.

- Гурию рукоплескал Вашингтон! – говорили динамики. – Ему бисировали в Лондоне, Париже, Коловертном, Мадриде, Уральске, Круглоозерном. Он лауреат международного конкурса в Семиглавом Маре…

- Это я, - скромно сказал Гурий Иванович и стал пробиваться на сцену, где уже две молодицы, почти без юбок, вытащили инструмент; видно было, что пила свеже наточена, зубья разведены, хоть играть на ней, хоть валить лес – все сподручно. Гурий Иванович под гром аплодисментов поднялся на сцену, поклонился. Поднял полы плаща, заткнул их за пояс, роговым гребнем расчесал бороду на две части, чтоб не мешала.

- Откуда они в этом миллениуме узнали о его способностях? – спросила с набитым ртом Ирина Николаевна.

Я пожал плечами, а мышка сказала:

- Слава впереди человека бежит…

- Абсурд! – сказала Ирина Николаевна. – Все здесь сейчас неправильно, одно с другим не сходится, как в испорченном телефоне.

- А разве, девушка, все на свете должно сходиться? – подлетел к ней некто в черной маске над густо накрахмаленной грудью. – Разве так в жизни задумано? Не успел человек родиться, а где-то уже и невесту ему замышляют?.. И троих деток, и гипертонию, и локальный конфликт, и пехотную мину?..

- Есть высший смысл, и высший план, и без них ничего не бывает! – уперлась девчушка с зачарованными очами. – Вот когда крутишь ручку швейной машины, то знаешь, что рано или поздно нитки кончатся, и это запланировано, и по другому быть не может… Не бывает бесконечных катушек, бывают большие, бывают маленькие, но бесконечных еще никто не видел… И так в жизни всегда…

- Это не аксиома. Если этого никто не видел, то не значит, что этого не бывает, - принялся уговаривать ее некто в черной маске, склоняясь к ее плечу. – Если вам представить бесконечную нить, то это и станет доказательством случайности, абсурдности мира, так?

- Ну, принесите мне шпулю с такой нитью, принесите! – принялась кокетничать Ирина Николаевна с маской. При этом она старательно не смотрела в мою сторону.

В это время на сцене дервиш взялся за смычок, выгнул пилу, как лук перед стрельбой, и заиграл что-то пронзительно знакомое. Гимн родной чердачной страны?.. Реквием по прошлому?.. Сюиту несбывшихся надежд?..

В зале все притихли, повернулись к Гурию Ивановичу. Что за музыка, что за музыкант! Дамы принялись вытирать слезы, мужчины тоже достали из нагрудных карманов кипельные платочки – пробрало публику.

- Браво! Брависсимо! – закричала Мирра, успевшая приложиться к черному вину. – Какой талантище!.. А композитор-то кто? Моцарт? Второй концерт для пилы с оркестром? Колоссально!.. Александр Водолазов – сочинение номер тринадцать си бемоль?

Гурий Иванович принялся играть на бис, раскраснелся, оказывается, и тайному посланцу чердачной цивилизации приятен неожиданный публичный успех.

Черная маска не отходил от девчушки с зачарованными глазами, которые, показалось мне, стали еще зачарованнее – от креветок ли, от вина ли, от слов маски?..

- Так, где же нескончаемая шпуля? – говорила она.

- Обещайте, если я вам преподнесу такую, вы публично признаетесь в своих заблуждениях? – отвечал он.

- Обещаю, охотно! – легкомысленно клялась она.

Маска хлопнул в ладоши, затянутые белоснежными перчатками, к нему подлетела другая маска – вся в новогодних блесках, они пошептались, и вторая исчезла. Впрочем, тут же появилась с подносом в руках, в центре которого лежала обыкновенная шпуля с белыми нитками – хоть подворотничок подшивать, хоть укреплять пуговицы на кальсонах, хоть подвенечное платье шить – на все годятся такие нитки.

Маска в новогодних блестках поклонилась и протянула шпулю Ирине Николаевне. Та осторожно, как взрыватель, взяла ее, покрутила перед глазами, потянула за конец нитки – нитка побежала к ее ногам, как тонюсенький вьющийся белый лучик, заблудившийся в миллениуме. Ирина Николаевна стала быстрее сматывать нить и через пять минут она стояла уже в центре белого пятна – нитяной паутины, и паутина эта все увеличивалась. И вот диво – дивное – ниток на шпуле меньше не становилось…

- Вы просто фокусник! – сказала черной маске Ирина Николаевна. – Это, наверное, обман зрения, отвод глаз, а на самом деле нитка давно кончилась…

Маска только покачал головой, развел руками, дескать, никаких фокусов, все без обмана.

Она еще ускорила сматывание, белая паутина под ее ногами выросла, но ниток на шпуле не убавилось. Тогда она оборвала нитку, сунула шпулю в карманчик куртки, и захохотала:

- Даже, если она и бесконечная, убедиться в этом невозможно… Можно всю жизнь посвятить ее разматыванию, но и это не будет доказательством: может, в ней ниток на две жизни, а то и на десять жизней? Так что, с полным основанием заявляю, что ничего бесконечного не бывает…

- А как же быть с бесконечностью вселенной? – спросил я.

Она даже не взглянула в мою сторону:

- Просто пока не могут измерить…

Со сцены спустился сияющий дервиш:

- Если бы наши видели мой триумф! Если бы они могли видеть!..

- Да, это было замечательно, - похвалил его я.

- У меня школа самого Юнга-младшего! – сказал он гордо, а я не решился спросить, а кто это такой. Мне также стыдно было, что я не знаю и Юнга-старшего. Нет, ни фига мы еще не знаем нашей великой культуры!

- Юнг-старший был основателем школы игры на бутылках, ножовках, двуручных пилах и напильниках, - просветил меня Гурий Иванович. – А как он играл на фуганке!.. Это надо было слышать!

- На фуганке – фуги? – оторвалась от панировочных сухарей Мирра. – Я что-то такое слышала. Или читала?..

- Нет, фуги другие играли, - пояснил дервиш. – Этот прославился Тринадцатой симфонией. Кстати, соло на пилах и долотах при первом исполнении симфонии исполнял сам Юри Фоменко.

- Само собой! – кивнул я, не имея понятия об этом эксклюзивном мастере игры на долотах и стамесках. – Но сегодня это для нас не очень актуально, не так ли?..

- Безусловно! – согласился он. – Я никогда не забываю нашей главной цели…

- Вот именно! – сказала мышка-норушка.

- Значит, пора? – спросил я у дружной компании.- Отдохнули, насытились, погуляли на миллениуме, запаслись хорошей едой – теперь в путь?

- Да! - ответила компания.

- Нет, - сказала девчушка с зачарованными глазами. - Я без Семена не поеду… Без Семена Фаридовича… Кстати, знакомьтесь, это Семен…

Некто в маске вышел вперед, поклонился, как конферансье, стал обходить нас с рукопожатиями, как генерал после победы. Не знаю, как остальным, а мне он сразу не понравился. Ирина Николаевна с такой нежностью смотрела на этого Фаридовича, что у меня тревожно заныло сердце.

Маска откашлялся и произнес небольшую речь:

- Если честно, так вам без меня никак нельзя. Вам надо найти человека, а я как раз специалист по поиску человеков. У меня на каждого человека припасена своя ниточка на своей катушечке…

Так я и думал, девчушка с зачарованными глазами разболтала ему все наши секреты.

- Подумаешь, человека найти, - сказал я. – Мы и так знаем, где он, без ниточек на катушечках…

- Вы думаете, что предвестник в Коловертном? – выказал некто в маске полную осведомленность в наших делах.

- А где же еще?.. – спросил дервиш.

– Ага, сидит у всех на виду, всем он известен, школьники на него пальцами показывают: вот он, вот он – ждет кладоискателей!.. А вы хоть знаете, на каком уровне жизни он сейчас находится?..

- На каком-таком уровне? – переспросила мышка. – На обыкновенном…

- Не думал я, что вам неизвестно о существовании жизненных слоев, уровней существования. Они настолько наглядны, что приходится только удивляться, как долго люди не подозревали о их существовании…Вот, скажем, приезжает человек в какой-то город на поезде, и ему нужно найти такой-то дом. И улица ему известна, и номер дома, но кружит человек без толку по улицам – и тридцатый дом есть, и двадцать восьмой вот стоит рядом, а двадцать девятого нет. У кого ни спросишь, все только пожимают плечами: не знаем, не слышали, никогда такого не видели, может, и не было этого дома никогда? Но вы-то знаете, что дом этот есть, и вам приходили из него письма, и там живет ваша давнишняя однокурсница и воспитывает вашего сына. Вы отчаиваетесь, торопитесь к полицейскому на перекрестке, но и он ничего не знает, звонит куда-то по телефону, потом разводит руками. А все дело в том, что дом этот находится в ином жизненном слое, который открывается, например, если прилететь в город на самолете, или придти туда

пешком, или приплыть на плоту, или спрыгнуть с парашютом с дирижабля…А на поезде туда как раз нельзя. Высаживайтесь с плота, и тогда двадцать девятый дом оказывается рядом с двадцать восьмым и тридцатым, и старая однокурсница открывает дверь и говорит, что сын уехал в кругосветное путешествие, а потом наливает чаю, рассказывает, рассказывает, рассказывает, и вы не успеваете даже подумать о том, как она постарела… Вообще, очень важен способ передвижения для проникновения в разные уровни жизни. Попробуйте приехать на стареньком «Москвиче» в любой из тысяч наших маленьких городков. В какой-нибудь Ущучинск, Переплюйск, Дремучинск, Безбородинск… Вам откроется столько такого, чего вы никогда бы не увидели, приехав туда на поезде. Есть места, куда нужно добираться только пешком, есть и такие, которые требуют не просто пешего хода, но и обязательно босиком. Хотя никто не знает точно, почему открываются или наоборот закрываются разные уровни жизни. Иногда достаточно только остановиться, перевести дыхание – и вот ты среди дорогих тебе людей, а иногда неделями, годами бродишь среди совершенно чужих. Вы заметили, как часто пропадают из поля зрения некоторые люди – на годы, на десятилетия. И никуда они не уезжают, живут в соседнем с вами подъезде, ваши дети учатся в одной школы. И каждое утро вы с одной автобусной остановки отправляетесь на службу, но вы на пятнадцать минут раньше, потому, что ваше рекламное бюро на две остановки дальше. И вот эти непреодолимые пятнадцать минут разделяют вас на десятилетия. Вы, сами не зная того, оказались в разных жизненных слоях…

Или выходите вы каждым вечером постучать в домино, скоротать длинные июльские часы перед отходом ко сну – выкурить приятную и полезную для здоровья сигарету с ментолом, освободиться от анекдота про тещу, в общем, достойно провести досуг. Кроме вас, приходили Колька, Володька и Анвар, отличные ребята, свои в доску. А в один из вечеров Анвар не пришел, и никто не знает почему. Может, грипп, может, запой, может, на сверхурочную остался в своем водоканале? Без него домино не домино, и вот вы тащитесь в дом через дорогу, спросить: рассчитывать на Анварку или как? И открывает вам дверь старший сержант санитарной службы Наталья Антиповна, та самая, за которой вы обещали тридцать лет назад вернуться в артиллерийскую часть, но так и не вернулись. Теперь она уже не сержант, давно демобилизовалась, поседела, но удивительным образом не изменилась; улыбка, глаза – ну, точно, как тридцать лет назад. И как ни в чем не бывало, говорит «Здравствуй, Петя! Анвар уехал на дачу – мотыги повез, через часок вернется». Тогда, дескать, и забьете козла. А вы думали о ней тридцать лет, разговаривали с ней бессонными ночами, объясняли как же так получилось, что на гражданке закружилась голова, встретилась старая однокурсница… Но с ней не сложилось… А потом вы искали ее, своего дорогого сержанта, но не нашли… А она спокойно отвечает вам: «Петя, милый мой! Не горюй! Видимо, выпало нам с тобой находиться в разных жизненных пластах… На протяжении тридцати лет я каждый вечер прохожу мимо столика, за которым ты сражаешься в козла, и ни разу за это время ты не поднял на меня глаза… «Пусто – пусто» выпало нам с тобой…Эх, Петя!..»

- Ты так рассказываешь, будто сам настрадался от этих уровней, - сказал я Семену Фаридовичу.

- Это моя специальность, - ответил он. – И еще одно хочу сказать – жизненные пласты не привязаны к месту или времени, это нечто неуловимое, труднообъяснимое, а, скорее всего, – совершенно необъяснимое. Один ходит по улице всю жизнь, и за всю жизнь не разу не спотыкнется, не наступит даже в собачье дерьмо, а другой на той же самой улице чуть не каждый день попадает в медвежьи капканы, весь изуродован, не верит в добро…

Нет, это не судьба такая, у судьбы ставки крупнее. Не путайте и с другими измерениями… В общем, без меня вам не обойтись…

Специалист по уровням замолчал, уставился на меня. Наверное, лицо у меня было подстать ананасу – красивое и очень умное.

- Ладно! – сказал я. – Собирайся…

- Все мое – при мне! – радостно сказал он, и снял с лица черную маску. Но как будто ничего не изменилось у него на лице.

Ирина Николаевна подошла ко мне, откашлялась.

- Ты прости меня, - произнесла драматическим шепотом.

- Ничего, - ответил я. – У тебя же все быстро, да?..

- Ну, разве я виновата, что полюбила Семена? Виновата?

- Нет, - сказал я. – Ты виновата, что разлюбила…

- Прости!.. – она прикоснулась к моей руке, и я почувствовал ледяной холод ее ладоней.

- Хватит шептаться! – пропищала мышка-норушка. – Пора в дорогу!..

Ночь.

Всю ночь бронированная буква «О» гонялась за мной по желтой, раскисшей от дождей равнине, а когда она настигала меня, я в ужасе просыпался и слышал, как на верхней полке счастливо вздыхает возлюбленная парочка. И как посапывает на боковой лежанке увязавшаяся за нами Клара. Я с усилием смыкал веки, и тотчас начинала наступление ужасная буква. На пластмассе столика дребезжали бутылки, стаканы, ложечки в стаканах. Кажется, восемь суток назад сели мы в этот поезд, и все восемь суток была ночь. Я протянул руку и нащупал бутылку, кажется, не пустую. Глоток водки нежданной сладостью разошелся по гортани; как хороша бывает водка ранним утром, еще до света, как освежает она, как обостряет чувства, пробуждает память.

…Двадцать два года назад меня занимала проблема свободного полета. Если человек летает во сне, думал я, то он обязательно должен уметь это наяву. Сон – только отраженная уставшим за день мозгом реальность. Может быть, когда-то давно мы все умели летать, но потом разучились, забыли? – мучался я. Наверное, нужен только толчок, отправная точка для полета – и развернутся за спиной легкие крылья, и наполнятся легкие встречным ветром. Самый эффективный и быстрый способ научить плавать – выбросить из лодки дрожащего от страха ученика на самой середине глубокой реки; он обязательно поплывет. Если не утонет или не умрет от разрыва сердца. Разве этот способ не подойдет и для тех, кто учится летать? Многие до меня терпели неудачу, падали с колоколен, отвесных стен и разбивались; я объяснял это тем, что они пытались подправить природу, привязывая к рукам самодельные крылья, а достаточно только расправить те, что тебе даны от рождения – невидимые, но самые надежные.

Город, где я жил тогда, прижимался горячими летними щеками прямо к подножью гор. Когда было особенно жарко, я поднимал глаза на заснеженные вершины, и это помогало,

как глоток воды из горной речки. Там-то я решил проверить свою незамысловатую теорию.

Однажды, нагрузившись рюкзаками с провизией, не забыв гитару, мы с приятелями и подружками отправились в горы. Расположились неподалеку от скал, расписанных туристами. Огромные эти скалы казались неприступными, но многочисленные надписи говорили об обратном. Я выпил стакан вина и начал карабкаться на каменную стену.

- Ты что, свихнулся? – закричали вслед подружки. – Ой, ой, скалолазик наш понарошечный…

«…непролившиеся дожди, притаившиеся лавины», - пропела гитара

Я понял, что путь к отступлению закрыт. И, наверное, вот в эту секунду кончился полет. Не начавшись.

Я поднимался все выше и выше. Каменное крошево летело из-под подошв, и не тотчас откликалось снизу. Не сразу заметил я, что в кровь ободраны вальцы, промелькнула дурацкая мысль, что вино сегодня будут допивать без меня. Внизу среди подружек осталась и та, чьи насмешки особенно ранили меня, теперь, скорее всего, она не будет смеяться.

Я знал, конечно, что нельзя смотреть вниз, но посмотрел. И прилип животом к нагретому на солнце камню. Я сумел рассмотреть, как внизу вдоль голубой ниточки горной речушки ползут две красных мыльницы – автобусы, и подумал, что они уедут сегодня без меня. До вершины скалы оставалось совсем немного, мне прекрасно было видна крошечная березка, каким-то сумасшедшим образом сумевшая вырасти там почти на голом камне, но сдвинуться с места меня не могла никакая сила в мире, даже сила трусости, даже боязнь насмешек моей веселой подружки.

- Ну что ты прилип, - едва-едва услышал я снизу ее голос. – Автобусы пришли, надо собираться… Чего ты так обнимаешь этот камень?.. Мне даже немного завидно…

Я молчал, чувствуя каменное напряжение, которым наливаются мышцы. Нет, человек не создан для свободного парения! Как я мог думать иначе?.. Глупо, как глупо разбиться в воскресный день на глазах у праздной публики. Глупо изобретать никчемные теории – они, может, и хороши для беллетристики, но как жалки в жизни, разогретой июлем, хрустящей молодым апортом, сверкающей загорелыми девичьими коленками!..

- Слезай, хватит уже! – потеряли терпение друзья. – Не так уж и много ты выпил!..

- Может, случилось что? – наконец, тревожная нотка послышалась и в голосе подружки. – Ээээййй! На горе! У тебя все в порядке?

Я молчал. Тогда только друзья принялись карабкаться ко мне, вместе с ними и подружка-насмешница. Когда они добрались до меня, я превратился в самую раскаленную часть скалы, такую же неживую.

- Ну, ты что, старик? Голова закружилась? – подбросили они мне спасительное объяснение.

- Испугался!.. – не решился я соврать, да и не для чего было.

Они аккуратно обвязали меня веревкой и, как тюфяк, спустили к подножью скалы. Мы собрали рюкзаки, допили вино и успели к автобусам. Друзья травили анекдоты, подружки дружно хохотали, тремя минорными аккордами была совершенно истерзана гитара. Я громче всех пел «К синеглазым своим горам, не пора ли нам возвращаться?..» Насмешница обнимала меня за плечи, просила обязательно позвонить ей вечером.

Но я не позвонил ей. На другой день уехал на хлебоуборку, там работал все лето на славном комбайне СК – 4 с трубонаддувом и заработал двести девяносто рублей денег и семь центнеров зерна. В степи мне очень понравилось. Там не было гор, даже холмов – желтая равнина и все. Насмешница прислала мне на целину посылку с сигаретами и шоколадом. И записку: «Жду». С тех пор я не видел ее. Как-то так случилось, что мне пришлось переехать в другой город, она, кажется, тоже куда-то уехала; и, наверное, мы все-таки должны были увидеться, но к тому времени мной завладела иная идея – невидимости. И здесь я преуспел не только в теории, но и на практике.

Нет, я не разрабатывал микстур невидимости, таблеток прозрачности, не ломал голову над скафандром, который бы делал меня совершенно незаметным, не изобретал специальные лучи, в свете которых пропадало бы все. Я понимал, что состояние невидимости правило, а не исключение. В нем умудрились счастливо оставаться миллиарды безвестных обитателей Земли. Никто на них никогда не обращал внимания, и похоже они прекрасно без этого обходились. Им это было совершенно не нужно. Больше того, я думал, что эта их невидимость была залогом счастья. Они не изобретали порох, но им и не сносили головы на лобном месте, они не получали орденских лент за победы в великих сражениях, но зато спали по ночам без кошмаров и гордились не количеством убитых врагов, а числом рожденных ребятишек…

Мне хотелось быть невидимым, я надеялся хотя бы так перебить горечь катастрофы на скале. Для этого, считал я, важно убедить себя в своей невидимости – и все произойдет как бы само по себе. Я часами твердил себе: «Меня никто не видит, никто не замечает!.. Никто-никто-никто…» И однажды вечером зашел старый друг, постучал в мою дверь. Я не ответил, сам не знаю почему. Промолчал – и все. Он еще постучал, потом толкнул дверь, вошел в комнату, позвал меня по имени. Я сидел перед ним на табуретке, а он меня не видел. И лампочка под потолком сияла во всю силу, а он меня не видел. Я стал невидимым. Друг походил по комнате, посидел на второй табуретке, написал записку и ушел. С тех пор я научился пропадать – для друзей, для Марии, а иногда кажется – и для себя самого тоже.

И еще. Почему-то с тех пор я живу с ощущением того, что ночей стало больше, чем дней. Может, я просто не успеваю их замечать?..

Я открыл глаза, поезд стоял на темном ветреном полустанке.

- Может, нам выходить уже? – свесилась с верхней полки Ирина Николаевна. Но не рассмотрела меня. Легко спрыгнула, растормошила Гурия Ивановича, Клару:

- Какая-то странная остановка, в расписании ее нет.

- Наверное, расписание старое, - предположил дервиш. – Сейчас часто так бывает. Наверное, чтобы люди не пугались нового, его прикрывают старым. Нужно у проводника спросить…

- Не нужен нам проводник! – спустился вниз и Семен Фаридович. – Если именно здесь открывается проход в нужный нам уровень жизни, то поезд будет стоять до тех пор, пока мы не сойдем с него… Если, конечно, проход открыт именно для нас… Чтобы убедиться в этом, достаточно сойти с поезда. Но шестое чувство специалиста по уровням подсказывает мне, что именно нас дожидается поезд.

- Тогда нечего тянуть! – сказал я, и девчушка с зачарованными глазами с удивлением уставилась на меня: только что рассмотрела.

- А я уж подумала, что ты бросил нас, сошел в Мокроусе, - сказала она. – А ты здесь, как я тебя не заметила?

- Не мудрено было не заметить, - сказала Мирра. – Вы там наверху всю ночь вообще никого не замечали…

- Нет, просто он невидимым умеет быть, - ответила Ирина Николаевна. – И это немного тревожит…

Собрав свои нехитрые пожитки, мы вылезли из поезда, и вагоны тотчас покатили по рельсам, оставив нас в тяжелой, вязкой темноте. Где-то невообразимо далеко мерцал оранжевый огонек, и мы пошли на это мерцание, включив свои фонарики, как в подземелье.

- Не кажется ли вам, друзья, что в нашей жизни случился как бы перебор темноты? - спросила Ирина Николаевна. – По времени давно уже должно быть утро, одиннадцать часов, а здесь кромешный мрак…

- Число ночей все увеличивается, - сказал я, но меня не расслышали.

- Вот найдем сокровище, разбогатеем, - мечтательно произнесла мышка-норушка, - я куплю себе сенбернара.

- Зачем тебе такого огромного пса? – удивился Семен Фаридович. – Знаешь, сколько он жрет?.. Барана целиком проглатывает!..

- Вот и хорошо! – обрадовалась мышка. – А уж котов он будет, как семечки щелкать! И еще куплю себе подвал самого большого магазина в городе… Представляете, сколько там крошек! Или куплю подполье в библиотеке…

- Что, там тоже крошки? – спросила Ирина Николаевна.

- Там - богатства самые-самые!.. Наверху в парадных залах стоят книги, которые никто не читает, а внизу томятся самые интересные и правдивые. Чем правдивее книжка, тем глубже она запрятана.

- Так мы, оказывается, сокровище ищем! – восторженно закричала увязавшаяся за нами Клара. – Как интересно!.. Мне деньги как раз очень нужны!..

Наконец, забрезжил рассвет, ближе к полудню. Оказалось, что оранжевый огонек, к которому мы пробивались, - лампочка на столбе перед крошечной железнодорожной лачугой, будкой, сложенной из старых шпал. А вокруг простиралась все та же бесконечная желтая равнина.

Дощатая дверь была не заперта, в ней оказались стол, несколько деревянных ящиков, служивших табуретками, на столе лежала географическая карта. Я присмотрелся, знакомые названия: Первые Чижи, Вторые Чижи, Семиглавый Мар, Переметный, Ростоши, Большой Чаган, Коловертное…

- Вот, Коловертное! – указал пальцем на карту Семен Фаридович. – Это подтверждение моей правоты… Теперь пришла пора той катушки с белыми нитками… Она еще цела?

- Я случайно прихватила ее с собой, - сказала Ирина Николаевна.

- Ничего случайного не бывает, - глубокомысленно заметил Семен Фаридович. – Давайте ее сюда…

Он взял шпулю, нашел конец нитки, намотал ее на пальцы правой руки, вышел из железнодорожного домика и бросил ее далеко перед собой, она белой точкой сверкнула в первых рассветных лучах, стала подать вниз, но, вдруг, зависла над землей, как ранний жаворонок, и как будто потянула за собой Семена Фаридовича. Во всяком случае, он подался за ней, крикнул:

- За мной! Теперь не отставайте!

- Может, здесь полтыщи верст? – спросил я, но тоже прибавил хода.

- Может, и больше! – ответил специалист по уровням жизни. – Но дорога быстро подходит к концу…

И на самом деле, хотя ноги скользили по желтой глине, нитка быстро тянула нас за собой и, вдруг, показался большой поселок, он надвигался на нас глинобитными домами, некрашеными заборами, выцветшими флагами на\ кривыми крышами, и уже были видны на улицах буксующие грузовики, люди в брезентовых плащах, резиновых сапогах, и мы приготовились разговаривать с ними, узнавать об их жизнях, но нитка потянула куда-то в сторону, и мелькнула табличка с затертым названием «…чижи», и поселок принялся, как будто, отползать в сторону, но тут же нас вынесло на яр степной речки, вдоль которого мы пронеслись за минуту, и показался другой поселок.

- Выходим на нужный уровень, точно! – закричал Семен Фаридович. – Чувствую, что до предвестника рукой подать.

- Это уже Коловертное? – спросила Ирина Николаевна.

- Быстрая ты какая! – пробурчал Гурий Иванович. – Не реактивные же мы!..

Этот поселок мы пересекли по главной улице, успев купить у приветливых местных жителей соленых огурцов и пирог с капустой.

- Что это за населенный пункт? – спросила Клара.

- А вы не в Коловертное путь держите? – ответили вопросом на вопрос.

- Туда, туда! – закричала Ирина Николаевна. – А далеко еще?..

- Не знаем! – ответили селяне. – Кабы, ведали туда дорогу, давно бы ушли отсюда. Надоели эти огурцы, да капуста, а больше тут ничего нет…

- А в Коловертном лучше жизнь? – спросила нуждавшаяся в деньгах Клара.

- Насчет того – лучше или хуже – не знаем, но слыхали, что храм там стоит, и вокруг храма люди бывают…Там всегда старались по вере жить…

- Получилось? – спросил я.

Ответа я не услышал, потому, что нитка потянула нас в сторону от огуречно-капустного поселка, и сразу же на горизонте показался деревянный городок – деревянные крыши, деревянные сараи, деревянные палисады. А вокруг ни одного деревца, только старые замшелые пни. Наверное, вывели весь лес на дома и сараи. Навстречу нам выслана была депутация знатных горожан, которые принялись было благодарить нас за счастье, которое мы доставили им своим прибытием, и зазывать нас на банкет по этому случаю, но быстро выяснилось, что нас перепутали с отважными космонавтами, которые родились и выросли в этом городке, а потом оперились и улетели на Луну или еще дальше. Депутация быстро отступила, за ней пропал и городок, а перед нами развернулся степной простор, на горизонте которого горбатилась чугунными конструкциями ржавчина космодрома, где время от времени воплощались в жизнь дерзновенные мечты человечества.

- Как бы я хотела полететь в космос! – мечтательно протянула Ирина Николаевна. – Чтобы парить птицей над далекой Землей, и видеть все-все…

- Зачем тебе видеть все? – спросил я. – Тем более все-все?..

- Злой ты! – сказала она. – Не знала я…

- Я сам не знал…

Нитка потянула нас к стартовой площадке, на которой устанавливали на пусковой стол огромную ракету. Люди хлопотали, подключая к ракете какие-то провода и шланги, приборы со стрелками и без стрелок.

- Как дела, ребята? – закричал Семен Фаридович. – Куда собираетесь?.. Может, подбросите до Коловертного.

Ребята дружно засмеялись:

- Так вот оно, Коловертное, сразу за космодромом. Туда и пешком десять минут неспешного хода…

- А мы и не заметили! – сокрушился Гурий Иванович. – Голова кругом от этого космоса идет…

- Может, вы и не заметили, - сказал торжественно Семен Фаридович, - может, у вас и голова кругом идет… Но есть люди, которые ничего не упускают из вида и не страдают головокружениями… Мы у цели!..

- Так, где же предвестник? – пропищала мышка-норушка.

- Где он, где? – произнес дервиш.

- Что-то не вижу я своего братишку, Жирбургера, - подтвердила Ирина Николаевна.

- Внимательнее следите за ниткой! – сказал Семен Фаридович.

Белая нитяная линия добралась до ракеты и, вдруг, стала подниматься вверх, до самой капсулы, в которую готовился забраться космонавт в серебристом скафандре.

Одного взгляда на его нескладную фигуру хватило, чтобы понять: именно он нам и нужен.

- Димка, слезь на минутку! – закричала Ирина Николаевна. – Мы тебя ищем, а ты куда намылился?

- Ирка?! – узнал сестру космонавт. – Не могу спуститься, уже отсчет предстартовый идет… По предсказанью мы в ракете должны встретиться. «Огненное зерно станет местом встречи Предвестника и Человека Ключа…» - процитировал он по памяти, и добавил:

- Заправлены в планшеты космические карты… Если что, давайте по быстрому вы ко мне!.. У нас еще в запасе четырнадцать минут… Там внизу в каптерке скафандры в углу свалены.

- Быстро, быстро! – принялся подгонять нас специалист по жизненным уровням, и мы бросились в каптерку – тесную комнатку – где каждому из нас досталось по добротному скафандру, даже мышке-норушке нашелся крошечный комический костюмчик.

- Как будто для нас припасено! – восхитилась Ирина Николаевна. Она была необыкновенно хороша в сверкающем серебряном скафандре.

- Для нас и припасено! – буркнул Гурий Иванович.

- Класс! – восхитилась Клара.

Лифт неспешно поднял нас на вершину стартовой башни. Вокруг нее простиралась все та же желтая равнина, неподалеку буксовали грузовики, в кузовах которых сидели люди в брезентовых плащах. «Наверное, где-то неподалеку есть завод, который производит специальные буксующие грузовики», - подумал я.

- Забирайтесь, забирайтесь! – стал приглашать нас в капсулу Дмитрий. – Я знал, что вы успеете, знал!.. Располагайтесь, время еще есть. Осторожно, не нажмите вон ту красную кнопку…

И, конечно же, Ирина Николаевна тут же нажала на эту кнопку.

Загрохотало все вокруг, завибрировали стенки капсулы, щелкнул замок люка, а через секунду нас придавило к полу гравитацией.

- Что ты наделала! – закричал Дмитрий. – Мы стартовали!..

- Сбылась твоя мечта! – крикнул я побледневшей Ирине Николаевне. – Ты паришь…Все ли тебе видно?..

- Дурак! – сказала она.

- Ой, а парашюта здесь нет? – спросила Клара.

- Только один, - ответил Жирбургер. – Кому его отдать?..

- Мне! – закричала Клара.

Он достал из-под сиденья парашют, передал его испуганной девушке, потом помог ей не запутаться в лямках и ремнях, показал кольцо, за которое нужно было дергать после прыжка.

- Простите меня! Простите, пожалуйста…– стала она прощаться с нами. – Я буду помнить вас… С вами так интересно было…

- Где здесь люк, куда прыгать? – спросила она у предвестника. Он показал ей люк, обнял Клару.

- Только люк снаружи задраен, - сказал он. – Его нельзя изнутри открыть…

- Нельзя?.. – завопила Клара. – Как нельзя?.. Зачем же вы дали мне этот мешок тяжеленный?..

От отчаянья она дернула за парашютное кольцо, парашют раскрылся, и мы оказались в огромном ворохе шелка.

- Что теперь будет с нами? – пропищала Мирра. – Мы погибнем?..

- Шутишь? – сказал Жиртрест. – Это лучшая ракета в мире…Сейчас повернем куда нужно…И ведь в предсказании сказано, что «Огненный шлейф придет им на помощь…» Помните?..

- Ой, меня, кажется, укачивает! – сказала мышка-норушка.

- Потерпи! – сказал предвестник. – Дорога наша недлинная.

Он взял у Гурия Ивановича свиток, добытый в глыбе льда, сверил его с какой-то своей бумажкой, а потом сверил с показаниями приборов, покрутил многочисленные регуляторы, ручки и маховики двинул кулаком по какому-то манометру, выглянул в иллюминатор и добавил:

- Уральск, приземляемся. Все рассчитано точно!

Клара сидела на полу на раскрывшемся парашюте и улыбалась непонятно чему. Может быть, радовалась окончанию космического полета.

Ракета еще немного погрохотала, но вскоре стихла, приземлилась почти без крена. Мы приникли к иллюминаторам: ракета стояла в центре города, у кинотеатра имени Чапаева. Люди проходили мимо, не обращая никакого внимания на огромный космический челн. У одного из стабилизаторов ракеты расположилась мороженщица, продавала эскимо на палочках. Певица в громкоговорителе, укрепленном на стене кинотеатра, выводила: «Ты сегодня мне принес не букет из алых роз, не тюльпаны и не лилии, протянул мне скромно ты эти белые цветы, а они такие милые! Ландыши, ландыши…». С другой стороны кинотеатра расположился пивной ларек, у которого с десяток небритых личностей пили пиво из пузатых кружек, сдувая пену. По улицам, заросшим бурьяном, бродили куры, меченные разноцветной краской, время от времени неспешно проезжали, поднимая пыль, велосипедисты; бельевые прищепки предохраняли штанины велосипедистов от попадания их в цепь. На тротуаре, мощенном жженым кирпичом, мальчишки играли в «орлянку», «натяжку», звенели монетами. Напротив кинотеатра гарцевал казачий разъезд – малиновые лампасы, малиновые околыши, окладистые бороды, устрашающие пики. Посереди улицы две молодухи в синих сарафанах несли на узорных коромыслах

ведра с водой; чтобы вода не расплескивалась, в ведра на поверхность воды были положены чистые плоские дощечки… А еще дальше – в переулках и улицах - были видны другие космические ракеты, на них тоже не обращали внимания.

- Какой-то странный город! – сказала Клара.

- Это населенный пункт, опередивший время, - сказал Семен Фаридович. – Здесь еще двести тридцать два года тому назад была изобретена и построена машина времени. Целый временной агрегат, мощный, безотказный. Сначала жители города бросились посещать далекое будущее, натащили оттуда груды неизносимых колготок, тонны искусственного золота, кубометры синтезированных алмазов, отряды искусственных женщин, но быстро разочаровались в этих ценностях, стали наведываться в темное прошлое – посмотреть на гибель Атлантиды, поучаствовать в Троянской войне, познакомиться с Рамзесом Вторым, но история оказалась не такой красочной, чем в учебниках и романах, и желающих посмотреть на грубое воинство Чингис-хана, сфотографироваться с Клеопатрой, оказавшейся не такой уж красавицей, взять автограф у желчного Шекспира становилось все меньше… И, конечно, была бы поломана и заброшена, как не оправдавшая надежд, эта временная машина, но пришло в голову горожанам перенести весь город в какое-нибудь далекое-далекое время, до которого не доберутся радетели народные и всякие революционеры и полководцы, и установить там такое время, когда была спокойная, счастливая жизнь. Стали выбирать. Одни захотели, чтобы вернулись шестидесятые годы, другие – предвоенные, третьи вообще хотели на два века назад. Долго не могли решить, но выход был найден. Каждый выбрал себе время по душе. Теперь на одной улице здесь купеческий разгульный трактир, на другой - молодежное кафе со спорами о физиках и лириках, на третьей – казачьи курени… Здесь, порою, на одной улице сходятся два разных времени. Вон посмотрите, через две улицы отсюда, горожане готовятся к посещению города цесаревичем Александром, а наискосок от них расклеены афиши мюзикла «Чаган – **XXII** век». И никто никому не мешает. Наша ракета села на улице, где установлен пятьдесят шестой год…

- Я слышал, что есть такие города, но никогда не бывал в них, - сказал Гурий Иванович.

Мы выбрались из ракеты, вдохнули воздуха разных эпох.

- Интересно, а есть ли здесь улица, на которой **1833** год установлен**?** – спросила мышка-норушка. – Так хочется Пушкина увидеть, ведь он именно в этом году сюда приезжал…

- Конечно, есть, - сказал Гурий Иванович. – И совсем отсюда недалеко, да вон и крыша атаманского дома виднеется…Но нам нужно в противоположную сторону, туда, где пятьдесят третий год…

- Ну, хоть одним глазком, а**?** Хоть издалека**?** – стала умолять Мирра.

- Может, правда подойдем поближе**?** – предложил я. – Что могут решить пять – десять минут**?**..

- Даже секунды иногда многое решают, - тонко подметил предвестник, но сам первым сделал шаг по направлению к дому наказного атамана. Мы все за ним.

И тут же подернулись осенней позолотой кроны деревьев, потянуло сентябрьской прохладой.

- Двадцать первое сентября, - вспомнил Семен Фаридович. – С минуты на минуту он подъедет…

И сейчас же показалась коляска, запыленная, на заднике сундук; подлетела к парадному крыльцу. Часовой из полосатой будки кинулся докладывать начальству о знатном петербургском госте. И вот уже сбегают по лестнице казачьи офицеры – сияют эполеты, на бородатых старообрядческих лицах почтение к прибывшему. Как же, столичная птица! С царем каждый день ручкается. Обласкан властью, а жена – первая придворная красавица. Но как посмотреть. Наши уралки-то не хуже будут! Одна Аграфена Абрамовна чего стоит!..

- Это Василий Осипович Покатилов, Федот Григорьевич Бизянов, Стахей Дмитриевич Мизинов, - прошептал Семен Фаридович. – Герои! В каких только сражениях не участвовали, в каких только землях не бывали!

И откуда он их всех знает?

И раскрывают казаки объятья навстречу странному человеку – низкорослому, подвижному, чернявому, - почти мальчишке. А тот улыбается, сбрасывает дорожную шинель с бархатными обшлагами, остается в сюртуке. Такой путь проделал – от самого Оренбурга, а как будто и не устал. Глаза блестят, вокруг огладывается – все интересно ему. Городок невелик, а домов каменных немало, купола старинных церквей видны. А вот по улице шествует верблюд… Какое странное смешение Европы и Азии!..

- Так у него маникюр! – заметила Клара, глазастая. – А ногти, ногти длиннющие!..

- А борода какая! А у нас в учебнике его портрет был, так без бороды, - сказала Ирина Николаевна.

- Барин!.. – прошептала Клара. – Сразу видать!..

- Пушкин! Живой! – пропищала из нагрудного кармана Мирра. – Вот бы автограф взять!..

И тут же сорвалась с места Клара, полетела к поэту:

- Александр Сергеевич! – закричала она. – Александр… Не уничтожайте десятую главу «Онегина», пожалуйста!.. И самое главное – в тридцать шестом году уезжайте за границу годика на три… Развейтесь!.. Уезжайте!..

Пушкин улыбнулся, помахал ей рукой. Ничего не расслышал. Повернулся и, окруженный офицерами, скрылся в атаманском доме.

- Может, он вечер поэтический будет здесь проводить? – спросила с надеждой Клара. – Надо как-то предупредить его о Дантесе…

- Не будет никакого вечера, - сказал Гурий Иванович. – И предупреждать его не нужно… Пушкин погиб в тридцать седьмом, а тот, который остался жить – не Пушкин…

- Может, пора уже вспомнить о том, зачем мы сюда пожаловали? – спросил предвестник. – Пришел, наконец, черед нашей тайне… Долго мне еще носить с собой этот калейдоскоп?.. Я нашел его в Коловертном, и что-то подсказало мне, что это и есть Волшебное Око…

Он вытащил из кармана картонный цилиндр детского калейдоскопа, протянул его мне. Я заглянул в игрушку, но ничего не увидел – на ней отсутствовал окуляр.

И тут я вспомнил о стекляшке, которую мы нашли в подземелье. Не выпала ли она из кармана?

Стекло оказалось на месте, и точно подошло к калейдоскопу. Как тут и было!

Я пальцами протер окуляр и посмотрел через него на свет. Узор из стекляшек походил на букет разноцветных гвоздик. Я встряхнул игрушку, и внезапно стекляшки исчезли, осыпались куда-то вниз, и я увидел, как в бинокль, длинное приземистое одноэтажное здание с двумя псевдопортиками, с обшарпанными колоннами. Изображение на секунду затуманилось, но тут же прояснилось, двинулось на меня, хотя я стоял на месте.

- Просто кино какое-то, - пробормотал я. А тем временем здание в волшебном калейдоскопе проплыло мимо меня, и я как бы оказался в обширном дворе, в глубине которого находилось огромное помещение без окон – лабаз, на огромных дверях которого висел ржавый замок. Лабаз был явно заброшен, крыша его местами обвалилась вовнутрь, на трухлявых бревнах перекрытий утробно урчали дикие голуби. Изображение в калейдоскопе удивительным образом проникло за двери лабаза и вот возникла огромная куча битого кирпича, драного рубероида, мотков проволоки…, - всего, что не нужно человеку, но что всегда можно найти там, где человек живет.

- Ну что, что там видно? – спросила нетерпеливая Ирина Николаевна.

- Мы добрались, наконец, до места? – не удержалась мышка-норушка.

- Не томи, скажи что видно? – сказал Семен Фаридович.

- Там виден клад, - сказал я и опустил калейдоскоп. И ахнул. Мы стояли около того самого здания, которое только показывал калейдоскоп. Как мы прежде его не заметили?

Наша эра

- За мной! – сказал я, и мы направились к зданию, прошли мимо обшарпанных колонн, мимо покосившегося забора, зашли в распахнутые ворота и увидели в глубине двора старый разбитый лабаз. Казалось, что запустение и тоска смотрели на нас из каждой щели.

- Здесь!.. – сказал я, хотел добавить «Здесь сокровище», но промолчал.

Мы осторожно, словно боясь подорваться на пехотной мине, подошли к дверям лабаза. Замок давно уже ничего не охранял. Дмитрий толкнул рукой дверь, и она с грохотом, подняв тучу пыли, упала внутрь на огромную кучу мусора.

- Надеюсь, уже сегодня мы выйдем отсюда богатыми, - сказала девчушка с зачарованными глазами - Ирина Николаевна. – А лучше очень богатыми! Скажи, Сема?..

- Неплохо бы! – подтвердил Семен Фаридович – черная маска.

- Сокровище – терпеливым и усердным! – не удержалась от лозунга Мирра – мышка-норушка.

- Ой, мамочки! – только и сказала Клара – похитительница кораллов у Карла.

- Все драгоценности всегда у нас под ногами, - произнес непонятно Жирбургер – предвестник.

- Главное – не разочароваться, - сказал Гурий Иванович – дервиш.

Не буду рассказывать, как мы разбирали эту кучу мусора, как копали и долбили землю, как ведрами, тачками и даже в пригоршнях вытаскивали золу, грязь, кирпичное крошево, битое стекло…, - всю дрянь, которая скрывает тайну, как показался сначала угол кирпичной кладки, как открылась таинственная стена, у которой, показалось, нет ни конца, ни края.

И, наконец, мы откопали железную дверь с кольцом вместо ручки…

- Теперь время Человека Ключа! – торжественно объявил Гурий Иванович.

Я достал ключ, вставил его в прорезь двери – ключ подошел точно.

- Ой, сейчас сердце выскочит! – прошептала Клара.

Я повернул ключ, выстрелом раздался щелчок замка, и дверь медленно, сама по себе, начала открываться. Минута, и мы оказались перед огромным зеркалом, и тут же принялись щуриться, закрываться ладонями от слепящих солнечных зайчиков.

- Где же золото? – спросил кто-то. – Где?.. Золото…Тут ничего нет…

- Вы посмотрите только! – закричала мышка-норушка. – На зеркало!..

Мы вгляделись в сияющую поверхность, стекло, как стекло…

- Может, его разбить надо, за ним богатство? – спросила Ирина Николаевна. Но ей никто не ответил. Мы смотрели в зеркало, и ужас заползал в наши души. Зеркало это не отражало нас. В нем были видны куски рубероида, зеленая бутылка с разбитым горлышком, смятая консервная банка, противоположная стена лабаза, а нас не было в глубине этого странного зеркала. Мы смотрели во все глаза, но напрасно.

И тогда Мирра прошептала:

- А, может быть, нас нет?.. И никогда не было?.. Может, вообще ничего нет?..

Мы испуганно взглянули друг на друга и стали выбираться из лабаза. И тут же, не прощаясь, разошлись по сторонам и смешались с обитателями города, где на каждой улице разные, но такие счастливые времена. И никто не обратил на нас никакого внимания…

ТАЙНА

Иванов слагал стихи:

Жизнь ампутирована,

светлой ночью нет ни слова правды,

Ночью зеленой нет ни слова любви,

Ночью мертвой нет ни единой слезы…

Убегает под землю река,

ну, пока!..

Вот легкая, без жестов, рука,

на века…

Колодец тем глубже, чем надежней секрет,

Проживет ли эпоха без бед на обед?..

Он сочинял и прозу, писал от первого лица. Ему казалось, что только так можно полно и мощно выразить то, что внутри него самого. Короткое местоимение “я” всегда представлялось только началом страстного, глубокого монолога, исповеди, сжигающей душу до дна. Писать же от третьего лица - предательство по отношению к самому себе. Грамматические формы второго лица - просто ложь, ничего иного. Нет объекта интереснее “я”, уж конечно не “мы”.

В рукописи Иванов никогда не ставил значка начала абзаца, ведь тогда заветное местоимение оказывалось бы позади этого безликого, пустого обозначения. Он начинал свои рассказы с описания погоды: “Я всегда забываю, что на улице сентябрь, дождь. Я так свыкся с тем, что нет солнца, пыли…” Или: “Я люблю осень, холодный ветер, непроницаемую дождливую ночь… Мне кажется, что ветер обнажает не только печальные мокрые деревья и полощет выцветшие флаги над государственными домами, - осенний ветер открывает что-то и в моей памяти. Точно, точно, именно в сентябре я встретил Марию…”

По Иванову выходило, что никогда на земле не было ни лета, ни весны - только осень, ожидание зимы. Может потому, что в комнате, где сочинял он, не было окон. Этот узкий, высокий и холодный параллелепипед со скрипучим деревянным полом, был некогда частью коридора огромной старинной квартиры, ныне коммунальной. До революции в квартире жил не то инженер, не то врач, вскоре расстрелянный, и его жена - тоже расстрелянная ради социальной справедливости, и их дочь, успевшая сбежать, кажется в Китай. Во время революции и гражданской войны здесь был какой-то штаб; штабисты любили палить из наганов в высокий потолок, может от тоски, - следы пуль были заметны и теперь. Потом в квартире поселился начальник в сером кителе, с желтым портфелем, но и за ним как-то приехали. В скучные мирные времена сюда заселились четыре семьи - десяток баб в засаленных халатах, чуть меньше мужиков в пижамных штанах и растянутых майках, и не поддающееся счету количество детей - на трехколесных велосипедах, на горшках, в люльках. Мужики пили, бабы рожали, дети орали - квартирный кризис становился все острее. И тогда пришла в чью-то распорядительную

голову счастливая мысль отгородить часть коридора - получится еще одна комната. И получилась. Площадь - десять с половиной метров, вполне подходящая для молодого пятидесятилетнего писателя, поэта осени, живописца дождей. Высота до потолка - три с половиной метра; тусклая лампочка, висящая на грязной скрученной косичке электропровода, едва освещает только потолок, а внизу всегда мрак, поэтому взгляд Иванова сам собою тянется кверху, к пыльному свету и эта постоянная задранность головы время от времени наводит на мысль о петле. Иванов пугается и успокаивает себя: “До этого потолка с веником-то - паутину обмахнуть - не доберешься, не то, что с веревкой!..” Но все равно страшно. Светлый потолок притягивает. Там смерть и жизнь, там, в засадах сидят пауки, там вращаются вокруг стеклянного светила поздние злые мухи, там кружатся головы у таинственных квартирных мотыльков.

Иванов, когда не сочинял рассказы и стихи, лежал на раскладушке, из темной глубины наблюдал за многообразными формами электрической жизни. Ему не дано было распоряжаться чередованием света и тьмы, потому, что его лампочка была только частью коридорного освещения и выключатель был расположен где-то у общей входной двери, и каждый коммунальный жилец, вернувшись с работы или из скобяного магазина, сняв печальные октябрьские галоши, мог по инерции щелкнуть выключателем, забыв, что, экономя коридорное электричество, он погружает в непроглядную ночь обиталище Иванова. Так жильцы и делали; Иванов смирился, утомившись бороться за свет, ведь, в конце концов, думал он, ни один человек не может продлить день или остановить ночь.

Он мог бы и вообще обойтись без электричества, но ему иногда нужно было заносить на бумагу то, что собиралось у него в голове из коротких раскладушечных снов, наблюдений за пауками, обрывков соседских разговоров, воспоминаний об осени.

Он не всегда знал, какой осенний месяц на дворе - май или февраль; двенадцать часов были равны полуночи и полудню. По частоте далеких утробных рычаний унитаза он догадывался: август, овощи, желудочные расстройства; по возбужденной коридорной беготне, перетаскиванию громыхающей кастрюльной утвари знал: апрель, дачное кочевье; январь был самым тихим, придавленным - даже дети орали глуше, даже пьяницы осторожнее звякали пустыми бутылками, собирая их в мешки для обмена на полные.

Иванов иногда покупал водку, но даже два-три глотка ее разрушали жизнь. Ему хотелось тогда покинуть раскладушку и присоединиться на кухне к мужикам, играющим в подкидного дурака без перерыва с пятого марта пятьдесят третьего года. Он так и поступал прежде, принося с собой бутылку, держа ее за горлышко как противопехотную гранату. Пижамная пехота поначалу принимала его в свои ряды, но на закуску он норовил притащить залитую дождями страничку экзистенциальной прозы или продрогший от ноябрьских сквозняков верлибр.

Шаг тяжелый неслышим. Не дышим,

не живем!..

Счет бездушный, послушный, ненужный

все ведем.

Вавилон не разрушен! Мир ветрами простужен,

мы идем и идем…

И вопросов не знаем, и ответов не ждем…

……

Его прогнали от карточного стола, сказали “забери свою водяру кислую!” Он не стал надоедать, а когда изредка случалась водка, он заворачивал бутылку на американский манер в кулек и шел в сквер имени Чапаева, садился на полосатую садовую скамейку у самого памятника герою сражений и анекдотов, и не торопясь, пил прямо из горлышка и обязательно встречал здесь замечательных собеседников, Чаще всего это были старики, глухие тетери, выгуливающие собак и правнуков. И те, и другие охотно слушали Иванова.

Но это было редко.

Еще реже случался праздник. В прошлом году областная газета под рубрикой “Для чтения на досуге” напечатала его стихотворение “Над мертвой землей”, причем в заметке, рассказывающей об авторах рубрики, он был назван “нашим оригинальным писателем”. Иванов хотел подарить один номер газеты Марии, постучал в дверь под номером три, но она не открыла, сказала: “Оставь меня в покое, прошу тебя!..” Он еще постучал и тогда вышел Гришак, оттеснил его от двери большим мягким животом: “катись ты к едрене фене со своими стишками!” Но газету взял, так что неизвестно прочитала ли Мария стихотворение с тайным ей посвящением. Но все равно хорошо публиковаться.

Мария переехала из комнаты Иванова в комнату номер три, к Гришаку, не так давно, осенью. Как раз на потолке расплылось огромное рыжее дождевое пятно, самое большое из всех, похожее на контуры Великобритании с островами. Тогда же сверху упал пласт штукатурки, разбил изумрудную, бутылочного стекла, цветочную вазу на комоде, мариину любимую. Она заплакала, сказала всхлипывая:

- Не могу больше терпеть, не могу…

Он не понял, бросился утешать:

- Ну, подумаешь, какая-то вазочка!..

- При чем тут вазочка?! - страшно закричала она.

- Тебе потолок жалко?

Она огляделась вокруг: облупленные стены, прикрытые двумя одинаковыми ковриками с изображенными на них мутными замками и оленями, тяжелый, кажется, гранитный, комод - приданое Марии, шаткая железная кровать на колесиках, больше похожая на могильную ограду, чем на ложе любви и сна, платяной шкаф - деревянная Пизанская башня, два табурета с отверстиями для их переноски с места на место и дубовое канцелярское кресло - самая надежная вещь в комнате. И все. Впрочем, на самой из ободранных стен висела еще картина в некрашенной багетной раме, подаренная некогда Иванову вечно пьяным художником Малыгиным. Картина была странная, на ней ничего не было, почти ничего. Малыгин на здоровенном холсте, на котором бы уместилась и Днепрогэс, изобразил голую желтую равнину - пустую, уходящую за далекий, едва угадывающийся

горизонт. На переднем плане картины ветер рябил желтую воду мелкой лужи, около нее на мокрой глине отпечатан след босой ноги.

Малыгин, даря живописное произведение, заинтриговал Иванова:

- На картине я изобразил и тебя, милый... Смотри внимательнее и обнаружишь здесь свои растопыренные уши...

Теперь, когда Мария ушла к Гришаку и перетащила в комнату номер три комод, кровать, шкаф, табуреты и коврики, у Иванова остались только картина, раскладушка и кресло. А также много времени для того чтобы попытаться понять, что же все-таки Мария не смогла больше терпеть. Он часто смотрел на пустое желтое полотно и пытался найти себя, но ничего не получалось.

Он как-то опять постучал в дверь номер три.

- Кто там еще? - спросила она, не открывая двери.

- Я!..

- О Боже!..

- Маша, ты, почему ушла от меня?

Он услышал, как она всхлипнула за дверью.

- Мне неловко напоминать тебе, - продолжил он, - но мы с тобой в некотором смысле муж и жена... Наш брак зарегистрирован...

Она всхлипнула громче.

- Я люблю тебя, даже больше - я привык к тебе...

Она распахнула дверь, стала на пороге, уперев руки в бока, трефовая дама.

- Я четырнадцать лет на курорте не была! - сказала негромко, но ясно. - Почему?..

- Почему? - спросил он.

- Я девять лет ношу один плащ! Он надоел мне как хронический насморк!..

- Ты захворала?..

- Не издевайся! - закричала она и отмахнулась от возникшего было Гришака. - Я сто лет не была в театре, я никогда не пробовала черной икры, не пила "Мартини", никогда мужик не помогал мне снимать чулки, я всю жизнь раздевалась сама...

- Неужели это так сложно? - успел вставить Иванов.

Она сверкнула глазами:

- У меня не осталось ни одной подруги! Почему? Вместо детей я считаю аборты...

К интересному разговору приоткрылись двери всех комнат.

- Я написал новый рассказ, посвятил его тебе, - сказал он.

Она захлопнула дверь, и для него так и осталось тайной, почему она ушла от него. И почему оставила кресло-трон, единственное из ее приданого, что не качалось, не скрипело, не кренилось?

“Я люблю смотреть в ночное окно, когда за стеклом не видно ничего - чернота, холод, - и не нужно отвлекаться от самого стекла: дождь каждую минуту меняет на нем свой рисунок; то несутся по нему реки, тонкие и скрученные, как узбекские косички, то медленной волной проплывает розовая лава, раскаленная моим взглядом... Хорошо, что так тихо, пусто... А вот целое чудо: по всей ледяной площади стекла, как по зеркалу, катится единственная капля. Дождь не кончится никогда, и капля растворится в целом море воды... Нужен ли человеку кто-то, чтобы раствориться в нем?..” - Иванов откладывал ручку, смотрел на освещенный потолок, на желтую картину: может этот след на мокрой глине оставила его нога? А сам он уже за горизонтом? Может его портрет должен составиться из каких-то отдельных линий, мазков, штрихов? Хитер, хоть и пьян всегда, художник Малыгин!.. Или портрет Иванова нужно собирать как мозаику из редких шаров перекати-поле, плоских унылых камней, желтой ряби на воде?..

Он не находил себя.

А неделю назад картина рухнула. Глиняной тяжести желтой равнины не выдержал ржавый гвоздь, разогнулся. И мир изменился. В одну секунду равнина стала отвесной скалой, лужа - водопадом, перекати-поле обернулись первыми глыбами начинающегося камнепада. Но и здесь Иванова не было.

Он попытался водрузить картину на место, но слабый от старости гвоздь тут же сломался. Иванов с трудом придвинул кресло к стене, взобрался на него, как на сторожевую вышку, попытался вытащить обломок гвоздя. Но ржавый металл упорно сопротивлялся. Иванов ободрал до крови пальцы. Перепачкал вельветовую писательскую куртку красной кирпичной трухой, но гвоздь не поддался.

Иванов постучал в дверь номер три.

Гришак вышел, как Челубей на битву.

- Вася, дай плоскогубцы на минутку, - попросил Иванов.

Вася молча вернулся в свою комнату и принес плоскогубцы.

- И еще молоток, - дополнил Иванов, - и гвоздь побольше...

Гришак не отказал ни в молотке, ни в гвозде, вопросительно уставился на Иванова: что еще?

- Может тебе и бетономешалку подать? - закричала откуда-то из глубины комнаты номер три Мария.

- Пока не нужна, - сказал Иванов и вернулся в свою комнату, пятую.

Против плоскогубцев обезглавленный гвоздь не устоял, был вытащен как гнилой зуб, вместе с деревянной пробкой, в которой собственно и держался в стене.

И в это время (судьбу караулит случай) в очередной раз кто-то щелкнул выключателем у входной двери и комната погрузилась в кромешный мрак. И тут же черноту насквозь проколола светящаяся спица.

Иванов оторопел: откуда здесь взялся солнечный луч? Он потянулся к нему рукой и на ладони возник оранжевый кружок, золотая копеечка.

Он взгромоздился на кресло и убедился, что свет исходит из крошечного отверстия в стене, возникшего в результате операции по удалению гвоздя. Иванов приник к нему, как к окуляру, но ничего не рассмотрел, пучок света был горяч и ярок, слепил глаза.

Он снова отправился к двери номер три.

- Вася, дай, пожалуйста, отвертку, - спросил он у Гришака, - самую большую!..

- Может, ты гарнитур мебельный купил? - высунулась из-за спины Гришака голова Марии, вся в бигуди, похожая на голову той самой медузы.

Гришак подал ему отвертку, и в гришаковских влажных глазах промелькнула тусклая искра: Вася уважал мастеровщину; люди с коловоротами, ломами, паяльниками, рулонами обоев были ему очень дороги, потому, что от них было много всякой пользы.

Иванов взял отвертку и вернулся в свою комнату.

Особых усилий не потребовалось. Наверное, торопливые каменщики в свое время переборщили в растворе с песком, а может вообще обошлись без цемента, потому, что едва он приступил к стене с отверткой, как посыпалась на пол строительная труха и первый кирпич оказался у него в руках. За ним второй, третий, четвертый...

В комнату номер пять вошли лето, солнце, зной: в проеме небрежно сложенной стены Иванов увидел небольшую комнатку - три метра на три, а может и меньше, но в комнатке этой было окно - совсем небольшое, под самым потолком, с занесенным пылью стеклом, но через стекло было видно голубое - без облаков, без туч, без дождя - небо.

Должно быть строители, выгораживая из обширного коммунального коридора келью номер пять, решили не возиться с подсобной комнаткой, просто заложили ее, как не было этих квадратных метров общей квартирной площади. А может здесь водилось вредное привидение и каменщики поставили на его пути кирпичную стену, ненадежную, однако.

Чуть не половину комнатки занимал узкий деревянный топчан, рядом с ним стоял исправный с виду велосипед. А на полу горбился пропыленный ворох журналов, газет, серых коленкоровых книг. Иванов напряг зрение и прочитал название одной из них: “Устав караульной службы”. “Полезная книга, прямая и правдивая, - подумал он. - На велосипеде я тоже давно не катался...”

В углу комнаты желтела раковина умывальника, а над ней почерневший водопроводный кран, из которого равномерно срывались тяжелые капли воды. Рядом с раковиной над полом возвышался, как плаха, унитаз. “Тут что-то вроде бытовки было”, - догадался Иванов.

И все-таки главным в комнате было окно. Когда успел кончиться дождь за ним? Откуда взялось солнце?

Иванов легко спрыгнул с кресла, вышел в коридор, осторожно притворил за собой дверь. Из комнаты номер четыре навстречу ему вышел суровый партийный алкоголик Иван Павлович, марксист, закаленный борец с троцкизмом и оппортунизмом.

- Завтра в десять! - сказал он, распространяя летучий аромат разливного азербайджанского вина. - Без опозданий!..

- Конечно! - Иванов не умел отказывать, но ему хотелось хотя бы намека на то, что произойдет завтра.

- Не забудь награды! - строго приказал Иван Павлович.

- У меня нет наград, только памятная медаль "30 лет освоения целины"...

- Очень хорошо! - похвалил старый партиец. - Медаль за бой, медаль за труд - из одного металла льют!..

- Из латуни, - подсказал Иванов.

Иван Павлович внимательно посмотрел на него, как бы издалека, вздохнул:

- Эх, молодежь!.. Ничего не знаете, но не ваша вина... Тебя Родина наградила, а ты говоришь "латунь". Эта латунь дороже золота!..

- Наверное, - сказал Иванов.

- Примешь немного? - спросил ветеран, таинственно улыбаясь.

- Водки? Вина?..

- Вино кончилось, оно всегда быстро кончается. Осталась пролетарская! За наш праздничек!

- А! - вспомнил Иванов. - Завтра и демонстрация будет?..

Про себя подумал: "Откуда солнце и зной в окне таинственной комнатки, на дворе-то оказывается ноябрь?"

- Будет, будет демонстрация! - сказал Иван Павлович и увлек писателя в свою, набитую добром, как сундук, комнату, усадил на пузатый диван под портрет Феликса Эдмундовича Дзержинского, налил по стаканчику пролетарской, вытащил из пожелтевшего от скуки холодильника полкруга засохшей колбасы, предложил:

- За партию, а? За Ленина, а?.. За Сталина, а? За товарища Кржижановского? А?..

- Иван Павлович, хотите купить мою комнату?..

- Купить?! - едва не подавился водкой партиец.

- Ну да...

- Шутишь?

- Я, может быть, уеду скоро...

- Вера! - зычно гаркнул марксист. - Вера! Нинка! Петька!..

Выкликнутые немедленно появились рядом с диваном. Иванов оторопел: где же были они секунду назад? Может, болтались на вешалках в необъятном шифоньере? Или лежали, как стопка белья, в похожем на пиратский галеон комоде? Или маялись невидимыми в

глубине трельяжей, трюмо - десятке зеркал и зеркалец, развешанных в обиталище Ивана Павловича?

- А Колька где? - спросил он.

- За горохом поехал, забыл что ли? - ответила Вера, жена и соратница. Если бы она не была заключена в синий габардиновый сарафан с помидорной кофточкой, а в мужской костюм из этой же благородной материи, то отличить ее от мужа было бы невозможно. И лицом, и фигурой - всей крупной статью, сверкающим взором - она была точной копией Ивана Павловича. И запах азербайджанского портвейна был тот же.

Детишки - Нинка, девушка с веслом, Петька, неисправимый комсомолец, борец вольного стиля, интеллигент - тоже были срублены по тому же образцу.

- А Вовка?

- Гуляет он, известно...

- Вот гаденыш, пропивает денежки!.. Ну а Василий где болтается?

"Господи, сколько же их здесь живет?" - с ужасом подумал Иванов.

- Васька, котяра, у Зойки...

- Вот это хорошо! - одобрил Иван Павлович. - Может, женится...

- Ага! - неопределенно сказала девушка с веслом.

- Молчи, бестолочь! - приказал отец. - В общем, дело такое: человек комнату уступить хочет... недорого...

- Какой человек? - спросил Петька.

- Вот человек, раскрой глаза! - Иван Павлович жестом пролетарского вождя указал на Иванова.

Удовлетворение и понимание легко прочитались в глазах дружной семьи. В самом деле, для чего одному малополезному члену общества занимать столько жилплощади? Хорошо, что он сам понял.

- Покидаешь нас? - спросила Вера.

- В некотором роде, - ответил Иванов.

- Да что там! - помог ему Иван Павлович. - Надоела ему наша коммунальная кислятина! Он человек молодой, умный, ему перемена мест полезна. А мы поможем... в меру сил и средств... Он, глядишь, чего-нибудь хорошее про нас в журнальчик тиснет. Тиснешь?..

- Само собой! - пообещал Иванов.

Иван Павлович махнул рукой на жену и детишек; те снова пропали в тяжелых пыльных коврах, высоких, как эшафоты, кроватях, пирамидах подушек, частоколе стульев и этажерок.

- Сколько ты хочешь? - спросил Иван Павлович. - Пятьсот американских зелененьких могу дать... И телевизор черно-белый, "Рекорд" называется...

- Не нужен мне телевизор.

- И литр столичной разопьем с моей закусью...

- Я подумаю до завтра, - сказал Иванов и стал выбираться из комнаты ветерана.

- Не передумаешь? - спросил вслед Иван Павлович.

- Вряд ли! - пообещал писатель осени.

Он вернулся в свою посветлевшую комнату, уселся в кресло, задумался. “Чем жив человек? - размышлял он. - Всем известно, что надеждами. Самый серый, самый маленький, самый больной - все вокруг чего-то ждут. Кто телевизионной мексиканской любви, кто выдачи жалованья на родном кожевенном заводе, кто мечтает хоть раз в жизни выиграть в лотерее - цветастый китайский термос или лопоухий вентилятор... Надежда - лекарство для ходячих больных. А если нет мочи встать?..”

Он снова вышел в коридор и остановился у двери номер три.

- Мария! - позвал он.

Щелкнул замок, и дверь приоткрылась, придерживаемая стальной собачьей цепью.

- Ну! - сказала почти невидимая Мария.

- Я уехать собираюсь, Маша, - сказал Иванов.

- На северный полюс что ли?..

- Ближе...

- К брату в Сыктывкар?.. Нужен ты ему, как заноза в заднице...

- Я и здесь никому не нужен...

- Не скули!.. - чуть пошире приоткрыла дверь она. - Не разжалобишь! Найди себе бабу хорошую и живи как человек. Под ноги больше смотри, а не на потолок. На потолке пауки живут, а люди внизу, понял?..

- Да, - ответил он. - Хочешь, я тебе стихи последние прочитаю?

- Вот этого не надо, без стихов тошно...

- Согласен, что без стихов тошно, - сказал он и добавил:

- Ну ладно. Пока!

- Пока! - ответила она и прикрыла дверь.

Ночью он начал новый рассказ, скорее даже эссе об осеннем одиночестве, неприкаянности человека, необъяснимости жизни и бесконечности холодного равнодушного времени. Он написал несколько страниц, перечитал: недлинно, ясно, по-русски - что еще нужно для приличной прозы? Рассказ начинался словами: “Я думал, что дождь - навсегда...”

Наутро он не стал даже бриться, зачем, если все равно бороду отращивать? - и отправился по магазинам. Товар выбирал скромный - по деньгам, - но питательный: вермишелевые супы в пакетах, бульонные кубики, консервированные кильки в томате, рожки и простую серую вермишель. Купил сухого молока, тушенки, консервированных субпродуктов - еле дотащил до дома.

Постучался к Ивану Павловичу:

- Гони пятьсот долларов!

- Хитер, бродяга! - засмеялся борец за светлое коммунистическое будущее. - Сначала бумаги надо оформить!

Иванов ужаснулся:

- Это же на годы растянется!

- Плохо ты знаешь нас, ветеранов!

И действительно, пришлось всего полдня мотаться по конторам и кабинетам, стучаться в двери и скрестись в окошечки. К вечеру были поставлены все печати, штампы и подписи на ворохе разноцветных бумажек. Иван Павлович протянул писателю, ставшему бездомным, четыре стодолларовых купюры.

- Где еще сотня? - спросил обескураженный Иванов.

- Ты думаешь, документы задарма оформляются? - ответил Иван Павлович.

- А телевизор как же? А литр водки?

- Это будет.

- Телевизор можете себе оставить. За это у меня одна просьба. Когда я уеду, повесьте на прежнее место картину... На той картине где-то есть я... Где, не знаю, художник не сказал.

- Картина не помешает, - сказал новый хозяин комнаты номер пять, - пусть стены ободранные пока прикрывает...

На следующий день Иванов купил еще тушенки, вермишели, бульонных кубиков. И целый куль развесного грузинского чая. Обзавелся электроплиткой, кастрюлей, чайником. В писчебумажном магазине купил три сотни школьных тетрадей - чуть не полпуда. Дождался вечера и отправился на прогулку. Как всегда моросил дождь, на улицах было безлюдно, темно, тревожно. Светофоры на пустынных перекрестках не давали забыть о покинутости и обреченности города. Редкие машины проносились на огромной скорости, спасаясь от одиночества.

“Вряд ли я вернусь когда-нибудь сюда”, - без грусти подумал Иванов. Он давно не любил этот город - с той же силой, что прежде любил. Он ненавидел натянутые струны троллейбусных проводов - они казались проволокой, вдоль которой бегают на цепи собаки и люди. Он ненавидел вагоновожатых, которые всю жизнь притворяются, что управляют трамваями, а трамваи послушны только судьбе, которая называется у них рельсами. Он содрогался при виде памятников - конные и пешие, неулыбчивые, затекшие в напряженных позах, они строго следили бронзовыми глазами за оставшимися

в живых, как стервятники. Он не мог смотреть на горящие, как камины, витрины магазинов; особенно пугали его манекены, нарядные глиняные вампиры - они давно уже высосали всю кровь из блудливых продавщиц и прикованных к кассовым аппаратам кассирш и уже подбирались к редким прохожим, тянули к улицам холодные, жесткие руки. Он не любил почтамты и телеграфы - там было больше вранья, чем в газетах, а в телефонных будках висели черные тяжелые трубки, норовившие вцепиться пластмассовыми зубами прямо в сердце. Однажды, когда у Иванова случился небольшой гонорар, он пришел к междугородному телефону и сам не зная, почему позвонил по давнишнему номеру в далекий город, прилепившийся сейсмоустойчивыми фундаментами к отрогам Тянь-Шаня и ему ответил молодой, как тридцать лет назад, голос Марии.

- Але, але! - закричал Иванов.

- Да! Да! - ответил голос.

- Это я! - сошел с ума Иванов.

- Слышу, я слышу!.. Почему так долго не звонил?..

- Не мог, - пробормотал он. - Жизнь заела...

Она засмеялась звонко, весело:

- Что заело?..

Давным-давно он увез Марию из этого города, они никогда больше туда не возвращались, но голос ее, оказывается, остался там. А может быть не только голос?

- Мария? - спросил он по телефону.

- Ну а кто же еще? - откликнулась она. - Ты какой-то странный...

- Какое сегодня число? - спросил он.

- Конечно же, тридцатое, вот чудак!

Он взглянул на календарик наручных часов, он показывал двадцать девятое февраля.

- А год какой?

Она помолчала немного, произнесла негромко:

- Это точно ты?.. Впрочем, кому еще придет в голову использовать междугородную связь для идиотских вопросов?.. Скоро приедешь?..

- Скоро, совсем скоро! - пообещал он и повесил трубку.

Месяца через два он снова набрал знакомый номер. Мария ответила:

- Слушаю! Это снова ты?..

Он долго молчал, слушал ее голос:

- Говори же, говори!.. Пожалуйста, не молчи... Что случилось у тебя, что?..

Он больше не звонил туда, размышлял: может, осталась в том городе у Марии племянница или младшая сестра? Или дальняя родственница? А может… Все может быть…

Иванов не любил театр. Там все было похоже на правду, но не было правдой: парики, грим, закулисный сумрак, притворство, быстрая и легкая с виду любовь, бутафорские пистолеты и пузырек валерьянки рядом с тюбиком вазелина…

Он давно не мог заставить себя пойти в кино. Он не хотел смириться с тем, что как ни крути, ни верти, а на экране все плоско.

Он боялся милиционеров. Ему мнилось, что вместе с пистолетами они получают путевки на отстрел двух-трех неудачников.

Он презирал дворников, своими жесткими метлами они сдирали с асфальта вчерашний день и загружали его в мусоровозы.

Он опасался ночи, темноты, не доверял дневному свету.

Иванов не любил в этом городе все.

На центральной площади города затеяно было строительство очередного фонтана, символизирующего безграничную власть народных вождей над стихией, когда любая струя бьет только в указанном направлении. Днем у фонтана возились зодчие в оранжевых касках, вели наступленье, а по вечерам над пустынным объектом болталась слабосильная лампочка и каждый мог подойти ближе, проникнуться величием замысла. Иванов подошел, извлек из кармана целлофановый пакет, осмотрелся, обнаружил металлический короб с цементом и насыпал в пакет тяжелого серого порошка. Туда же набросал пригоршнями песка. Сверху куча песка была влажна, холодна, но стоило копнуть немного и песок внутри оказался почти горячим, как в Сахаре.

Иванов вернулся в свою комнату, стал укладывать вещи. Набралось почти две сумки: рукописи, теплая и выходная рубахи, костюм-тройка с атласным жилетом, зимние ботинки, одеяло, домашние тапочки, немного белья, самопишущие ручки с пузырьками фиолетовых чернил, аспирин, валерьянка…

Он вытащил из стены еще несколько кирпичей и легко перелез в таинственную, забытую всеми комнатку. Перенес туда сумки с вещами, коробки с провизией, посуду, стопки тетрадей, пакет с цементом и песком, вынутые из стены кирпичи.

Он смахнул с топчана пыльное барахло, расстелил одеяло и лег, закрыл глаза. “ Вот так, - подумал он, - я еще жив… впрочем временно…” И вдруг ему вспомнилась давнишняя детская считалка. Много лет назад он стоял лицом к стене дровяного сарая и произносил ее слова пока его голоногие друзья - Колька, Вадька, Наташка и Серега прятались от него в тайные местечки огромного, захламленного городского двора. Никому не хотелось водить в этой игре, всем хотелось прятаться - чтоб тебя искали. А считалка была странная: “Раз, два, три, четыре… десять - царь велел меня повесить. Я висел, висел, висел, ветер дунул - я слетел. Раз, два, три, четыре, пять - я иду искать! Кто не спрятался - я не виноват!..”

Не все успевали укрыться от зорких глаз водящего - и он не был виноват перед ними, кричал, что было сил: “Вижу! Вижу! Выходи! Я тебя застукал!..”

Иванов усмехнулся и произнес негромко:

- Ну что, кто тут еще не спрятался?..

Никто ему не ответил.

Строгий марксист Иван Павлович два дня и две ночи с нетерпением ожидал, когда же придет прощаться и передавать ключи от комнаты номер пять мелкотравчатый писатель Иванов, но напрасно.

Утром третьего дня Иван Павлович решительно постучал в дверь напротив. В ответ ни звука. Он постучал еще решительней, и дверь отворилась. В комнате с ободранными, грязными стенами никого не было. Провисшая унылая раскладушка, засыпанное штукатуркой, заляпанное цементным раствором кресло и непонятная картина с желтой страшной пустыней - вот и все, что здесь было. Мерзость, беспорядок, неодушевленность.

- Вера! Нинка! Петька!.. - позвал Иван Павлович, и дружная семья выросла у него за спиной.

- Всю эту дрянь, - обвел он рукой комнату, - на свалку! Хотя картину можно оставить, вдруг дорогая? И сегодня же начнем штукатурить, белить, красить!.. Тут работы на год, сделаем не комнату - конфетку!..

Но Иван Павлович ошибся, ремонт был закончен в считанные дни. Сказались пролетарские навыки, дисциплина и целеустремленность. Комната засияла чистотой и уютом. Из нее исчезли мохнатые пауки, бледные электрические бабочки, раздраженные осенние мухи, - в комнату вместе с диваном, телевизором, торшером, журнальным столиком, трельяжем и вазой с восковыми цветами пришло лето.

Иван Павлович был доволен, еще бы! Но иногда он смотрел на пустыню, заключенную в багет, и странное тревожное чувство посещало его, как будто на самом деле где-то на картине находился писатель Иванов и прекрасно знал, что происходит в комнате номер пять.

Иван Павлович отгонял наваждение стаканом портвейна; портвейн и от других болезней помогал.

А Мария об Иванове не вспомнила ни разу.

Шамбала Иванова

Жизнь быстро проходит, думал Толик. Добываешь деньги, бьешься за существование, время от времени обжимаешь девочку, пьешь пиво, опять добываешь деньги, а она знай себе проходит. Просто обрушивается, обваливается, утекает. Иногда кажется, что сорвался с верхней перекладины приставной лестницы, летишь вниз, лихорадочно пытаясь ухватиться за другие перекладины, а они оказываются трухлявыми, разлетаются в сухие корябистые щепки при одном к ним прикосновении, и ты несешься к земле, круша

все перекладины, задохнувшись от ужаса – этакий ксилофонный молоточек, выбивающий гаммы. В самом деле, вчера только было семнадцать, выпускной вечер, пароход до утра, таинственный свет в темной воде Урала, а сегодня уже двадцать девять – из училища, где он пытался превратиться в ученого сантехника, давно выгнали за какую-то мелочь, жена вышла как-то вечером в хлебный кисок за углом и не вернулась, деньги, вырученные от продажи квартиры деда, несгибаемого партийца Ивана Павловича, кончились пару лет назад, а такое ощущение, что и не начинались.

Он примерился, было, продать оставшуюся комнату – темную, без единого окошка, с тусклой лампочкой под потолком, но в родной стране разразился очередной кризис, интерес к покупке жилья у населения понизился; прибегал какой-то тип в кожаном пальто, в кожаной фуражке – смотрел, нельзя ли комнату перестроить в общественный сортир, уж очень теперь прибылен сортирный бизнес. В принципе ему помещение понравилось – и этаж невысокий, и потолки выше трех метров, и площадь подходящая – народ бы косяком пошел справлять нужду, но мужик предложил смехотворные деньги, можно сказать, оскорбительные. В свое время дед Иван Павлович, занозистый и ухватливый старик, ничего, что редко трезвый, выкупил эту комнату у одного дурика, кажется, его фамилия была Иванов, за четыреста баксов. По тем временам деньги были немалые, ящиков двадцать бормотухи можно было взять, но даже тогда не каждый день комнаты обменивались на портвешок. Хотя в те поры и «Агдам», и «Талас», и славные номерные портвейны – двенадцатый, пятьдесят второй, знаменитые «три семерки» были чисты, крепки, ароматны, как молодость, но все же не многие решались, хотя, конечно, были герои, отдать квартиру за двадцать ящиков. Даже за двадцать пять.

Так этот в кожаном пальто предложил три тыщи. По нынешним временам – мизер, но соблазн все-таки был большой. Он даже позвонил Алику, тот подпольно жил в общаге мясокомбината, поинтересовался – нельзя ли и ему перейти там на подпольное положение, а три тысячи прогулять – надолго хватит, года на полтора, ну не меньше, чем недели на две, если экономить; а там война план покажет. Но Алик закричал, что за ним самим давно уже охотится комендант – не только из-за того, что он не прописан в общаге, а потому, что, якобы, украл две сковородки у этой выдры Лельки из шестьдесят восьмой комнаты, у которой и ночевал прежде, прячась в женском туалете от облав. Теперь Алик обитает в прачечной в полуподвальном этаже, там сныкаться негде, и думает, что со дня на день его вышибут на улицу, а на дворе октябрь. Придется зимой морозить жопу где-нибудь в теплотрассе, как бомж поганый. И еще хорошо, если на улице окажешься, а то заметут в миграционку, паспортов-то, само собой, на всех не хватает, и вывезут в какое-нибудь дружеское государство, где и самим жрать нечего. С Вадиком Мохнатым так и вышло: вычислили его ментозавры на подловке, где он жил в тепле у отопительной трубы – горя не знал. Скрутили его, спрашивают документы, а откуда они у него, от сырости? Кто таков, откуда и зачем? – спросили у него, а он возьми и брякни:

- Из Гондураса я…

Или какую-то похожую страну назвал, не в этом дело. А в том, что погрузили его сначала в машину, а потом в самолет и отправили куда-то очень далеко. Мохнатый, конечно, вернется, плохо его ловилы знают. Мохнатого, как лосося, на место рождения тянет, но времени ему понадобится немало, все-таки Америка она где? Не каждый и знает где. Если Гондурас, конечно, в Америке, а не еще дальше – может, в Антарктиде? Говорят, там потеплело и земля антарктическая дорожает, может, поэтому и мотанул туда любознательный Мохнатый?

- Так что, до лета потерпи, - сказал Алик Толику, - а там продадим твой склеп, еще и цены вырастут, сами палатку китайскую купим, закатимся куда-нибудь на Урал, бухать будем, как белые люди.

- А сейчас мы что ли, черные?..

- А то какие же? Кости, может, и белые, но их пока не видно… А все остальное у нас черное… Даже под ногтями…

- Да ладно тебе чернить все… Если бабла нет, то это не значит, что у меня под ногтями черно…

Алик захохотал в трубку и спросил:

- А что – чисто что ли? Только не ври!..

Толик посмотрел на черный окоем ногтей и не соврал:

- Да уж почище, чем у тебя…

Известно было, что Алик три года не умывался, может, два. А уж ногти…

В общем, комнату он свою пока не продал, но надеялся, что кожаный еще передумает – даст хорошую цену, не поскупится ради прибыльного сортира.

Но это были перспективы, а пить и даже есть хотелось сейчас. Почти всегда.

В комнате его на стене висела странная картина, на которой простиралась вдаль желтая мокрая равнина, а на самом переднем плане отпечаток босой ноги, может мужской, а, может, женской, а, может, чем черт не шутит, обезьяньей. Но откуда в наших краях обезьяны? Хотя как посмотреть… Вон в третьем подъезде живет образина, чистый орангутанг, хотя и зовут по человечески – Евлампий…

Внизу картины подпись – Малыгин. Это художника фамилия, а того дурика – Иванов, точно. Он и картину эту впридачу к комнате оставил, а сам пропал куда-то. Дед Иван Павлович рассказывал, что Иванов спрятан где-то на этой картине, не сам, конечно, а его изображение - и так секретно замаскирован, что с первого взгляда не обнаружишь его. Во всяком случае, сам дурик так говорил, дескать, гадом буду, если вру – ищите меня здесь.

Толик много времени провел, разглядывая равнину, как будто ему было мало бесконечной желтой степи, взявшей город в осаду, но ничего не обнаружил. Но он верил, что Иванов каким-то хитроумным способом спрятан именно здесь; ему часто казалось, что с картины за ним следят внимательные глаза, но только где они?

Дед Иван Павлович уверял, что картина может стоить больших денег, потому, что она – самая настоящая абстракция, а абстракция сейчас в цене. Дело все в том, что люди рисовать разучились давно, но изо всех сил скрывают это – и те, кто мажет эти полотна, и особенно те, кто покупает, ведь они денежки свои вкладывают, думают, как в советскую сберкассу, что столько лет прожила без кризисов. А чтобы все понятно и узнаваемо было – домик под красной, как закат, черепицей, синее-синее озеро, в которое смотрятся лебеди, пестрая акварельная красавица с веером – так уже не умеют, искусство высокое умерло. Поэтому, может, и вправду за картину денежки-то немалые положат? Толик, само собой, не очень верил поддатому пращуру, но сейчас, когда особенно приперло, задумался серьезно. Еще раз посмотрел на желтую пустыню – тоска, похмелье, скоро

зима… Продать, конечно, продать вместе с нерасшифрованным Ивановым, дуриком жизни!

Толик примерился, картина большая, веса в ней немало, килограммов десять потянет, но ради высокой цели можно поднатужиться. Он забрался на стул, приподнял картину – тяжеленная, правда! – попытался снять ее со стены. Но не тут-то было. Тараканы, отдыхавшие под живописной сенью, недовольно разбежались, а картина не поддалась, висела на здоровенном ржавом гвозде, как ни в чем не бывало. Но Толик умел добиваться своего, особенно когда дело касалось выпить-и-закусить. Он рванул сильнее – и гвоздь вылетел из стены, долгожданная картина оказалась в руках.

А, вдруг, ей цена мильен? Или хотя бы сто тыщ? На крайний случай – тыща?

Он завернул драгоценность в газеты, укутал в холщовый мешок – все-таки в осеннем, дождливом городе выпало проживать – и отправился на улицу имени Зузанова, где прикрывшись от дождей полосатыми пляжными зонтами, свили себе гнезда художники-побирушки, пристающие к прохожим: «Барышня, за пятнадцать минут высокохудожественный портрет!.. Мужчина, купите пейзаж!.. Женщина, проходите, на загораживайте клиента!»

Толик подошел к первому, дремлющему под капюшоном выцветшего брезентового плаща. Все на нем было старое, седое, обтрепанное, даже огромная неопрятная бородища. Тот, не открывая глаз, сказал:

- Мужчина, купите пейзаж!..

Потом открыл глаза, произнес:

- Проваливай!..

- Картину продаю, - сказал Толик.

- Какую? – равнодушно спросил художник.

- Хорошую! – честно сказал Толик. – Абстракция…Дорогая, но за пару сотен отдам…

- Покажи, - едва-едва проявил интерес художник. К нему подтянулись и остальные обитатели полосатых зонтов.

Толик развернул мешковину, содрал газеты:

- Налетай!..

Страшный хохот потряс улицу имени Зузанова. Громче всех ржал бородатый.

- Ой, не могу! – ревел он. – Щас помру, абстракция!..

Толик сумел все-таки вставить слово:

- Ладно, сто пятьдесят!.. Сто…

Бородатый пересилил хохот:

- Чудо в перьях! Видишь здесь подпись – «Мылыгин»? Так вот, будем знакомы, Малыгин – это я…Мне же впариваешь мою картину…И ваще, нашел кому продавать картины – художникам, они сами не знают, куда их девать…

- Пятьдесят! – не растерялся Толик.

- Уговорил, - вдруг согласился Малыгин. – На бутылку я тебе дам…

Художник повернул к себе картину, погрустнел:

- Сколько лет прошло, однако? Годищев пролетело немерено… Сто лет назад эту картину я подарил другу – Иванову…Он вскорости после этого и пропал. У тебя она откуда?

- Мой дед ее купил у вашего Иванова вместе с комнатой…

- Не слышно о нем ничего? Может, весточку какую прислал?..

- Не знаю, как будто не присылал… Да и кому? Народ в квартире поменялся давно, теперь это не коммуналка, а типа общежитие… Жена его бывшая – Мария со своим новым мужиком – Гришаком – подались в хохляндию, дом там срубили, живут толсто и тепло.

- Странно…Пропадают люди. То ли их инопланетяне крадут, то ли сами от жизни убегают. А куда? – вот вопрос. Куда можно убежать из этого города в песках, от этого дождя, от этих картин? Можешь сказать?..

- Не знаю, - сказал Толик. – Зачем убегать?..

- Ты про царство Беловодское слышал? – спросил Малыгин.

- Алик, кажется, про чего-то такое говорил, - соврал на всякий случай Толик. – Да и сам я вроде читал – в «Комсомольской правде»… Оттуда тоже бегут?..

- Туда бегут, читатель… Говорят, там самое счастливое место на всей Земле…Все надорвавшиеся души туда стремятся…

- Аааа… Понятно… А чего, там демократия тоже? Или царизм?..

- Мало кто из Беловодии возвращается, еще меньше рассказывают. Но, должно быть, царизм, если царством зовется… Время от времени объявляются люди, как будто оттуда, но путано рассказывают, может, подписку при выезде давали?..

- Ты про Шамбалу говоришь? – встрял один из художников. – Она в Гималаях находится, всем известно. Вот мой дедушка в двадцать первом году был там в составе дружеской делегации, ему не понравилось, воздух там сильно разряженный… И питание неважное, мучного мало…

- Он твою бабушку с собой брал? – спросил Малыгин встрявшего.

- Зачем? – удивился тот. - Там же чистый экстрим в горах, камнепады, медведи и наскальные козлы…Бабушка бы не прошла…

- Вот поэтому ему и не понравилось, что бабушка не прошла. А прошла бы, то пекла бы ему пироги с мясом наскальных козлов… И ему бы понравилось…

- Место это называется Белый Остров и находится оно в пустыне Гоби, - встрял другой. – Уверяют, что это город Богов… Но его увидеть нельзя, потому, что он существует только в эфирной материи, и когда род людской на Земле разовьет эфирное зрение, город счастья будет найден. К слову сказать, эфирное зрение уже развито кое у кого из людей… Вот взять тех, кто смотрит на мои картины…

- Послушай, Анвар, к тебе клиентка – хочет в анфас портрет, - позвали художника к станку, и Толику с Малыгиным не удалось дослушать, что же случается с теми, кто смотрит на его картины.

- Эх, нет заказов, - сокрушился Малыгин, и предложил:

- Может, вместе скрасим этот осенний денек?

- У меня денег нет, - быстро сказал Толик.

- Да это я давно понял… Пойдем, посидим где-нибудь.

- В кабак? Чего деньги тратить зря! Знаю я эти обжираловки-надираловки – не накормят досыта, не напоят допьяна, а обдерут, как липку!.. Может, ко мне закатимся, у меня комната, в ней как раз и жил раньше ваш Иванов?..

- Твое бескорыстное предложение я принимаю, - сказал Малыгин, - потому, что некогда мы с Ивановым славно выпивали под его тусклой лампочкой, и это было чудесно, он прочитал мне тогда только что завершенное свое стихотворение. Помнишь, «Осенняя жизнь, любовь в октябре…»? Не помнишь?.. Ну да, что вы, молодые, помните?.. Хорошо, хорошо, пойдем!.. Хотя, признаться, я не очень люблю закатываться пить в берлоги, потому, что они засасывают надолго. Путь в берлогу – это кратчайший путь к запою. Кстати, феномен, не объясненный современной наукой. Однажды в одной уютной кочегарке мне удалось переждать зиму; я в конце листопада, зашел туда с бутылочкой к одному хорошему другу, он, кстати, гроссмейстер по шахматам, а удалось выбраться только в славную пору цветения акаций. Так что, в прожитых мною годах одной зимы не хватает. Но какие мы вели там споры! Какие идеи рождались! Что может быть плодотворнее многомесячных дискуссий, перемежаемых чарой доброго вина и здоровым, беззаботным сном?..

Они пришли в обиталище Толика, не забыв перед этим заглянуть в магазин, где на вынос и на розлив торговали утешением. Было бы желание утешаться.

Малыгин оглядел комнату, сказал:

- Ничего не изменилось…

- Мы ремонт делали, побелку, - обиделся Толик.

- Да я не это имею в виду, атмосфера как будто та же…

- А что с ней, атмосферой, сделается? Она всегда одинаковая: денег не хватает, зато говна выше крыши…

- Тогда наливай! – скомандовал художник новому другу.

Выпили, потом еще. Поговорили о жизни, как-то все в ней не клеится. Выпили еще. Во весь рост поднялись творческие проблемы. Васька Подорожный, собака, перехватил

клиента, а заказ был – мечта – художественно облагородить один банчик, короче, написать десяток портретов ихних воротил: кого с книжкой в руке, кого на коне, кого с тростью, чтобы личину бандитскую прикрыть; заплатить обещали сказочно.

Выпили еще. Вспомнили жен.

- Ты женат? – спросил Малыгин.

- Ага, - ответил Толик. – Кажется…

- Она не заявится? – встревожился художник. - Кайф не обломает?

- Не должна вообще. Два года не заявлялась, а чего ей сегодня нарисоваться?

- Резонно, - похвалил его за сообразительность Малыгин. – А я не женат больше… Раньше раза три был, но не вынес… Мы художники – свободу превыше всего ценим…

Выпили, чуток закусили. Задумались надолго. Стало как будто смеркаться. Малыгин прервал молчание:

- Хотел бы ты попасть в Беловодье? В Шамбалу?..

Видимо, не давал покоя ему этот вопрос, бередил душу.

- Чего я там забыл? – чистосердечно признался Толик. – Были бы деньги, так я дальше гастронома вообще не ходил бы…

- Мракобес ты, - беззлобно сказал художник. – А я хотел бы…Там происходит накопление и объединение энергий искупления. Там все греховодники помилованы будут. Вот что написано про нее…

Он достал из кармана старую, истрепанную вырезку из газеты, прочитал: «Это таинственная страна, жители которой знают законы управления природой и человечеством…»

- Зачем управлять-то тебе человечеством и природой?.. Живи, рисуй… И зачем тебе помилование, ты что ль убил кого-то?

- Убил… Еще как больно угробил!..

- Жену? Тещу? Человека какого?

- Человека. Себя…

- Шутишь, шутник, - сказал Толик и потянулся за стаканом. – Давай лучше за друга твоего выпьем, Иванова. Кстати, на этой стене висела твоя картина, вон гвоздь из стены вылетел.

- Оттуда как будто свет идет, - заметил Малыгин, - смотри, лучик закатный пробивается сквозь стену. Там что, квартира соседская?..

- Нет там никакой квартиры! Да и никакой лучик не пробивается. Тебе показалось. Лучше вздрогнем.

- Это мы успеем. Все-таки пробивается!..

Малыгин подошел к стене, поднял ладонь к тому месту, откуда вылетел гвоздь. И на нее лег крошечный световой зайчик. Художник подтащил стул, поднялся на него и прильнул глазом к отверстию в стене.

- Ничего не разглядишь, но какое-то помещение там определенно есть. Давай дырочку расковыряем побольше, может, там клад какой… Здание-то еще какого века, все может статься!..

- Давай, - нехотя согласился Толик, он не верил в клады, Шамбалу и даже в снижение цен на водку, о которой ему не уставал твердить Алик, дескать, государство богатеет и должно пойти навстречу народу, снизить цены на товары массового спроса.

Малыгин принялся столовым ножом расковыривать дырку в стене, посыпались штукатурка, кирпичное крошево, цементная пыль. Он снова заглянул в расширившееся отверстие и тут же отпрянул:

- Боже!..

- Что там? – спросил Толик. – Деньги?..

- Посмотри сам!

Толик с опаской заглянул в отверстие. И едва удержался, чтобы не закричать. В крошечной комнате на узеньком топчане лежал мужчина в костюме-тройке, атласном жилете. Рядом, склонившись над ним, сидела женщина, ее рыжие осенние волосы были рассыпаны на груди мужчины. Толик хотел окликнуть их, но присмотрелся, и слова застряли в глотке: и мужчина, и женщина были мертвы.

- Мертвецы? – шепотом спросил он художника.

- На живых не похожи… Но и на мертвых не очень…Как будто спят, но не дышат…

- Э-э-э-й-й! – едва слышно все-таки подал голос Толик.

Никто не откликнулся, кроме художника.

- Вот это клад! – сказал на глазах трезвеющий Малыгин. – Что делать-то будем?..

- По ментам теперь затаскают, по судам и комиссиям, - сориентировался Толик. – Замуровать опять все надо, и дело с концом…

- Замуровать-то просто… А как потом ты жить здесь будешь?..

- Нет, нет, страшно, боже! – Толик вспомнил, что крещен, перекрестился.

- Надо все равно посмотреть, что там к чему, - сказал художник. – Кто знает, что там найти можно…

Толик боялся мертвецов, но еще больше боялся, что чего-нибудь найдут без него.

- Давай, - сказал он не без внутреннего содрогания, - залезем…

Кроме кухонного ножа, в хозяйстве Толика нашлось не то долото, не то стамеска, они оба с художником не знали, чем эти благородные инструменты могут отличаться друг от друга. Но как бы не называлась эта полоска стали, она помогла друзьям справиться с кирпичной

кладкой; не прошло и часа, как они стояли у проема в стене, размер которого вполне позволял им обоим попасть в таинственную комнату. Но они не торопились, потрясенные открывшейся картиной.

Мужчина и женщина в комнатушке как будто играли в «замри», да так искусно, что ни дыхания, ни малейшего движения не было заметно. Но вот сейчас они поднимут головы, улыбнутся, скажут: «Вот как мы вас разыграли!..» Но они были недвижимы… Малыгину даже показалось, что они попали в музей восковых фигур – где еще такое можно увидеть? Через минуту войдет снулая служительница и потребует предъявить билеты. Но служительница не вошла.

Так нереально было нечаянное открытие, что друзья все не решались перебраться в комнату.

- Как же они сюда попали? – прошептал Малыгин. – Загадка…

- Может, они еще с позапрошлого века тут сидят? – предположил Толик – От революции спрятались?..

- Думай, когда говоришь, посмотри, как они выглядят… одеты современно…А тут ведь даже дверей нет… Сюда ни зайти нельзя, ни выйти…Они замурованы, понимаешь?!.. Жуть!

- А, вдруг, здесь вход в другой мир? – выказал Толик знакомство с фантастикой.- Вон посмотри, в оконце солнечный свет пробивается, а мы сюда шли – дождь шпандырил?.. Да и вечер уже…

- Дожди приходят и уходят, - ответил художник. – Давай все-таки заберемся в эту комнату – и быстро перелез через проем в стене. Толик с опаской последовал за ним.

Малыгин осторожно подошел к мертвецу, присмотрелся, ахнул:

- Так это Иванов!.. Точно он! Бедняга!.. Что же здесь произошло?.. Они просто живые… Может летаргия?.. Да нет, не дышат…

Друзья огляделись. Несколько книг, бумага, ручки, карандаши, велосипед, пакеты с супами быстрого приготовления, консервные банки, ложка и нож, – и больше ничего. И разбросанные по комнате школьные тетрадки; они валялись на полу, лежали на топчане, даже в раковине – распухшие от влаги, даже на подоконнике крошечного окошка.

- Не могли же они жить здесь, - сказал Толик. – В пустоте такой…

- Ты сам-то почти в такой обитаешь…человек привыкает…

- Так у меня дверь есть, могу встать и уйти…

- Легко уйти, - раздумчиво произнес художник. – А вот ты попробуй не уходить…

- Чего ради? – ответил Толик. – Человек – существо передвижное, и даже придумал для убыстрения своего движения паровозы, самолеты и пароходы, вон велосипед - тоже для убыстрения, - и зачем человеку сидеть в четырех стенах?.. Если, конечно, тебя не заперли…

- Наверное, в детстве тебя в чулане не раз закрывали, признайся!.. Наверное, пракудил немало?.. Закрывали?..

- Нет! Никогда, - соврал Толик и покраснел, вспомнил, как суровый дедушка Иван Павлович застал его однажды за одним не очень приличным занятием, и за ухо потащил в кладовку, приговаривая:

- Не рукоблудствуй, мал еще! Не балуй! Вот посиди теперь на губе…

Толику было стыдно и обидно. Обидно потому, что он знал, что и дедушка нет-нет, да достает тайком, спрятанную под матрацем кровати, на которой он спал, секретную книгу «Акушерство», и тогда было слышно через тонкую стенку квартиры, как кряхтит и вздыхает старый партиец.

- Говоришь, продал он свою комнату вам? – прервал его воспоминания о золотом детстве Малыгин. – А сам уехал?..

- Продал…

- Да никуда он не уезжал, - сказал Малыгин, - просто переселился сюда…

- Сам себя замуровал?.. Вместе с бабой?..

- Боже праведный, как должно было все здесь осточертеть! - ошарашено сказал художник. - Чтобы добровольно заточить себя!.. Как нужно, чтобы все опротивело, набило оскомину, приелось до тошноты, до блевотины!.. Я многое могу понять, но представить такую степень тоски, чтобы живым залезть в склеп, выше моих сил!..

- Может, они испугались чего-нибудь? – предположил Толик. – Некоторые от долгов прячутся…

- Может, и испугались, - согласился Малыгин. – Мне самому иногда страшно просыпаться… Жутко на улицу выходить… У меня друг был, тоже поэт, так тот мечтал за границу уехать, говорил, что там свобода творчества, там охраняются права человека… Просто бредил заграницей, язык учил, документы подавал – ему отказывали, а он снова подавал. Наконец, его отпустили, он вырвался и помчался, как с горы на лыжах. Так года не прошло, как стал канючить, дескать, попал он в общество бездуховное, потребительское, равнодушное к маленькому человеку. Страшно там ему. Теперь просится назад, тоскливые стихи пишет. А приедет, и здесь ему неуютно будет. Впору замуроваться где-нибудь в подвале…

- Человеку не угодишь, - отозвался Толик.

- Человек сам себе угодить не может, - заметил художник.

Толик взял одну из тетрадок, перелистал. Мелким, неразборчивым, почерком были исписаны ее страницы. Толик поднял другую тетрадь – те же неровные строчки. Третья, четвертая тетрадь, и еще с десяток, были покрыты этими записями.

- Роман они, что ли, писали? - сказал Толик и попытался прочитать написанное в одной из тетрадей: «…сплошная суббота, когда не надо, проснувшись до света, тревожно ожидать звонка будильника и потом тащиться на остановку автобуса, где уже поджидают тебя две сотни локтей, изготовившихся для атаки. Отгул навсегда, отпуск без границ, жизнь без

обязательств…и в общем, без обстоятельств… Триумф воли… Или безволия? Впрочем, сейчас для меня это одно и то же…»

- Это не роман, - сказал художник. – Это высший из жанров – голая правда… Дай-ка мне тетрадку…

И он продолжил читать: «…понял не сразу, что бумага и перо - не для пересказа придуманных или приукрашенных историй; не для этого изобретены эти инструменты познания. Может, для того, чтобы объяснить себя себе?.. Я уверен был, что здесь стихи будут рождаться во мне какие-то особенно неистовые, сокровенные, но в первые дни после переселения сюда сумел написать только несколько вялых строк… И все. Я не сразу понял, в чем тут дело. Думал, что нужно еще привыкнуть к тишине, пустоте, свободе, словом, ко всему тому, что дает полное одиночество. Надеялся, что вот однажды рухнет плотина прошлой жизни, растворятся воспоминания и надежды, и мне только придется успевать записывать строчки на бумаге, но этого не произошло. И не потому, что утрачена чисто декоративная сторона версификации – никто не услышит и не прочитает эти строки, не потому… Я долго размышлял над этим, благо времени было достаточно, или его не было совсем, ведь я не считал больше его, не вел ему учет – и пришел к выводу, не сразу, а, точнее сказать, просто почувствовал однажды это: теперь я сам стихотворение, не больше и не меньше. Все во мне – и ритм, и рифма, и настроение…Так отчетливо все слышно… Сегодня ночью опять снилась Мария…»

- Постой, постой, - прервал чтение Малыгин,- он пишет только о себе – о полной тишине, пустоте, свободе, нет даже намека на то, что их здесь двое…

- Точно! – подтвердил Толик. – Я и смотрю, что топчапнчик здесь такой, что не уляжешься вдвоем. Может, они по очереди спали?..

- Да, тайна…Читаем дальше.

«…почему-то вспоминается давно прошедшее, а не то, что было не так давно. Странно и то, что люди как бы раздвоились в сознании, я никак не могу соединить тех давнишних с теперешними – они не просто изменились – постарели, поседели, похудели или стали тучнее. Это другие люди. Другие, вот в чем дело. Те, прежние, живут где-то своей тогдашней, не изменившейся жизнью, и, наверное, среди них есть и я, тот самый, которого так любила одна девочка из города Чимкента, и который так и не понял этого; там люди никогда не изменяют, не изменяются, и им никто не изменяет. В этих местах всегда тепло и солнечно, на речках сумасшедший клев, дни бесконечны, ночи обжигающе коротки… В новой жизни все иначе: солнце только иногда показывается в просветах октябрьских туч, в мутных реках давно нет рыбы, дни проносятся, как стрижи над водой, ночи никогда не кончаются… Мне кажется, что прежние, они тоже стареют, их одолевают хвори, с ними приключаются неприятности, а изредка выпадают и счастливые деньки, но они, как тридцать лет назад, как двадцать, как всегда, готовы выбежать из дома к вам навстречу, отправиться куда угодно, не задавая дурацких вопросов и не поглядывая беспрестанно на часы, они все так же не обращают внимание на ваши истрепанные брюки, не спрашивают, есть ли у вас деньги, они ржут до упада над анекдотами, которые вы им рассказываете в десятый раз, они через пламя костра смотрят на вас глазами, в которых пляшут язычки огня, и им три ваших минорных аккорда на расстроенной гитаре заменяют оркестр, и они подпевают: «Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза…» Но им, конечно, не надоело любить эти глаза; они всегда и безнадежно влюблены, и рифмованной грустью полны их сердца…»

- Пока не очень понятно, - прервался на минуту Малыгин, хлебнул винца, продолжил: «Как-то очень давно проходил я мимо междугородного телефона, и меня, вдруг, как будто ударило: «Позвони, позвони, там ждут…» А куда «позвони» и где «ждут»? Но рука сама собой набрала телефон Марии, тот самый, давнишний, когда мы вместе жили в Алма-Ате на улице имени Фурманова, и по вечерам, и она звонила матери и говорила, что нужно выгулять собаку, брала свою неугомонную колли, как же звали ее? – и выгуливала по ночному городу и меня тоже, а как раз начиналась осень – сентябрило – и брызги фонтанов казались дождем, а желтой листвы почти еще не было… С тех пор прошло тридцать лет, и я позвонил. Почему-то я был уверен, что мне ответят, хотя и дом тот давно снесен, и номера телефонов стали семизначными… И она ответила, спросила, почему я так долго не звонил.

- Не мог раньше, - ответил я, – дела по рукам и ногам повязали…

Она рассмеялась молодо, звонко, как раньше.

Я переспросил:

- Мария, это ты?..

- Конечно, кто же еще? - откликнулась она. - Ты какой-то странный…

Да, я был странный, потому, что не поверил этому юному голосу Марии. Не могло быть, чтобы она разговаривала со мной сквозь бетонную толщину тридцати лет, не может быть, чтобы ее смех жил отдельно от нее, чтобы она прежняя существовала отдельно от нынешней, живущей с работящим, надежным Гришаком. Не могло быть, но было.

Целых два месяца прошло, пока я опять решился набрать номер. И Мария снова ответила мне.

- Что случилось у тебя? – спросила она. – Что?..

Я положил трубку и больше никогда не звонил, потому, что поверил. Но как ей объяснить, что же случилось со мной?.. Что случилось и случается со всеми нами?..

Но сегодня я мог бы позвонить… Очень отчетливо представляю Марию. Вот ее тонкая рука, на безымянном пальце которой тускло посверкивает скромное колечко со знаками зодиака, мы его вместе покупали – это было тоже в начале осени. Когда она примерила колечко, то сказала «какое холодное!», но потом оно прижилось, стало теплым, как ее ладонь. Этой рукой она подпирает щеку, когда читает книгу, и виден ее знак зодиака – скорпион… Другой рукой она часто поправляет осенние свои волосы…

Каждую ночь снится Мария, наверное, это от свалившейся тишины…»

- Погоди, погоди! - художник отложил тетрадку и присмотрелся к таинственной женщине, застывшей в скорбной позе над трупом. – Точно, посмотри!.. Кольцо на пальце…

Толик осторожно подошел к женщине и тоже рассмотрел на ее руке колечко со знаками зодиака:

- Это она…она… О которой он пишет. Что же это, а?..

- Не знаю… Читаем дальше.

«Однажды меня, и еще тысячу студентов, отправили на помощь тем, кто выращивает хлеб, и мы оказались в далеком степном селе… А перед этим мы двое с лишним суток ехали на поезде, орали песни, терзали гитару, пили самое дешевое красное вино. А перед этим на вокзале я увидел ее… И влюбился навсегда.

Меня провожала в путь та самая девочка из Чимкента.

Марию тоже кто-то провожал.

Наши места оказались в одном купе, и я пел: «…к ненаглядным своим горам, не пора ли нам возвращаться?» Она только изредка поглядывала на меня, занятая интересным разговором о квантовой механике или физике с третьекурсником какого-то механического или физического института, также посланного бороться за урожай. Третьекурсник был рослый, бородатый, красивый, и мои песни пропадали зря. Вечером, когда песенная атака достигла плотности артиллерийской подготовки, Мария попросила у третьекурсника сигарету и вышла из купе, он за ней. Гитара потеряла голос, когда стало понятно, что скоро эта парочка из тамбура не вернется. Я пытался прибавить громкости: «…и лотошник на углу продает апельсины цвета беж…», но Мария и физик явно меня не расслышали, а не поняли – это уж точно. Колеса стучали, за окном вагона пролетали синие огоньки, иногда в темноте вскрикивал неугомонный тепловоз, а ребята, набившиеся в наше купе, принялись разговаривать со мной, как с тяжело раненым: «Ничего, старик, не унывай, старик, давай выпьем, старик!..» Я улыбался, выпивал, даже закусывал какими-то невероятно огромными зелеными помидорами, которые брызгали во все стороны огородной зеленью, но был я не в купе, нет, не в купе… А где же я был?..

- Сигареты есть? – спросил я у кого-то, и тут же ко мне протянулись руки с пачками, я взял одну и вышел в коридор, и двинулся дальше к тамбуру. Вслед кто-то удивленно сказал:

- Так ведь он не курит…

Я открыл дверь в тамбур. Третьекурсник целовал Марию, она отвечала ему, закрыв глаза. Одна рука физика была где-то в вырезе халата Марии, вторая обнимала за талию.

- Вот вы где! – сказал я остроумно.

Они не прекратили целоваться, даже когда увидели меня. Третьекурсник просто повернулся ко мне спиной, загородил ее от меня.

Мне ничего не оставалось, как закурить. Это была моя первая сигарета в жизни. Давясь дымом и кашлем, стоял я в тамбуре, где двое никак не могли разомкнуть объятий. Наконец, они разлепились.

- А, это ты…, - произнесла она. – Хорошо поешь. Твои песни?

- Нет, не мои…

- Я так и подумала, - сказала она и обернулась к физику:

- Пойдем, Жора.

Я честно выкурил сигарету и, не торопясь, вернулся в купе. Марии с третьекурсником там не было. Я залез на верхнюю полку и укрылся одеялом с головой, колеса все тарахтели и тарахтели. Откуда-то пришла в голову шальная мысль, что вот начинается новая жизнь – с Марией… Почему так подумалось?.. Почему?

Утром оказалось, что физический институт выгрузился несколько часов назад на каком-то неведомом полустанке, наверное, там выросло особенно много хлеба. Мария спала на своей полке, на столике перед ней лежал букетик каких-то пыльных степных цветов.

Нашему университету предстояло еще сутки добираться до места назначения – так далеко теперь мы будем от бородатого третьекурсника! С надеждой опять звенела гитара, такое время тогда было – гитарное, без гитары, казалось, жизнь совсем скучная пойдет. В дальнейшем это подтвердилось…

- Вообще-то я и свои песни пишу…, - сказал я ей, когда она проснулась.

- Правда?.. Надеюсь, ты не с самого утра примешься их петь?..

- Не с самого…

- Не обижайся только… Я не со зла, просто голова тяжелая, вчера перегруз был. Люди хорошие попались, пришлось чуток злоупотребить за кампанию…

- Видел я вчера этих хороших людей, - сказал я.

Она посмотрела на меня внимательно, в глазах мелькнуло подобие усмешки.

- Понятно…, - протянула она, - понятно…

Неужели уже тогда ей все было понятно?

Вечером она попросила:

- Спой… Что-нибудь свое…

Я тронул струны:

- Не медь, не золото, не ржавчину принес октябрь…, - мне казалось, что про осень сказано еще не все.

- Ты – почти Фет, - улыбнулась она, но больше не перебивала. Не помню, чтобы когда-нибудь потом она дослушивала до конца мои стихи. И не только мои. В ней было всегда очень много земного; рифмы почему-то пробуждали иронию. «Если ты добиваешься благосклонности дамы, то при чем здесь птички, ландыши и облака? - говорила она иногда. – Можно сказать об этом проще и яснее, разве не так?»

Вечером она позвала меня в тамбур.

- Смотри, как интересно, - сказала она. – На всю степь одна лампочка…

За окном было черным-черно, и только в самом центре этой непроглядной темноты мерцал крошечный огонек, причем он не смещался, как будто поезд стоял на месте, или двигался по кругу вокруг этой степной звездочки.

- Вот так всегда, - сказала она. – Мнится, как будто что-то есть в центре, и этот центр невольно притягивает. А, может, там ничего нет? Пустота? Стоит какой-нибудь столб у заброшенного и разрушенного склада, а на столбе эта лампочка – неизвестно зачем и кому светит?.. А мы пялимся на нее, думаем, что кто-то живет здесь, растопил печь, варит еду, ждет кого-то… А на самом деле ничего…ничего нет…

Она и позднее жизнь воспринимала, как несбывшееся ожидание.

- Ты ведь влюбился в меня? – спросила она.

- Да что ты! – растерялся я. – С чего ты взяла?..

- Не ври, ни к чему, - не поверила она. – Наверное, ты лучше всех вокруг на тысячу километров, на пятьсот во всяком случае…

- Так далеко мы, наверное, еще не отъехали, - вспомнил я третьекурсника.

Она не услышала:

- Но что мне делать с этим?.. Ты так и будешь всю жизнь рифмовать «луна-волна-не верна»… А гвозди кто забивать будет?

- Какие гвозди? – удивился я.

- Обыкновенные. Ржавые и не очень, на которые ты будешь вешать свои кепки, куртки и пиджаки, потому что, хорошего шкафа для одежды у тебя долго не будет…

- Ты просто Кассандра…

- Да, к сожалению, - ответила она. И поцеловала меня в щеку. А потом в губы. Нет, не пропали даром мои песни…

В селе, куда мы приехали, нас разместили в только что построенном доме. Временно было отложено новоселье, которого с нетерпением ожидали несколько сельских семей. Они все время приходили посмотреть на свое будущее жилище, фантазировали куда поставят сундуки и комоды, строго предупреждали нас «не свиничать, не писать на стенах матерщинных слов».

Мария отвоевала отдельное помещение – кухню. Мы затащили туда два матраса, две подушки, одеяло нам досталось одно, да нам и не нужно было два. Мы и одним не пользовались – дни стояли теплые, солнечные, а ночью нам тоже не было зябко. На двери кухни какой-то остряк написал «Киргуду - королевство на двоих, остальным вход запрещен», и мы с Марией поселились в этом королевстве. Запрет на вход никто не соблюдал, и по вечерам на этой кухне было тесно, и струны на гитаре рвались на самом интересном месте: «А если есть кто с тобою рядом, не стану долго мучиться, люблю тебя я до поворота, а дальше как получится…» А потом ребята уходили, уносили покалеченную гитару, а я целовал Марию; она откидывалась на подушку, но никогда не закрывала глаз, смотрела не то удивленно, не то настороженно, и тогда я целовал ее глаза, и она, наконец, закрывала их… Шептала при этом: «Люби крепко…» Этот шепот я не забыл… Но не могу вспомнить, чтобы она хоть когда-нибудь сказала мне «люблю тебя». Но время от времени она говорила: «Ты думаешь, любовь без боли бывает?..» И непонятно было: уверена ли она в этом? Но иногда она добавляла: «Если без боли, то какая должна быть сумасшедшая анестезия!»

- Тут просто исповедь какая-то, каждая секунда жизни что ли описана? - сказал Толик. – Но откуда все-таки взялась здесь эта рыжая?..

- Посмотри внимательнее, - предложил Малыгин, - ты ведь в одной квартире с ней жил. Похожа она на Марию?

- Какую? Гришаковскую?..

Толик уже менее опасливо взглянул на склонившуюся над Ивановым женщину, отступил на шаг, прищурился:

- Нет, это не она… Та не такая была, ниже ростом, круглее…Да и старше намного. И лицо у той другое… Хотя, хотя…сходство есть…

- Ты обратил внимание, что у этой глаза открытые? – спросил художник.

- Ага… Он же пишет, что она глаза не закрывала… Читай, чего там дальше?..

«Мы вернулись в Алма-Ату в удивительный сентябрьский день. Утром в скверике около главпочтамта появилась желтая цистерна с пивом и около нее тут же образовалась очередь томимых жаждой; было жарко и удивительно тихо, как перед землетрясением, на цветочном базарчике возле стен консерватории горели на солнце букеты роскошных георгинов. Землетрясения в этот день, слава Богу, не произошло, но, вдруг, пошел снег. Огромные белые хлопья внезапно засыпали весь город – еще цветущие клумбы, бьющие фонтаны, яблоневые сады. Лебедь, плавающий в бассейне кафе «Акку», стал казаться слепленным из снега. Портвейн двенадцатый номер в кафе обрел еще большую свежесть, а снег все валил и валил. Из бара «Каламгер», что свил себе гнездышко в союзе писателей, вышли поэты и прозаики, даже некоторые драматурги, и удивленно смотрели на стихию, троллейбусы застыли у обочин, девушка в летних туфельках стояла на остановке у «Детского мира», прикрываясь газетой «Дружные ребята» и какой-то мужчина предлагал ей свои огромные ботинки – и она, кажется, была готова принять его щедрый дар. Но тут вышло солнце. И снег на глазах стал исчезать. И девушка отказалась от ботинок, и писатели вернулись в бар, и троллейбусы, зябко подрожав корпусами, тронулись в путь… Через час как будто и не засыпало город огромными белыми хлопьями, и к вечеру метеорологический курьез забылся. Но мы с Марией почему-то надолго запомнили этот сентябрьский снегопад… Может, она потом и позабыла, но я помню…В этот день, в этот вечер, в эту ночь мы пили шампанское, а потом коньяк, и опьянели, и беспрерывно целовались – в кафе, на улице, в подземном переходе, и надо было идти домой, в крошечную комнатку, которую мы сняли на Малой Станице – там целоваться было удобнее, но мы не торопились, сидели в холодном сквере у Дома Правительства – и целовались в двух шагах от хмурых охранников. Потом все-таки мы отправились домой, и Мария достала из чемодана бумажку с надписью «Киргуду - королевство на двоих» и прикрепила ее на стене, и мы стали жить в этой комнате…

Иногда наваливается странная слабость; не слабость – болезнь, а слабость- усталость… И опять снилась она. Может быть, мы теперь нерасторжимы с ней?

…На левом колене у нее был едва заметный шрамик, но я рассмотрел его. «На байдарке перевернулась во время похода по Сакмаре», - рассказала она, и так я узнал, что она была на сплаве в Южном Урале; там шли тем летом затяжные дожди, речки вспухли, кипели водоворотами, стремительно несущаяся вода почернела, как будто впитала в себя весь страх, притаившийся в непролазных лесах и осыпающихся ярах этих мест, впору было отказаться от сплава, но ребята в команде подобрались серьезные, не привыкшие отказываться от задуманного, и они пошли. И на первом же пороге у большого серого камня она перевернулась. «Спасибо Сереге, спас. - сказала Мария, - Если бы не он… А так только колено разбила…» Так я узнал и о Сереге, который не дал ей утонуть, а потом нес ее на руках в сельский медпункт, и потом вернулся с ней в город, оставив команду – так дорога она ему была. Но они расстались… Любовь не бывает без боли?..

В последние дни у меня в глазах словно двоится, фокус не наводится. Особенно на расстоянии свыше метра. Но на бумаге буквы не двоятся. Наверное, что-то со зрением. Сегодня впервые не стал готовить горячую еду, обошелся килькой в томате…»

- Вот где он нашел свою Шамбалу, - сказал художник, оторвавшись от тетради.

- Здесь что ли, в комнатушке этой? – спросил Толик.

- Можно, наверное, и так сказать, - ответил Малыгин.- В этой комнате, в этой женщине…

- Так откуда она взялась?

- Думаю, что… Нет, давай читать дальше.

«Сегодня обошелся скумбрией в масле, хорошая, все-таки, еда: даже голодный из осажденной крепости не съест за один присест больше половины содержимого банки. Наверное, ученые специально разрабатывали вкус этого продукта, чтобы его нельзя было много съесть. И вместе с тем, чтобы создавался эффект насыщения. Вот я совершенно не голоден… Мария говорит, что нужно больше есть, но я посмотрел – она и сама ничего не ест… Странно… Прежде она очень любила жареную утку. Иногда мы в «Центральном гастрономе» - ЦеГе – покупали утку, и Мария жарила ее целиком. К утке я покупал бутылку портвейна, собственно в магазинах Алма-Аты тогда ничего другого не было – вино и замороженные утки. Ах, да, еще пакетики с лавровым листом, которые продавцы настойчиво рекомендовали в «нагрузку» к уткам. Мы покупали и эти пакетики, Мария смеялась: «Если так дело пойдет, то скоро соберем на лавровый венок!» Но денег у нас часто не было совсем, поэтому мы так и не собрали на венок.

Время от времени Мария ходила занимать деньги к какой-то своей дальней родственнице, которая часто – уж не помню по какой надобности – бывала в Венеции. Деньги – пять, а то и десять рублей – она почти всегда давала, но при этом нужно было смотреть альбомы с венецианскими фотографиями, на которых была сама Венеция, а на ее фоне родственница. Обычно я ждал Марию на скамеечке неподалеку от кинотеатра «Алатау», потому, что когда мы приходили вдвоем, то к фотографиям прибавлялись воспоминания о каналах, карнавалах и гондольерах.

Заняв деньги, мы мчались к ЦеГе – утка, портвейн и лаврушка, Мария хохотала и говорила: «У меня была хорошая фигура, но есть риск, что она станет идеальной в день моей голодной смерти». И еще она тогда шутила, что в жизни, как в космической орбите, есть апогей и перигей. Перигей – это совсем невысокий полет, и важно не пропустить, когда начнется апогей…Она смеялась: «Надо вырваться из притяжения земли…». «Как же совсем без земли?» - спрашивал я, а она только махала рукой.

В то время я намеревался приняться за большой исповедальный роман о молодежи, по сути дела весь роман – его герои, коллизии, фабула – был у меня в голове. Нужно было просто сесть и записать его на бумагу. Иначе говоря, требовалась чисто механическая работа, потому, что творческая была завершена в голове. Название роману я придумал вполне в духе времени – «Октябрьская канонада». Первая строчка задавала настроение всей вещи: «Я живу осенью, я прописан в осенней стране…». Несколько раз я принимался за работу. Ломались карандаши, из ручки вытекали чернила и заливали бумагу, сосед за стеной включал электродрель, едва я садился за стол, и дальше первой строчки не шло. Не сразу я понял, что совершенно не подхожу для механической работы. Мария предложила, чтобы я диктовал ей, но я отказался. Она и так сильно уставала, тем более,

что устроилась ночным сторожем в детском садике через дорогу…У нее даже было ружье с одним патроном. Я иногда приходил к ней ночью, и мы занимались любовью на диване в директорском кабинете, повесив ружье на вешалку. Однажды ружье упало и выстрелило, и заряд попал в плащ, оставленный на вешалке директором. Мне пришлось уносить ноги, потому, что посторонним на охраняемый объект вход был строжайше запрещен. Приехала милиция, и Марию заставили писать объяснительную, а потом обязали выплатить директору за нанесенный ущерб…

…Мария прочитала до этого места и рассмеялась, так много я напутал. Во-первых не плащ, а пальто было поражено той давней ночью, во-вторых, любовью мы занимались не только на директорском диване, но и в спортивном зале, где на полу лежали гимнастические маты… Где только не любили мы друг друга!.. Однажды…»

- Он пишет, что Мария читает его писанину, а откуда она появилась здесь, эта Мария? – в очередной раз спросил Толик.

- Да, странно, - согласился Малыгин. Он поднял с пола еще несколько тетрадок, полистал: «…чувствую себя неплохо, только со зрением что-то непонятное происходит; хорошо, что Мария здесь… В Алма-Ате мы снимали углы в чужих квартирах, жили за занавесками, ширмами, однажды хозяйка, пустившая нас пожить в большом доме в Тастаке, предложила нам спать на огромной русской печке. На этой печке мы прожили недели две. Мария хохотала: «Илья-Муромец и Баба Яга – странная парочка на печке…» Мне казалось, что она любила меня. Во всяком случае, во время наших полетов на печи… Денег не было даже заплатить за это обиталище, и пришлось перебираться в другое жилье. Потом мы жили в полуподвале старинного дома, из крошечного и мутного оконца которого была видна только обувь проходящих мимо людей, и мы по обуви, даже самой поступи, учились угадывать характеры прохожих, как они выглядят. Для того, чтобы убедиться в правильности наших предположений мы иногда выбегали на улицу по осклизлым ступенькам каменной лестницы. Это развлекало нас, тем более, что угадывали мы часто, и чем дальше, тем больше. Мы научились – не могу объяснить по каким признакам – почти не ошибаться. Появлялись перед оконцем светлые туфельки – «лодочки», и я говорил: «Студентка, двадцать лет…». Мария добавляла: «Цветастая поплиновая юбочка, трикотажный свитерок…» Я продолжал: «Марина, очки…» Мария хохотала: «Короткая стрижка, шатенка…» Сломя голову, я мчался наверх по лестнице, догонял «туфельки» и убеждался, что мы не ошиблись. Иной раз, под разными дурацкими поводами, я выспрашивал имена прохожих, выведывал их занятия, и почти никогда мы не ошибались. Однажды мимо оконца проследовали черные остроносые туфли с металлическими набойками. «Борис, замдиректора, тридцать четыре года, брюнет…» Я подхватил: «Пижон, бабник, кандидат наук, обручальное кольцо…». Мы как будто не угадывали, а заказывали… Она выбежала убедиться, что в очередной раз мы не промахнулись, и пропала больше, чем на месяц. Впрочем, часа через два позвонила хозяину дома, просила передать мне, что задерживается, скоро приедет и все объяснит, но еще через два часа опять позвонила хозяину и он, злой, как барсук (вовремя не платят, еще и звонят бесконечно), притащился из своего надземелья и хмуро сообщил, что она умоляет не беспокоиться, что все нормально – утром она будет «в нашем смешном полуподвале», не нужно думать ничего худого. Утром она не появилась, и следующим утром тоже… Ничего худого я не думал, я знал, что она жива и здорова, и даже весела, и что любви без боли не бывает. Я ждал, когда ее сапожки прошагают перед оконцем: «Мария, двадцать четыре, рыжеволосая…» В тот год хорошо писалось, я закончил несколько осенних рассказов, как мне показалось – неплохих. Октябрьская грусть

удавалась мне всегда, теперь – особенно. Я думал: «Мария, ну почему все так выходит?» и писал: «Мария везде, где осень, а осень повсюду…Не бывает Марии без боли…»

Когда ей исполнилось двадцать пять, она вернулась в полуподвал. Сказала:

- Это я…

- Здравствуй, - поздоровался я.

- Прости…так вышло…

- Да…

- Мир?.. Точно?..

Она выглядела растерянной, удрученной. Может быть, потому, что не получилось вырваться из притяжения земли?

У нее нашлось пять рублей, и я сбегал в ЦеГе за уткой, портвейном и лаврушкой. Выпили, и она сказала:

- Мы с тобой тогда угадали, на самом деле кандидат наук, пижон и обручальное кольцо… И он – Борис…

- А то, что брюнет – угадали?..

- Нет, - ответила она. – Обещай, что больше никогда не спросишь меня о нем… И не попрекнешь… Иначе смысла оставаться здесь у меня нет…

Она осталась, повторила давние свои слова:

- Наверное, ты и на самом деле самый лучший вокруг на тысячу километров…

- Неужели брюнет так теперь далеко? – не удержался я.

Она нахмурилась, и больше никогда об этом мы не говорили. Бывает ли без боли молчание?

Из полуподвала мы переехали на чердак дома, стоявшего в черешневом саду. Говорят, что по весне там бывало чудесно – люди вообще любят, когда цветут сады, летают бабочки и гудят шмели, но осенью среди голых деревьев было особенно грустно; крошечный холодный ручеек петлял среди стволов и как будто распределял опавшие листья по всей территории сада; Мария иногда гуляла по саду, перепрыгивала через ручеек, но я видел – она тосковала по весне. Она не любила осень. Поэтому мы опять перебрались на новое место.

Когда в очередной раз мы собирали свои пожитки, она сказала: «Я поняла, почему происходит это постоянное кочевье. Ты – потомок Чингис-хана. У тебя ведь в роду были татары, были? Ты наследник номадов, в тебе есть неистребимый кочевой ген. Тебе, в общем-то, не нужен дом, ты будешь вечно бездомным…» Она ошиблась, дом для меня нашелся… И для нее тоже… Так реально, как сегодня, она мне не снилась никогда…»

- Кажется, я понимаю, что произошло, - сказал художник. – В это невозможно поверить… Вот читай дальше: «Это просто наваждение. Я думаю только о ней, я пишу о ней, она

снится мне каждую ночь… Я готов не просыпаться, чтобы оставаться с ней…пусть этот сон длится…»

- Это его сон, понимаешь? – отложил тетрадки Малыгин.

- Нет! Не понимаю! - мотнул головой Толик.

- Мы попали в сон Иванова, - продолжил Малыгин. – Влезли с тобой в самую сердцевину сновидения. Уж не знаю, каким образом материализовалось, то, что ему снилось… С такой силой он представлял себе свою Марию, что она уже не могла больше покинуть его… То, что мы видим сейчас – застывший сон…В этой комнатушке сконцентрировались все мечты Иванова, все его сны, и достигли критической массы…

Толик почесал затылок:

- Если это сон… Постой-ка…

Он подошел к женщине и прикоснулся к ней рукой. Рука не встретила сопротивления и как бы растворилась в рыжих волосах. И в то же мгновение очертания Марии на секунду потеряли резкость и яркость.

Толик отдернул руку:

- Ничего там нет, только как будто теплота какая-то…

- Еще какая теплота, - сказал художник. – Очень большая теплота…

- Но если мы видим его сон, - наконец, завершил свою мысль Толик, - то где же он сейчас сам?..

- Кто же это может знать, кто? – ответил Малыгин. – Но надеюсь, что ему там хорошо…

Они выбрались из комнатки и принялись замуровывать стену.

А старую картину Малыгина они потом повесили на прежнее место.

Свет земной

Перед тем, как таймеру отсчитать два, ударили метеориты – один вслед за другим – два раза.

- Просто куранты, - сказал Алеша. – Кремлевский бой…

Анна не откликнулась, глядя на старую ветлу, склонившуюся над яром. Над рекой бродил утренний ветер и оставлял на воде узкую светлую дорожку ряби. Лет семь назад в такой дорожке Алеша ловил жерехов, смешно называя их шересперами, как местные казаки. Каждый раз, когда он подсекал спиннингом очередного шереспера, тот едва не на метр вылетал из воды, борясь за свою серебряную жизнь. Она радовалась рыбацкой удаче Апеши, и немного жалела жерехов. Тогда в том краю еще не было заведено отпускать пойманную рыбу; она была вкусна, из жерехов получались замечательные балыки, да от ухи – с зеленым лучком, перчиком, с дымком – за уши было не оттащить.

- А вообще станция построена в таком месте, что метеориты здесь редкость, уж не знаю, как это рассчитали, - продолжил он. – За одиннадцать лет в крышу дома напрямую не ударил ни один метеорит. Но тем выше вероятность, что в один прекрасный – хм, прекрасный ли? – день станции достанется по первое число… И по второе тоже…

Она молчала.

- Сок березовый у нас еще остался? – спросил он. – Натуральный? Или только синтезированный?..

Она выключила подсветку голографического панно и исчезли река, утренний ветер, и дорожка с рябью перестала светиться.

- Кажется, часы стали ходить медленнее, - продолжал он произносить необязательные слова. – А раньше время летело…

Анна достала из холодильника банку с соком. Натуральным. Пусть пьет, разве жалко? Налила в стакан, подала ему. Он взял стакан, зазвенел цепью.

«Совсем зарос, надо бы постричь его, - подумала она, глядя на его всклокоченную шевелюру, - но дастся ли он? Что у него на уме?»

Где-то совсем близко еще ударил метеорит. И еще один. Что-то зачастили они.

Она вошла в кабину лифта, нажала на верхнюю кнопку. Он крикнул ей вслед:

- Посмотри, какая там погода…

Лифт неспешно потащился, что-то в его механизме уже давно потрескивало, постанывало, он заметно убавил прыти; иногда она думала, что если он застрянет где-нибудь между тринадцатым и двенадцатым этажами, то на этом все и кончится. Некому будет ее вызволить. Хотя она знала, что у Алеши есть пилка для ногтей и ночами он осторожно пилит цепь, скребется неслышно, как мышь, но ему на завершение этой работы понадобится не один месяц. Она не отнимала у него пилку, пусть играется, если ему так легче. Если находит волю пилить, значит, последняя надежда все-таки не оставила его. Хотя, наверное, он знает, что ей известно про пилку, но они оба молчат об этом, как и о многом другом.

Лифт, все-таки, добрался до купола дома. В этот час сквозь его прозрачные броневые плиты можно было увидеть, как над горизонтом поднимается огромный шар Земли – близкий, недостижимый, страшный. Казалось, стоит только прищурить глаза, как увидишь, что на поверхности планеты пульсируют моря, клубятся облака, сверкают молнии, бьются жилки рек, - и она каждый раз обманывала себя: при виде Земли глаза закрывала совсем – и видела грозу, которая застала их с матерью давным-давно у озера, берега которого заросли тальником и терном, а как они оказались в этом отгороженном от мира зелеными зарослями краю? – она уже не помнила. Они собирали терн в оцинкованные ведра, ягоды были покрыты сизым налетом, в августе до спелости им было далеко, но и дочь, и мать время от времени бросали в рот эти жесткие прохладные ягоды; знали, что оскомина будет от них жуткая, но не могли удержаться – так освежающе терпок был сок ягод. И вообще, так чудесно было то лето, так длинен августовский знойный день, так бесконечна жизнь, что среди этого безмятежного существования казалось нелепым отказывать себе в ягодах из-за какой-то оскомины. Они набрали почти по ведру терна, когда ударила гроза. Они с матерью не могли и предположить, что белые кудрявые

облачка, кружившие вокруг озера, накапливают в себе голубой небесный огонь вперемешку с градом, озерной водой. Наверное, каждый по отдельности облачка были безобидны, и когда они время от времени закрывали солнце, то приносили прохладу, облегчение, и тогда мать с дочерью вытирали вспотевшие лбы, говорили: «Хорошо-то как!»

Налетевший откуда-то ветер в минуту соединил облака в критическую массу грозовой тучи и трескучая молния, как будто кто-то у них над головой яростно разодрал огромную сухую холстину, попала в самую середину озера и тут же с противоположного берега помчалась полоса ливня, и казалось, что она торопится к середине озера, чтобы не дать загореться воде, пораженной молнией, но ливень не остановился на середине, а помчался дальше, шумя, как прибой, и они с матерью, зачарованные, смотрели, как лавина дождя наступает на них. И вот уже пригнули черные головы вековые осокори, легла прибрежная трава, заволновался тальник – и только тогда мать крикнула: «Ведра!» - и высыпала под ноги терн, и надела ведро на голову. Она вслед за матерью прикрылась своим ведром, и тут обрушилась на них заоблачная вода, и тут же смыла и унесла ягоды в озеро. В одно мгновенье они промокли до нитки. Они побежали к деревьям, но следующая молния ударила именно туда, в секунду ветки самого большого осокоря занялись оранжевым пламенем, и страшно было смотреть, как дерево пылает под проливным дождем. Они с матерью все-таки осмелились укрыться под кроной одного из деревьев, а молнии каждое мгновение почти беззвучно вспыхивали в двух шагах от них; шипение молний через минуту удивительным образом превращалось в раскаты и только тогда становилось страшным, ворчащим и угрожающим, а совсем рядом мерцающие молнии казались почти безобидными, может, потому, что дождь был теплым, с легким привкусом оскомины на губах.

- Железо притягивает электричество! – закричала мать, и отбросила ведро в сторону от себя. В минуту оно заполнилось пузырящейся водой. Анна не стала снимать ведро с головы – еще никто не угадал, куда может ударить молния. Она была, наверное, фаталисткой. Не боялась летать самолетами – будет то, что будет и не будет того, чего не будет, не пугала ее и темнота – там все то же, что и на свету, страшилась она только одиночества, да и кто его не страшится? – и кто знал, что оно выпадет ее лютой судьбой?

А еще Анна часто представляла другое лето. В тот год все почему-то опасались, что может наступить голод; он в их краях случался нередко – то правительство чего-то не рассчитает, то нагрянет война, то навалится саранча. И все бросились разводить огороды, выращивать картошку, бороться с колорадским жуком, ставящим под угрозу картофельное благополучие. Им с Алешей каким-то таинственным образом досталось три сотки земли, а, может, и не таинственным – всем жаждущим выделяли? На участке был крохотный, с белеными стенами, домик. Эти три сотки показалось ей огромной делянкой, и она принялась рассаживать астры, гладиолусы, ромашки, посадила даже березку – ни у кого на участке не было березки, и Алеша очень гордился березкой. А под картошку она отвела только одну сотку.

- От картошки толстеют! – улыбалась она.

Еще, конечно, посадила грядку редиски, грядку морковки, не забыла и про огурцы. Лето выдалось солнечным, жарким, дождей было мало, после них земля высыхала и трескалась, становилась похожей на крокодилью кожу. На участке не было ни колодца, ни подведенной воды, и она поливала цветы и грядки водой, которую они с Алешей приносили ведрами из небольшого пруда, до которого было не меньше получаса ходьбы.

Так что, на дорогу туда и обратно она затрачивала больше часа, потому, что на обратном пути несколько раз отдыхала. Алеша оборачивался с ведрами быстрее, оно и понятно – он мужчина сильный.

Цветы, как будто в благодарность за такой нелегкий уход, поднялись на загляденье. Особенно хороши были ромашки – на удивление крупные, едва заметно волнующиеся на своих высоких прочных стеблях; она уверена была, что в них крылась какая-то тайна, не та, что «любит – не любит», а какая-то другая, настоящая, волнующая. Каждая ромашка почему-то казалась ей похожей на желтый ревнивый глаз в обрамлении огромных белых ресниц – лепестков. Только к кому могли ревновать цветы? К лету? К Алеше, с которым ей нравилось заниматься любовью прямо среди бурно разросшейся зелени. У них был надувной матрасик, она бросала его между грядок и тянула мужа, а он шутливо отбивался, но не очень, так что, всегда побеждала она. Стена цветов надежно закрывала от посторонних глаз, но стоны любви, наверное, слышны были далеко. Соседи с интересом поглядывали на странную пару. Алеша однажды спросил у нее: «Может, переместимся в домик?». Она заупрямилась: «Глупо приезжать на природу и прятаться от нее за стенами». И они продолжали заниматься любовью на надувном матрасике, окруженном ромашками, астрами…

Уродилась и картошка, они даже и не надеялись на это. Перемазавшись в земле, они выкопали, когда пришла пора, шесть огромных мешков крупных клубней.

Огурцов тоже выросло много, но все, как один, оказались кривыми.

- Какие-то огуречные бумеранги, - хохотала она, - неужели они скривились оттого, что не их я ласкала так нежно?.. А тебе это нравилось?..

Когда это было? Цел ли теперь этот домик, растет ли что-нибудь на тех трех сотках или пролегло там бетонное шоссе, или построен завод химических удобрений, или доползла до тех мест городская свалка?..

Анна с трудом отвела взгляд от диска Земли. Подошла к приборной панели. Она не поднималась сюда бесконечные десять дней, сдерживала себя в сумасшедшей надежде, что пока ее здесь не будет, все изменится, утрясется, оживет - проснутся приемники, факсимильные аппараты, спикерфоны. Она найдет здесь кучу лент с требованием немедленного ответа, сотни записанных на диски сообщений, графики посадки лунных модулей, списки очередных экипажей. Но еще в лифте – не чувство даже, не расчет, а, скорее всего, появившаяся с некоторых пор привычка к обреченности – вернула ее к действительности: конечно же, ничего наверху не изменилось: только уменьшился запас дыхательной смеси, запас продуктов… Все без отклонений.

Тридцать семь месяцев назад Анна сидела за мониторами посадочного терминала, отслеживая траекторию огромной стальной бочки – заправочной цистерны, которая должна была прилуниться через двое суток. Управляла бочкой ее давняя подруга Санни, и на самом деле рыжая, солнечная. Она, хохоча, рассказывала, что в Албене, на восхитительных пляжах которой она провела нынешним летом пару недель, познакомилась с красавцем – болгарином. Бицепсы, трицепсы, белозубая улыбка – все было при нем, а еще много обаяния, умения угадать каждое желание женщины.

Анна всегда немного подтрунивала над Санни, поэтому спросила:

- Так уж и каждое?

- Можешь даже не сомневаться, - засмеялась Санни, - и я не стеснялась в выборе желаний… Например…

И тут она исчезла с экранов. Анна, улыбаясь, – все-таки Санни бесшабашная, – переключилась на резервный канал связи. Подруги не было и там. Не удалось найти ее и на всех прочих каналах.

Пропала не только она. Онемел, ослеп и оглох весь эфир. Еще минуту назад он говорил на десятках языков, шумел, пел, грохотал барабанами, что-то требовал, доказывал – и вдруг повисла полная тишина. Полная, если не считать эфирных потрескиваний, которые заставляли Анну каждый раз вздрагивать: вот сейчас прорвется лавина радио, вот сейчас Санни доскажет о своем романе с красавцем из Албены. Не прорвалась, не досказала.

Анна сутками не отходила тогда от приборов, сканировала голубоватую поверхность Земли, пыталась достать до атмосферы внезапно утраченной планеты зондами, чтобы хотя бы попытаться понять, что же такое приключилось на ней, но все было напрасно – Земля молчала. Как будто не было ее. Но она была – огромная, тяжелая, недоступная. Не пришел корабль за сменившейся командой станции, не прибыл очередной рейсовый челнок, а главное, – они так и не дождались цистерны с горючим. Не дождались Санни. На станции, рассчитанной на десять человек, собралось семнадцать. Была надежда, что по графику придут аварийные ракеты с топливом, продуктами, кислородом, приборами и оборудованием; они всегда стояли на старте и в случае непредвиденных обстоятельств были рассчитаны на автоматический запуск. Ракеты не пришли. Никто не паниковал, но никто больше и не смеялся. Тогда они уселись за расчеты: хватит ли оставшегося топлива, чтобы всем семнадцати вернуться в модуле, который доставил очередную смену на Луну? Компьютеры бесстрастно ответили: могут рассчитывать с восьмидесятипроцентной вероятностью на безаварийный старт, полет и посадку семеро человек, девятеро имеют половину шансов, если отправятся десятеро – сгорят над Землей.

Сразу родилось несколько идей. Первая: отправить женщин. Но таковых оказалось одиннадцать. Алеша мрачно пошутил: будем выбирать к отправке по ролевантности или по возрасту? Или проведем конкурс «мисс – обреченность?»

Вторая: отправить только мужчин: они скорее разберутся в том, что произошло, и вернутся с помощью. Женщины не согласились: каково оставаться одним на холодной, безжизненной Луне?

- Может, на Земле-то теперь ничуть не лучше? – сказал кто-то, и возражений не было.

Третья: уходить всем. Горючего хватало для того, чтобы попытаться добраться до одной из орбитальных станций, там дозаправиться и оттуда уже добираться до Земли, или ждать помощи там. И хотя связи с орбитальными станциями тоже не было, предполагалось, что это происходит из-за неполадок на земных ретрансляторах. Но нашлись противники и у этого плана. Они говорили: случись какая-нибудь авария, и никто, даже чисто теоретически, не сможет прийти на помощь, никто и никогда не узнает, что случилось с ними.

Алеша с Анной и Лэндон с Сюзи стояли за то, чтобы никуда не лететь. «Всех запасов нам хватит примерно на четыре года, - говорили они, - за это время вполне можно попытаться наладить автономное обеспечение станции кислородом, водой…Тяжелее будет с продуктами, но в лаборатории есть семена злаковых, овощных; можно отвести под

оранжерею весь верхний этаж…И вполне возможно, что к тому времени о нас на Земле все-таки вспомнят…если там есть кому вспоминать…»

Всерьез этот план не принял, кажется, никто. «Овощи-то нужно выращивать в грунте, в крайнем случае, на гидропонике… Ни того, ни другого у нас нет, да и воды для полива тоже…»

Дни шли, рождались новые варианты, тут же отвергались, в глазах у людей появилось странное выражение – так, наверное, смотрят вслед поезду, на который так торопился, но опоздал.

Модулем и его экипажем командовал Кватро, но экипаж станции возглавлял Исаков, отдельная группа ученых номинально подчинялась Лэндону, поэтому отдать хоть какой-то приказ было некому. В каждом углу станции собирались, распадались и собирались уже в иных составах нервные группы и группки совещающихся, обсуждающих, отвергающих. В коридорах и переходах станции стали появляться пустые бутылки из-под водки. Спиртное хранилось только на продуктовом складе, значит, кто-то сумел подобрать коды замков, и это было тревожным сигналом. Анна сменила коды, а на другой день обнаружила, что кто-то пытался взломать двери.

В тот же день вечером в своей комнате нашли тело оператора бурильной установки Найта; он вколотил себе в череп титановую заклепку из строительного пистолета.

И сразу на станцию вползло отчаянье; оно давно подбиралось все ближе и ближе, его пустые глаза и раньше смотрели из каждого угла, а теперь оно заняло все пространство, прилипло, как потная одежда, к телам, заморозило души. Вслед за Найтом как-то странно умер сетевой администратор Франц – не то перебрал снотворного, не то перепутал таблетки – никто не стал вдаваться в подробности. Анна только занесла в бортовой журнал дату смерти. Скорее по инерции, чем из необходимости. Для Анны становилось все яснее, что им никогда отсюда не выбраться. Никогда. И рано или поздно в купол станции попадет крупный космический камень, и отремонтировать этот дом будет некому.

После того, как бортинженер Линор стала спрашивать у всех, где выход в сад, Кватро не выдержал:

- Завтра уходим, кто со мной – утром быть на старте!

Никто не произнес ни слова. Утром пришли все, но только девятеро облачились в скафандры. Обнялись:

- Мы вернемся! Обязательно! Дождитесь нас!

- Возвращайтесь! Прощайте!

- Прощайте!..

На второй минуте полета ракета взорвалась и распалась на тысячи сверкающих в земном свете осколков. В тот день Анна плакала в последний раз, не в силах отогнать от себя мысль, что девятеро в скафандрах просто убили сами себя.

Их осталось шестеро. Потянулись дни, недели, месяцы. В пустых коридорах и переходах станции вдруг стало жутко, все время хотелось обернуться; на дверях обитаемых отсеков Анна заметила электронные замки. Все чаще оставшиеся на лунной станции не отвечали

на радиовызовы друг друга. А совсем недавно она обнаружила, что исчезли все резервные баллоны с дыхательной смесью, выкачан воздух из одного из дополнительных резервуаров. Кто-то запасался воздухом надолго. За счет других. Она не стала выяснять, кто решил прожить дольше всех, подумала: «Разве это имеет какое-то значение?» - и испугалась своей мысли. И внезапно поняла, что мысль эта – самая главная на станции. Совершенно все не имеет значения. Если оно лишено шансов на продолжение – оно бессмысленно. А бессмысленное – суть безумное… Скоро и она сойдет с ума, или?.. Или?

Что-то доселе незнакомое, щемящее-притягательное, теплое всколыхнуло ее… Неужели?..

Алеша взялся было за наладку кислородного генератора; о необходимости производства дыхательной смеси на месте говорилось давно, но пока считалось, что проще доставлять кислород с Земли, и сооружение генератора шло черепашьими шажками. Однако вскоре Алеша перестал ходить в агрегатный отсек.

- Невозможное – невозможно, - сказал он. – Даже если мне удастся запустить машину, для ее работы не хватит энергии всей станции… А откуда возьмется сырье?..

Она обняла его:

- Милый, милый…

Хотела сказать «Только не падай духом!», но промолчала. Он стал много читать, потом взялся пересматривать видеотеку – ему нравились исторические ленты. На экране перед ним почти беспрерывно мелькали крестоносцы, викинги, римские патриции. С некоторых пор стал отпускать бороду, и не сразу она поняла, что ему просто не хочется бриться.

Сюзи все чаще не выходила к завтраку, а иногда и к обеду. Антон, не расстававшийся прежде с портативными шахматами, забросил их.

- Попал в вечный цейтнот, - объяснил он. Его постоянному партнеру – Исакову - ничего не осталось, как играть с компьютером, без шансов на успех. Даже вничью он не сумел свести ни одной партии. Как-то, проиграв в очередной раз, он встал, откашлялся, словно собирался произнести большую речь, огляделся вокруг - все ли видят? – и ударом кулака разбил монитор. Поранил руку, кровь залила клавиатуру; он, не обратив на это никакого внимания, вторым кулаком вдребезги разнес клавиатуру. Только после этого сказал:

- Вот так!..

Как-то к ней постучался Антон, затеял разговор:

- Венец творения, созданный по образу и подобию, наступил на косточку от вишни, поскользнулся, упал и умер… Или каша пересоленная была, да не в то горло попала – и готово!

- Не хорони его так скоро! – ответила Анна. – Ты же ничего не знаешь. Может, что-то с радио?.. Мощная магнитная буря…Солнце чрезмерно активное…

Он махнул рукой:

- Ты не хуже моего знаешь, что Солнце спокойно, никаких бурь… Наша внутренняя связь работает как часы, компьютеры регулярно обыгрывают меня в шахматы… Не обманывай себя: Земли больше нет.

Она инстинктивно подняла голову к потолку:

- Как же нет, она над головой?

Он тоже посмотрел наверх:

- Это не наша Земля… Просто незнакомая планета, не подающая признаков жизни… Не знаю, что случилось, но она мертва. Все приборы просто вопят об этом. Ночью в городах нет света, в атмосфере снижается содержание углекислого газа, что вполне возможно происходит от остановки всех автомобилей, заводов, кочегарок… А визуально заметно – полюса затягивает странная зеленоватая дымка… Что это? Ты видела?

Она увидела дымку давно. Сначала не придала значения, так почти незаметна была она в переменчивых красках близкой Земли, а потом направила на нее всю мощь анализаторов станции. Даже запустила последний зонд. Приборы не отметили никаких существенных изменений. Дымка становилась все плотнее, покрывала все большие участки, ползла по шапкам полюсов, как небывалая саранча.

- Если приборы не фиксируют эту ползучую мерзость, это означает только одно – мы столкнулись с что-то неизвестным… Ни мы, ни наши приборы не знают, что это такое… И это неведомое покончило с жизнью на Земле…

- Но мы пока живы, - сказала без особой уверенности Анна.

- Пока, - сказал он, и, вдруг, наклонившись к самому ее уху, горячо зашептал:

- Доигрались!.. Все к этому шло… Когда говорят «бесконечность», то воображения не хватает объять ее, как же можно без края? Произносят «смерть», то есть конец всему в тебе, и ты тоже отказываешься принять это…Так и живем посередине между бесконечностью и смертью, обманывая себя тем, что человек конечен, а человечество будет всегда. И как червяки в яблоке пожираем свою вселенную, гадим в ней, вертим норы, тщась забраться туда, где нам кажется послаще, называем это постижением мира, придумываем небылицы о нравственности, бессмертной душе, но не останавливаемся – изо всех сил прогрызаем новые ходы, и не хотим замечать, что яблоко-то давно сгнило… И вот оно летит с ветки наземь, где на него сейчас наступит равнодушный сапог садовника – к чему ему гнилье?.. И все…

- О чем ты, Антон? – изумилась она.

- Мы сами себя убиваем, мы сами придумываем правила всех игр…

- Может быть, я позову Алешу? – предложила она. - С ним будет интереснее обсуждать эти проблемы?

- При чем тут Алеша? – закричал он. – Наконец, мы готовы к постижению бесконечности… Значит, долой середину, прочь придуманную нравственность! Нас осталось четверо мужчин и две женщины…Мы можем стать прародителями нового человечества!

Она не удержалась, захохотала. Вот оно что! Такое пышное предисловие к такому простому содержанию!

Антон обнял ее, прижался губами к ее щеке:

- Давай, давай… Что еще нам остается?..

Она с силой оттолкнула его, он ударился плечом об приборную стойку и как будто пришел в себя. Потер ушибленное место, обронил «извини» и ушел. Она ничего не сказала Алеше, вообще никому, но, может быть, зря. Месяца через два к ней пришла Сюзи; перед этим она не показывалась недели три, что никого больше не удивляло: оставшиеся встречались все реже и реже, они и сами толком не могли объяснить, почему так неприятны им встречи с другими членами экипажа. Поневоле сталкиваясь иногда в длинных полутемных переходах, коридорах они неизменно вздрагивали, как будто не предполагали, что здесь хоть кто-то еще может быть. Одиночество обволакивало их словно саваном.

Сюзи попросила спиртного. Жадно выпила полный стакан вина. Потом захотела сигарету. Сосредоточенно дымила минуты три. Потом сказала:

- Ты знаешь, у меня роман с Антоном…

Анна подняла на нее удивленные глаза:

- Что?..

- Мы полюбили друг друга, ты можешь это понять?

- Думаешь, мне непременно нужно это понимать? – разозлилась она.

- Антон сказал, что тебе будет это интересно…, ведь у вас с ним тоже были определенные отношения.

- Определенные? Кем? - казалось, что Сюзи шутила, и вот сейчас она встряхнет кудрявой головой, захохочет и, может быть, спадет давно навалившийся на душу камень.

- Что нам осталось, что? – сказала она с интонациями Антона. – Мы – последние люди…

- А как же Лэндон? – спросила Анна, не удержалась.

- Он уехал, - коротко ответила Сюзи.

- Куда? – изумилась Анна.

- Я не стала спрашивать… Но мне показалось, что он очень расстроен…

- Что ты говоришь, Сюзи? Ты слышишь свои слова? – попыталась она пробиться к ее рассудку, но должно быть последние его крупицы уже покинули ее. На губах Сюзи блуждала странная застенчивая улыбка, почему-то казалось, что она изо всех сил старается быть похожей на невесту, и ей это удается.

«Наверное, Бог лишает нас рассудка, чтобы мы не могли осознать весь ужас катастрофы, чтобы смягчить эту невыносимую боль?» - подумала Анна.

- Мы хотим оформить свои отношения, - сказала Сюзи. Анна схватилась за голову и бросилась в шлюзовой отсек – как же она не догадалась заблокировать его?

Ее худшие опасения подтвердились: скафандра Лэндона на месте не оказалось. Датчик показывал, что с момента последнего шлюзования прошло двадцать часов; запаса дыхательной смеси в скафандре могло хватить в лучшем случае часов на восемь… Даже если предположить, что Лэндон смог воспользоваться запасами воздуха в луноходе, то выходило, что в его распоряжении осталось не более двух часов. Она попыталась связаться с Лэндоном по видеофону, он не отвечал, она включила обычный передатчик – в нем было только привычное потрескивание.

Она не стала долго размышлять, бросилась к ячейке со своим скафандром, облачилась в серебристый защитный костюм, причем ей хватило на это пяти минут, хотя обычно на эту процедуру у нее уходило не менее получаса. Она вышла на поверхность и только тогда подумала, что не уверена в том, что никому на станции не придет в голову заблокировать шлюзы. Анна даже не испугалась, только ускорила шаг. Вызвала по видеофону Алешу, постаралась спокойно рассказать ему, зачем она вышла на поверхность. Он испугался, она этого опасалась, но вообще не поставить его в известность она не могла.

В ангаре, где стоял луноход, никого не было, но исчез из машины и запас дыхательной смеси. И это ее немного воодушевило. И тут она вспомнила о старом аварийном модуле, который с незапамятных времен стоял на заброшенном пусковом столе; там когда-то проводились какие-то испытания, кажется, пытались проверить, сколько времени заправленная ракета может простоять в полной готовности. Ракету с одноместным модулем установили на стол, заправили, и она простояла лет десять. Потом попытались ее запустить в беспилотном режиме, но ничего не вышло. Что-то там отказало. Испытания с человеком на борту несколько раз откладывали, а потом вообще отменили. А потом проект вообще закрыли, потому, что к тому времени этот тип ракет безнадежно устарел. Стартовую площадку законсервировали вместе с ракетой, пусть еще постоит пяток лет. Но консервация, думала Анна, всегда означает забвение. Так и получилось, модуль торчал в полукилометре от новых посадочных и стартовых площадок, а его как будто и не было. О нем все позабыли.

Еще не доходя до старого старта, она поняла, что Лэндон здесь: перемигивались габаритные огоньки подъемника, кабельная мачта находилась в предстартовом положении. Она попыталась вызвать Лэндона по радио, он опять не ответил. Она добралась до двери стартового бункера, дверь бесшумно открылась перед ней. «Надо же, - подумала Анна, - пятнадцать лет не открывали ее, а она как новенькая! Умели раньше космическую технику делать…». И тут же она поправила себя: «Ни тогда, ни позже не умели… Полагались на авось. Забрасывали людей на орбиты в скорлупках, величали их помпезно «космическими кораблями», годами держали космонавтов в орбитальных станциях, как узников в тесных карцерах… Впрочем, так было не только в космосе…». Анна с горькой усмешкой отметила, что она давно уже обо всем говорит и думает только в прошедшем времени. Причем, переход этот на глаголы исключительно прошедшего времени произошел в ней совершенно естественно, как само собой разумеющееся. Ну, кончится натуральный березовый сок, будем пить синтезированный, нет больше никакого будущего, будем жить в прошлом…

В бункере приборы показывали, что включен весь комплекс предстартовых проверок. Работала и громкая связь с модулем.

- Лэндон, слышишь меня? – спросила она.

Он молчал с минуту, потом ответил:

- Не слышу…

- Это безумие, - сказала она.

- Конечно, - ответил он. – Мы сумели растянуть это удовольствие на месяцы… Сходили с ума в своих каютах, выли от бессилья в подушки, безнадежность наделяли чертами надежды…ты сама все знаешь… Мы молились, мы богохульствовали, ненавидели то самих себя, то своих друзей, но ничто не могло принести утешения. Потому, что утешения больше нет. Потому, что мы стоим не просто на пороге гибели, мы все смертны… Мы накануне погибели. Погибели всего на свете…И мы, скорее всего, самые последние частички этого самого «всего на свете»… Поэтому нет больше никакого смысла все это продлевать…

Он помолчал с минуту, она тоже не находила слов, и он продолжил;

- А в моем случае даже какая-то надежда появляется… Вдруг, все сработает, через трое суток на Земле окажусь… А там окажется все в порядке, у мамы на окошке герань цветет… Не знаешь, герань красными цветочками цветет?..

- Кажется, красными, - сказала она.

- И потом, ты знаешь, жена меня бросила, полюбила другого… Ты понимаешь, что происходит?..

Она опять промолчала.

- Я объясню, - сказал он. – Это игра в жизнь… А жизнь полна смысла, когда в ней куча глупостей, сумасшествий… Этой игрой мы пытаемся отгородиться от ада, который разверзся вокруг нас, а страшнее всего – внутри нас…Но от этого не спрячешься… Правда, ведь?.. Ты это знаешь, видишь?..

- Лэндон, мне очень жаль, - произнесла она. – Неужели нет надежды?.. Ни самой малой ее частички?

- Оставляю ее тебе, - ответил он. – Проверки завершены, стартую…Прощай!..

Она увидела, как отошла кабельная мачта, огненный смерч ударил из двигателей и ракета, набирая скорость, пошла вверх. «Пусть все удастся! Пусть все…», - повторяла Анна, и корабль легко вышел на лунную орбиту, его стальную горошину она видела на экране.

«Пусть!..»

Через час Лэндон вышел на связь:

- Это я…

- Как у тебя? – закричала Анна.

- Я хотел бы тебе соврать, - ответил он, - но твои мониторы следят за мной. Ты все равно это узнаешь. Маршевый двигатель не запускается…

- Что? Что?..

- Не запускается…

- Там должна быть дублирующая система запуска…

- Уже пробовал…

- Господи! Боже! – глухо произнесла она, он стал успокаивать:

- Через двенадцать часов попробую еще, как раз точка будет удобная для старта, а пока поковыряюсь в электронике…

Она знала, что в капсулах этого типа космонавт только статист, программа полета закладывается еще на старте и ее практически невозможно изменить. Она сказала кратко:

- Пусть все удастся…

Через двенадцать часов Лэндон сказал:

- Вот и все…

- Получилось? – закричала она.

- Нет, - ответил он. – Ничего не поделаешь…

Глупо было утешать его, предлагать попробовать включить двигатель еще раз, но еще глупее было молчать. Она же молчала, и он не окликал ее. Потом сказал:

- Я потерял спутницу, зато сам стал спутником…навечно.

Он не преувеличивал: на этой орбите его металлическая тюрьма сможет вращаться вокруг Луны столетия.

Еще он сказал:

- В сущности мы в одинаковом положении… Только я в космосе. Дыхательной смеси у меня почти на месяц, туб с едой еще больше, так что, даже останется…

Она отправилась к Антону. Он долго не отзывался, потом сказал по громкой связи:

- Я занят!

- Чем? – спросила Анна.

Он молчал с минуту, наконец, произнес:

- Почему мы все сошли с ума?..

Еще через минуту:

- Нужно обязательно найти ответ на этот вопрос…Он многое поможет понять… Ты ведь тоже?..

- Что «тоже»?

- Сошла с ума?..

- Ты открыть дверь не хочешь?..

- Нет, - ответил он после раздумья. – Может, это вирус такой завелся? Сумасшествия? Я опасаюсь заразиться.

Анна хотела сказать «ты уже заразился», но пожалела его. Позвонила у двери Сюзи. Она тоже не открыла дверь, спросила:

- Кто?

Видеофон показывал ей, кто пришел, но, может быть, она уже не верила электронике.

- Анна…

- Извини, у нас не прибрано…

- Ты что, не одна?..

- Здесь я…, - вместо нее откликнулся Исаков. – Прости… Мы не откроем…

- Лэндон ушел на старой ракете, - только и сказала она.

- Нам всем скоро уходить…

- Маршевые двигатели не включились, он стал спутником Луны. Запас воздуха на месяц…

Исаков вышел из отсека Сюзи, плотно прикрыл за собой дверь. Потухшим взглядом долго изучал ее, вымолвил:

- Странно даже… Ты как будто нормальна…

- Не слишком ли много говорится здесь о сумасшествии? – спросила она.

- Когда кончается страх, его место занимает безумие, - ответил он.

- Неужели ничего нельзя сделать для Лэндона? – спросила она. Исаков пожал плечами:

- А можно что-нибудь сделать для всех нас?..

Он вернулся в отсек, и Анна услышала через открывшуюся на секунду дверь, как зашлась в рыдании Сюзи.

Анна опять вызвала Лэндона:

- Захотелось услышать твой голос…

- Да?.. Тогда слушай:

- О, как же я хочу,

Нечуемый никем,

Лететь вослед лучу,

Где нет меня совсем…

- Мне очень жаль, Лэндон, - сказала она.

- Ничего…, - откликнулся он.

- Мне нужно понять…, - начала она.

- Исчерпаны ли были все возможности жизни? – продолжил он. – И не нам ли - кому-то из нас – выпадет доля новых Адама и Евы?

- Ты научился угадывать мысли?..

- Анализировать поступки… Зачем кто-то сволакивает к себе все дополнительные запасы дыхания, еды?..

Он помолчал немного:

- Не смерти боимся мы все, не только ее… Невыносимо понимать, что после тебя ничего…НИЧЕГО больше не будет… Ледяной космос, мертвая Земля… Никому не нужны книги, написанные тобой, никто не осознает пользы твоих открытий, никто не унаследует твой дом…

И вновь теплая волна всколыхнула Анну. И она перестала сомневаться: так и есть – подает о себе знать ее ребенок. У нее будет ребенок! Она задохнулась от счастья и отчаянья.

- Лэндон, я беременна… Тебе первому говорю об этом …

- Я никому не проболтаюсь, - мрачно пошутил он, и добавил:

- Бедная, бедная Анна…

С Алешей она пока не стала делиться новостью. Хотя он так хотел ребенка… Прежде… А теперь, когда зарос седой клочковатой бородой, не отходит от киноэкрана, почти не разговаривает с ней?.. Теперь, когда она рассказала ему о Лэндоне, а он только и заметил: «Бывает»?..

Она вспомнила те дни, когда был зачат этот волнующийся у нее в животе ребенок. Это было как раз в те дни, когда взорвалась ракета с девятерыми. Анна с Алешей яростно бросались тогда в объятья друг друга, как будто хотели в наслаждении утишить отчаянье и боль, они занимались любовью ночами и по утрам, и днем Алеша тоже желал ее. Он целовал ее так, как будто хотел прикоснуться к ее душе, она отдавалась ему с неистовством обреченного. «Мы не любили тогда, - думала она, - это называется иначе. Мы пытались задушить в объятьях свой ужас…Что же мы зачали? Что может дать страх, смешанный с отчаяньем?»

«Не думать о скверном!» - приказала она себе, и сама усмехнулась этому слову. «О скверном…» Не скверна, но пагуба…

Каждый день она разговаривала с Лэндоном и отмечала, что день ото дня слабеет его голос, словно ему тяжело произносить слова. Наверное, так это и было. А, может, просто садились аккумуляторные батареи капсулы?..

На десятый день он спросил:

- Ребеночек брыкается?

- Брыкается, еще как!.., - сказала она, хотя до брыкания было еще далеко.

- Здоровенький!..

Потом он сказал:

- На Сюзи я не держу зла… Она больна. Когда-то была моей студенткой и так влюбилась в меня, по уши! Бегала за мной всюду. Я тоже полюбил ее… Наш сын – на Земле… Передай ей, что ничего не изменилось – я люблю ее…

- Хорошо, - сказала Анна. Она поняла, что он прощается.

- А тебе хочу сказать, - продолжил он, - что жизнь каждый день грозит стать смертью, но…но жизнь… не так хрупка, какой кажется… Прощай!..

Анна услышала в динамике легкий хлопок и поняла, что он разгерметизировал капсулу.

- Прощай, - прошептала она.

Двери в отсек Сюзи на этот раз были открыты, она сидела на краешке огромного кресла, как будто ожидала Анну.

- Мне Лэндон звонил, - сказала она. – Он благополучно добрался…

- Да, - ответила Анна. – Добрался.

Сюзи поднялась, зашуршала ткань ее роскошного платья, тяжелая зелень которого была заткана ночными марсианскими цветами.

- В городе, котором я родилась, сейчас весна, - сказала она. – Ты видела, как цветут каштаны?

- Видела, - ответила Анна. – У нас по весне цветут акации – миллионы желтых цветочков, а еще сирень…Не найти было такого дома, где сирень не стояла бы охапками. Какой от нее аромат!..

- Лэндон мертв? – неожиданно спросила Сюзи, и, не дожидаясь ответа, сказала:

- Конечно… Я знаю… Скоро мы все присоединимся к нему…

Анна обняла ее за плечи, шепнула:

- Не бойся ничего… Не бойся…

Сюзи смахнула слезу, попыталась улыбнуться:

- Я еще в прошлую нашу встречу поняла, что ты беременна… Хотя пока совсем не заметно… Глаза у тебя такие стали…лучистые что ли…Походка осторожная… Я тогда спросила себя, почему среди этого безумия ты одна не потеряла головы? И догадалась: в тебе новая жизнь… Может, и вправду новая, не такая, как наша?..

Анна запрещала себе даже думать об этом, боялась сглазить неистовую это надежду, поэтому перевела разговор на другое:

- Ты так прекрасно выглядишь… Такое чудесное платье!

Сюзи еще улыбнулась:

- У нас сегодня небольшое торжество… Соберутся самые близкие… Вас с Алешей не приглашаем, извини… Ты ведь знаешь эти старые семейные праздники, на них только родня…

- Я понимаю, понимаю…, - едва скрыла свое замешательство Анна. «Чего в этом больше, - подумала она, - безумия или игры?» Она заглянула в глаза Сюзи, в их сумеречной глубине отражалась холодная металлическая искорка, не замерзшая ли капсула, в которой проносился над поверхностью Луны Лэндон?

Анна ушла, не разгадав значение этой ледяной искорки. Она вспомнила о ней только через два дня, когда, безуспешно пытаясь вызвать Сюзи по видеофону, сама отправилась в ее отсек. Она позвонила, но никто не отозвался. Дверь была открыта и она вошла.

Мертвая Сюзи в своем роскошном платье лежала на тщательно застеленной кровати. Рядом лежал со скрещенными руками на груди Исаков. На столике валялись шприцы, ампулы. На полу белел листок. Анна подняла его: «Уходим к Лэндону, - написано было рукой Сюзи, - знаем, что в капсуле тесно, четверым будет неудобно, но потерпим – до Земли всего трое суток полета. Не печалься. Сюзи, Антон, Исаков».

«Четверо?.. – не сразу поняла она. – Почему четверо?» И только когда еще раз прочитала имя Антона, невольно стала оглядывать отсек, ища глазами его самого или его тело. Анна с Исаковым лежали так, что угадывалось между ними место еще для одного человека, но человека этого не было. «Антон сделал им смертельные инъекции, а когда дошло дело до него самого – смалодушничал?» - догадалась Анна.

Она принялась вызывать его по всем видам внутренней связи, по всем каналам. Он не откликался.

«Выйти наружу он не мог, я заблокировала шлюзы, - размышляла Анна, - значит, он на станции».

- Антон, ответь!.. Пожалуйста!..

Динамики молчали.

Тогда она начала исследовать станцию – этаж за этажом, закрывая осмотренные отсеки на кодовые замки. Антона не было нигде…Она терялась в догадках: может быть, он в технических отделениях, но там содержание кислорода понижено, долго не продержишься? Или его занесло на самые верхние этажи, где сосредоточены лаборатории, обсерватория, пульты дальней космической связи? Чем дольше она его искала, тем большая тревога овладевала ею.

После «погребения» тел Сюзи и Исакова в морозильном боксе, Алеша как будто вышел из оцепенения, перестал беспрерывно просматривать фильмы про рыцарей и королей, побрился. Иногда он даже подходил к приборам, что-то записывал в журнал наблюдений. Хотя по-прежнему он почти не разговаривал с ней, Анна стала надеяться, что кризис у него прошел. «Сказать ему о ребенке или пока не торопиться?» - размышляла она, и сама себе не могла объяснить, почему никак не решится объявить ему это. Все внутри ее противилось этому, может, теперь рядом с ней жил не тот Алеша, который когда-то радостно и увлеченно ловил в Урале шересперов?

Но однажды за обедом он спросил как бы невзначай:

- Ты коды от замков записываешь?..

- Нет, на память надеюсь, - ответила она. И насторожилась. Совсем не случайно он спросил про коды. Что у него на уме?

- Не ровен час, забудешь, замков-то вон сколько навесила, - сказал он, старательно не глядя на нее…

- Не забуду, - сказала она. – Замков много, а код один…

И не сразу Анна поняла, что как будто бросила ему вызов. Прежде она часто в качестве кода применяла какую-нибудь дату из их совместной жизни, и Алеша знал это. Долго ее персональным кодом были инициалы Алеши и день, месяц и год их свадьбы. Теперь она выбрала другую дату и другие инициалы. Должен родиться мальчик, загадала она. И получит он имя – …….. Его инициалы, предполагаемый день рождения и стали кодом.

- Где же Антон? – сказал Алеша, и она удивилась его многословию. – Может, мне поискать его? Ты хорошо смотрела в заблокированных отсеках? Может посадила беднягу под замок?..

Он даже попытался улыбнуться, но такая мука обозначилась на его губах, что она поняла – он что-то задумал. И она решилась.

- Алеша, - сказала она, - У нас будет ребенок…

Он посмотрел на нее пристально, словно хотел проникнуть взглядом туда, где находился этот ребенок, но, судя по его недоуменному взгляду, ничего не разглядел, и, задумавшись на минуту, продекламировал:

-*Во вселенной наш разум счастливый*

Ненадежное строит жилье,

Люди, звезды и ангелы живы

Шаровым натяженьем ее.

Мы еще не зачали ребенка,

А уже у него под ногой

Никуда выгибается пленка

На орбите его круговой.

И Анна поняла, что мозг Алеши больше не может воспринимать ничего, что не относится к катастрофе. Она ужаснулась, пытаясь представить мир, в который помещает его теперешнее сознание: черное одиночество, пустота, ледяной огонь и тоска, бесконечная, как мертвый космос…

Однажды ночью она проснулась от легкого шелеста страниц. Алеша сидел за письменным столом и при свете крошечного фонарика просматривал ее личный экспедиционный дневник. Она поняла: он не поверил ей и ищет записи кодов.

- Алеша! – окликнула она его.

Он едва заметно вздрогнул, повернулся к ней.

- Пойми, - сказал он, - ведь по сути дела ты посадила меня под домашний арест. Большинство отсеков заблокировано, кругом кодовые замки… Разве тебе поручены были полицейские функции? Разве ты завхоз?.. А где тот консилиум, который вручил тебе диагноз, согласно которым ты всех нас объявила сумасшедшими?.. Всех, конечно, кроме себя… А я не хочу, не могу жить в этом ошейнике… Как не захотели все прочие – Лэндон, Сюзи, Исаков…

- Ну и что ты хочешь? – спросила она, и тогда впервые у нее промелькнула смутная мысль о титанитовой цепи, которой скрепляли контейнеры в грузовых отсеках ракет.

- Свободы выбора, - ответил он. – Это ты понять можешь?..

- Свобода в тюрьме – это свобода умереть, другой здесь не дано…

- Но ее я должен выбрать сам. Сам!.. Цепляться ли изо всех сил вместе с тобой за возможность оттянуть неизбежное, каждый день подсчитывать, сколько же осталось макарон, консервов, квашеных огурцов и замирать от ужаса, переворачивая каждый очередной листок календаря: все меньше, все меньше, все меньше остается минут и секунд, - или в одно мгновенье избавиться от этого унизительного ожидания… Вот и Антон сбежал, чтобы не жить по-твоему…

- Я найду его, - сказала она. И в ее голосе прозвучала изумившая ее саму решительность.

Она стала спать вполглаза, прислушиваясь к каждому шороху. Алеша старался не делать резких движений, ходил мягко, словно ему хотелось быть невидимым и неслышным.

Анна по-прежнему искала Антона. Однажды ей даже удалось засечь по приборам, что в одном из технических отсеков включался генератор, в другой раз в компьютерном терминале она нашла листок бумаги с какими-то вычислениями. Но, возможно, бумажка там лежала с незапамятных времен. «Он не смог убить себя, - размышляла Анна, - вряд ли только из малодушия…Неужели и в нем жизнелюбие сильнее ужаса еще невиданного одиночества?.. Или что-то другое?..».

И она искала его.

Взрыв застал ее в библиотеке, единственном помещении, не оборудованном постами с кислородными масками. Пол вырвался у нее из-под ног, ходуном заходили стены, посыпались со стеллажей книги. Первая ее мыслью была: «метеорит!». Произойди сейчас разгерметизация станции – гибель была бы неминуемой. Она бросилась в приборный отсек на верхнем этаже станции. Лифт скрипел, стонал, еле полз. Скорее, скорее! Одного взгляда на панель было достаточно, чтобы понять – никакого метеорита не было, взрыв произошел на нижних этажах станции.

Она облачилась в легкий вакуумный костюм с маской для дыхания, подумала – и взяла пистолет, взвесила его на руке и двинулась вниз по лестнице, отказавшись от лифта. Снизу валили клубы серого дыма, выла одинокая сирена, раздавалось шипение в трубопроводах автоматического пожаротушения. Видимо, важнейшие системы жизнеобеспечения не были выведены из строя.

На третьем этаже у покореженной стены кислородохранилища лежал оглушенный взрывом Алеша. В одной руке у него был ключ от взрывателя. Анна поняла: он пытался

лишить станцию самого главного – дыхания. Но слабой геологической взрывчатки оказалось это не под силу. Она приподняла его, он застонал, открыл глаза, прошептал:

- На этот раз не вышло…

- Мы будем жить, - сказала она.

Он закрыл глаза и покачал головой:

- Нет…

Он поднялся на ноги, огляделся, увидел в ее руках пистолет, сказал:

- Ого! Ты вооружена. Защитница жизни.

И, не очень твердо держась на ногах, двинулся в жилой отсек. Оглянулся на нее, помахал рукой, спросил:

- Убьешь, если что?..

И вошел в лифт. Тогда она все решила. Она не позволит ему уничтожить станцию, не даст убить ее и ребенка… И Антона, почему-то скрывающегося от всех, или только от смерти?..

Транквилизаторов, антидепрессантов, снотворных средств в аптечке было достаточно. И в докатастрофные времена они были необходимы. Космос, внеземелье - лучшее место для сумасшествия. Она выбрала самое сильное снотворное, пусть поспит всласть.

Едва вошла в отсек, как Алеша попросил свой любимый натуральный березовый сок. Она тоже его любила.

Он выпил целый стакан, отвернулся, устроился в кресле у киноэкрана, включил римскую жизнь. Легионы маршировали по направлению к Галлии.

Она оставила его, спустилась в грузовой отсек, а потом в механический. Выбрала длинную титанитовую цепь, приварила к ней согнутые полукругом металлические пластины с отверстиями для заклепок, обработала их наждаком – чтобы не натирали лодыжки.

Когда вернулась назад, Алеша спал. Она потормошила его – никакой реакции…

Когда он проснулся почти через сутки, то, как ей показалось, не очень удивился появившимся на ногах кандалам и цепи, один конец которой был намертво прикреплен к металлическим трубам отопления. Простор для передвижения его был вполне достаточным – он легко мог попасть в туалет, к телевизору, дотянуться до компьютера.

Анна боялась взглянуть ему в глаза. Но он спросил спокойно:

- Теперь сидеть мне в цепях до скончания мира – в самом прямом смысле?.. Так тебе спокойно?..

Анна подумала, что, лишив его возможности передвигаться, где ему вздумается, она положила и конец его терзаниям – выбора нет, чего теперь мучаться?.. И действительно, Алеша как будто смирился, ни разу не пожаловался на ее коварство.

Так прошло три недели.

В последнее время она все реже и реже поднималась под купол станции, а когда, наконец, собиралась, то пристально смотрела, как неярким земным свечением озаряются мрачные кратеры, у недалекой гряды черных валунов появляются длинные тени; пыталась рассмотреть в игре света хоть намек на какое-то движение; вот черный свод неба перечеркнула низкая звездочка, у нее в какой уж раз екнуло сердце: вдруг, все-таки ракета?.. Нет, траектория слишком крута – метеорит…

Она проверила и записала показания всех приборов, еще раз взглянула на земные полюса, затягивающиеся таинственной зеленой дымкой, и нажала на кнопку лифта. Однако двери лифта не открылись – кабина оказалась внизу. Кто ее вызвал?..

- Антон? – подумала она. – Наконец-то…

На настенном табло побежали светящиеся цифры – **5,6,7…11** – кабина поднималась.

Анна невольно подобралась, насторожилась. Подумала: «Хорошо, что взяла с собой пистолет! Почему хорошо?».

Дверь открылась, лифт был пуст.

Она с опаской вошла в кабину, осмотрелась – никого… Странно. Она нажала на нужную кнопку, и лифт пошел вниз. Движение его было бесконечным. Казалось, что скрипел и стонал он больше обычного.

- Давай, давай же! – шептала она. И все же то, чего она опасалась больше всего, произошло. Кабина дернулась, провалилась, но тут же замедлила падение, еще дернулась и остановилась. Табло показывало: пятый этаж. Анна испугалась, и этот испуг холодом разлился по животу.

Она попыталась руками открыть створки дверей, и это ей удалось на удивление легко. Но за створками была узкая темная бездна, где-то в глубине тлели желтые огоньки. Вниз спуститься было невозможно. Она вспомнила кинофильмы, герои которых легко выбирались из сломанных лифтов через верхние люки, посмотрела на потолок: люк был, но как добраться до него?.. Она подпрыгнула и кончиками пальцев достала до люка. Подпрыгнула сильнее, сумела ударить по люку сжатым кулаком. Люк не подался.

Раздался щелчок, включился динамик. Алеша сказал:

- Привет, это я… Удивлена? Наверху все нормально, погода не изменилась?..

- Неужели пилка? – не сдержалась, спросила она.

- Не пилка, а воля к воле… Так бы я сказал…

- Что ты собираешься делать?..

- Долго держать тебя в этой кабине не буду, но часок подождать придется… Пока я все не подготовлю…

- Не решай все один, - попросила она его. – Неужели ты не понял, что у нас будет ребенок?.. Даже если есть один шанс из миллиона, им нельзя пренебрегать…

Динамик выключился.

Она достала пистолет, прицелилась в самый центр люка, выстрелила. Люк осыпался вниз пластмассовыми осколками. Она напрягла все силы, еще раз подпрыгнула, ухватилась пальцами за кромку люка, подтянулась, но только сумела выглянуть наружу: черные тросы уходили вверх, а чуть выше кабины она заметила в шахте дверь. Но как выбраться из кабины?..

Анна подпрыгнула еще раз: нельзя ли зацепить за болты, крепящие тросы, ее одежду?..

На ней был алый комбинезон, на Луне почему-то любили все яркое…

Она сбросила комбинезон, еще подтянулась до люка, попыталась укрепить лямки одежды за болты. Ей это удалось только на пятый раз, когда она, глотая злые слезы, стонала от напряжения. Она уселась на пол кабины, закрыла глаза, произнесла негромко:

- Да, да, да!..

Она не знала, к кому обращала это свое «да!», не знала точно и что оно значит, ей было достаточно не смысла, а твердости в нем заключенного.

- Да!

Она подпрыгнула, ухватилась за комбинезон, подтянулась – и еще, и еще – и через минуту уже стояла наверху кабины. Дверь в шахте была на уровне ее пояса, она без особого труда развела ее створки, оказалась в коридоре пятого этажа.

Она медленно стала спускаться по лестнице: четвертый этаж, третий… Никого. Второй этаж… Пусто. Первый… Алеша сидел на полу у электрогенераторного отсека. «Боже, как много у станции уязвимых мест! - подумала она. – Без электричества не продержимся и пару часов».

Она навела на Алешу пистолет, сказала решительно:

- Поднимайся и медленно отходи от двери в отсек!..

Он словно ожидал ее:

- Ты в таком виде! Соблазнительно для мужчины, просидевшего почти месяц на цепи…

- Отойди от двери! – повторила она.

Он не сдвинулся с места.

- Это блеф, - сказал он. – Ты никогда не выстрелишь, не ты ли недавно говорила, что мы будем жить?..

- Ответь мне только на один вопрос: почему ты так хочешь умереть? – спросила она.

- Потому, что я не могу ответить на вопрос: почему я должен жить?

- Но почему и мы должны уйти вместе с собой, почему? Неужели ты не понимаешь, что ты болен?.. Я не знаю, что это за болезнь такая навалилась на станцию, но уверена - это какое-то расстройство психики, послекатастрофный синдром… Попытайся осознать это…

Он поднял руку, и она увидела в ней серебристый пульт.

«Он успел заминировать отсек!» - мелькнуло у нее в голове. Алеша направил пульт в ее сторону, нажал на кнопку. Палец Анны на спусковом крючке отреагировал мгновенно, и грохот выстрела перешел в грохот шагов римского легиона: позади нее на стене включился телеэкран с очередной исторической картиной. Анна поняла, что в руках у Алеши был обыкновенный телевизионный пульт. Она пронзительно закричала и бросилась к нему.

- Я выздоровел, - прошептал он. – Но, кажется, поздно…

И он упал…

Как она кричала, как в кровь искусала губы, как прижимала горячий ствол пистолета к обнаженной груди и не смогла еще раз нажать на курок, как перетаскивала тело Алеши в морозильную камеру, как мертвецки напилась коньяком - об этом она вряд ли станет рассказывать сыну, когда он родится, подрастет. Да и было ли это? Было?.. Когда?

Она перестала подниматься наверх, под купол. Лифт не работал, а пешком преодолевать лестничные марши ей становилось все тяжелее. Да и к чему? Она перестала пить натуральный березовый сок, не включала больше фотопанно с речкой, серебристой дорожкой…

Она разработала себе строгий распорядок дня – подъем, зарядка, завтрак, уборка, работа с приборами, заполнение журналов, обед… - по часам и минутам, и не разрешала себе нарушать его.

Однажды она отметила, что ребенок в ее чреве впервые пошевелился. Точно, точно! Она прислушалась к этому новому для нее ощущению, улыбнулась. Пинается, кроха! Вот еще раз, и еще!..

Тогда она вспомнила об Антоне, скрывающемся в недрах станции. И опять начала его искать. Ей даже показалось, что его обнаружение - непременное условие жизни брыкающегося в животе ребенка. И ее собственно. Найти! Найти! Пока он не натворил непоправимого!..

И она искала. Методично, не спеша… Времени у нее было много. Запасов им хватило бы еще надолго, очень надолго, ведь их так мало… так немного… не очень много…

Боже, но куда же запропастился этот человек?

Куда человек подевался?

Над прозрачным куполом станции таинственно мерцала Земля…

Астана, 1 мая 2007 г.